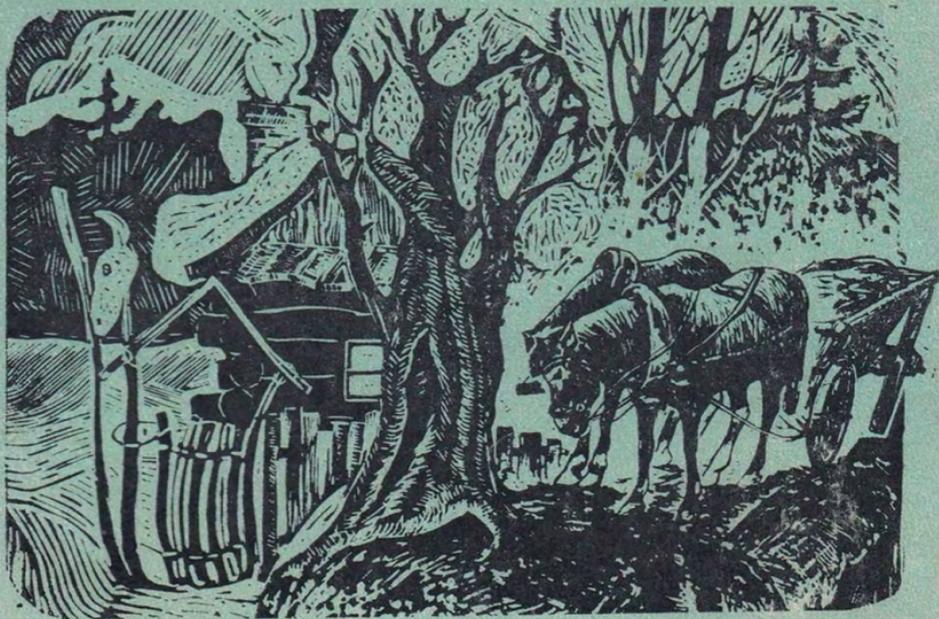


Золотые
родники

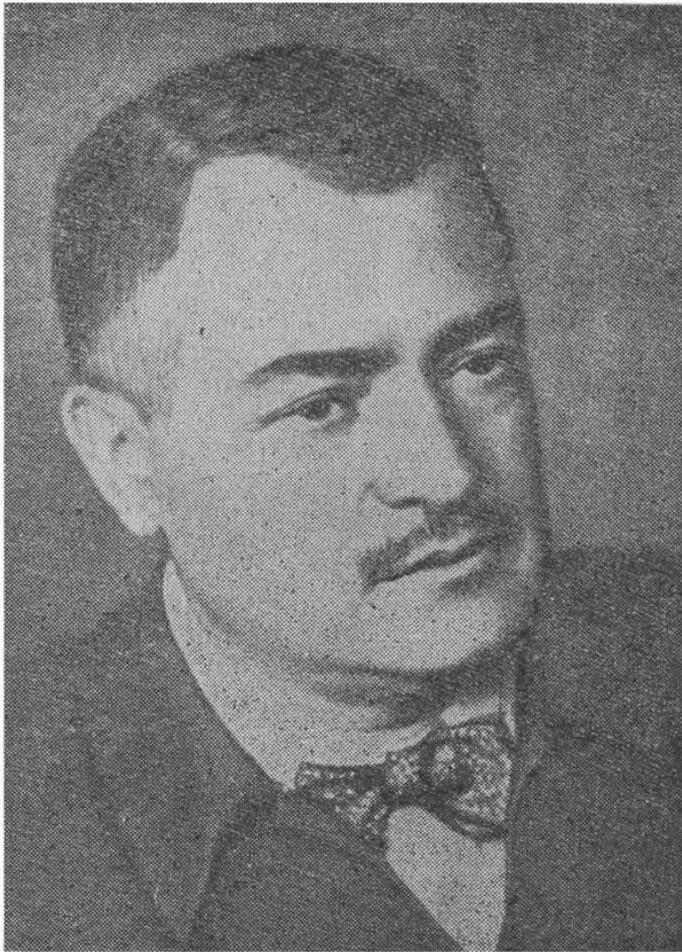
Н. А. КРАШЕНИННИКОВ

Амеля



Scan Kreyder - 06.08.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



Н. Крашенинников



Н.А.КРАШЕНИННИКОВ

Амеля́

Роман и рассказы

Редакционная коллегия:
Бикчентаев А. Г., Паль Р. В., Рахимкулов М. Г.,
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Хамматов Я. Х.,
Чванов М. А.

Составление и предисловие **М. Г. Рахимкулова**

Крашенинников Н. А.

К 78 Амеля. Роман и рассказы. Составление и предисловие **М. Г. Рахимкулова**. Уфа, Башкирское книжное издательство, 1977.

336 с. (Серия: Золотые родники)

Н. Крашенинников — известный русский писатель начала **XX** века, долгие годы живший и работавший в Башкирии. В романе «Амеля», впервые увидевшем свет в 1915 году, нашли отражение многолетние раздумья писателя о судьбе башкирского народа. Впервые в русской литературе главной героиней романа стала башкирская девушка.

В книгу включены также рассказы из сборника «Угасающая Башкирия», посвященные тяжелой жизни башкирского народа в дореволюционные годы.

К $\frac{70301-435}{M 121 (03)-77}$ 99-77

Р1

© Башкирское книжное издательство, 1977, составление, предисловие, оформление.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ БАШКИРИИ

Николай Александрович Крашенинников — художник-летописец самых различных сторон жизни и быта башкирского народа. Лучшая часть его творчества, пронизанная горьковским гуманизмом, посвящена правдивому изображению дореволюционной жизни башкир. Писатель-демократ в целом ряде произведений, по его собственным словам, «зарисовал Башкирию голода и разорения, Башкирию хазретов и калыма».

Творчество Н. А. Крашенинникова изучено далеко не достаточно. До последнего времени не было установлено даже место рождения писателя. Во всех печатных источниках, в том числе и в «Краткой литературной энциклопедии», называлось село Петровское Оренбургской губернии. Это утверждение исходило из автобиографий самого Н. А. Крашенинникова. Как видно из документов, недавно обнаруженных в Государственном архиве Оренбургской области краеведом М. М. Чумаковым, Н. А. Крашенинников родился 14 ноября 1878 года в городе Соль-Илецке. Его отцом был коллежский асессор Александр Александрович Камбулин, женившийся на Марии Николаевне Крашенинниковой, уроженке села Петровского. Николай Александрович Камбулин, будущий писатель, стал Крашенинниковым только с 28 января 1900 года по решению Оренбургского окружного суда. Старший сын писателя Владимир Николаевич Крашенинников, проживающий ныне в Москве, объясняет это следующим обстоятельством. Мать писателя Мария Николаевна, урожденная Крашенинникова, вышла замуж за А. А. Камбулина вопреки родительской воле. До определения в Оренбургскую гимназию Коля Камбулин жил у тетки в Петровском и считал его своим родным селом. Приезжал он сюда и на каникулы. Отношения Марии Николаевны с родителями так и не улучшились. Сын ее находился на воспитании и содержании тетки даже в годы учебы в университете¹.

¹ См. М. Чумаков. Новое о писателе Н. А. Крашенинникове. — Газета «Южный Урал», Оренбург, 17 августа 1975 г.

В течение всей жизни Н. А. Крашенинников близко общался с башкирами, часто совершал поездки по Башкирии, любил слушать рассказы, легенды и предания о батырах, о прошлом родного края, и это наложило отпечаток на все его творчество.

Первый рассказ — «Лесной сторож» (в последней редакции — «Ночлег») был напечатан в «Русских ведомостях» 5 мая 1899 года, когда Н. Крашенинников был студентом первого курса юридического факультета Московского университета. Этот рассказ, по словам автора, «положил начало целой серии очерков из малоизвестной жизни далекой Башкирии, в художественной форме повествовавших о жалком угасании под пятою самодержавия когда-то свободного и богатого кочевого народа. Очерки эти, тщательно вентилируемые цензурой, прошли по ряду крупнейших периодических изданий и составили отдельную книгу под заглавием «Угасающая Башкирия...»¹.

Произведения Н. Крашенинникова привлекли внимание А. П. Чехова, который в письме от 3 сентября 1903 года к видному общественному деятелю и издателю В. А. Гольцеву отмечал: «Из Крашенинникова, если он еще молод, может выработаться хороший писатель»². Дореволюционное творчество Н. Крашенинникова развивалось под влиянием классического наследия И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, А. П. Чехова, В. Г. Короленко и А. М. Горького.

Откликаясь на животрепещущие проблемы XX века, писатель создал драму «Проблески утра» (1905), в которой изобразил ужасы русско-японской войны и выразил гневный протест против бесчеловечной бойни. Запрещенная в России, пьеса вышла в Вене на немецком языке.

Литературную работу Н. Крашенинников совмещал с общественно-журналистской деятельностью. В 1905 году он основал еженедельный народный журнал «Новое слово». Этот демократический орган, в котором сотрудничали И. А. Бунин, А. С. Серафимович, А. М. Федоров, С. Г. Скиталец, С. А. Найденов и другие, пользовался большой популярностью, но через два года был запрещен. Тогда Н. Крашенинников преобразовал «Новое слово» в литературно-художественные сборники того же названия. На базе этих сборников позднее в Москве было образовано товарищество — «Книгоиздательство писателей».

В 1907 году вышла первая книга писателя «Угасающая Башкирия», встреченная единодушным одобрением и названная критикой «Башкирскими записками охотника». Книга воссоздает реалистиче-

¹ Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Под ред. В. Лидина. Изд. второе, доп. и исправл. М., 1928, стр. 185.

² А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем, т. 20, М., 1951, стр. 130.

скую картину дореволюционной Башкирии и представляет значительную ценность в изучении жизни башкирского народа в прошлом. С глубокой симпатией рисует писатель бедных башкир, живущих в ужасно тяжелых условиях, раскрывает их духовное богатство, любовь к родной земле, воспетую в песнях народа.

В рассказах «Гроза людей», «Из головы медведя» и «Вольтерьянец» нарисованы колоритные образы башкир, возмущающихся несправедливостью жизни, но не способных еще на активную организованную борьбу за свои поправленные права. «Батыр Малик» — рассказ о смелом башкире, мстящем за нанесенную обиду. Легендарная храбрость батыра гремела по всей округе. Но бунтарь одинок, и бунт его носит субъективный характер. Сочувствуя бунтующим людям, автор не показал их организованной борьбы против эксплуататоров.

Выразительные образы тружеников-башкир, ограбленных колонизаторами и ради насущного куска хлеба вынужденных выполнять непосильно тяжелую работу, созданы в рассказах «Житье-бытье», «После зимы» и других. Правдиво нарисовав в рассказе «После зимы» жуткую картину голодающей башкирской деревни Коларово, писатель с болью в сердце вопрошает: «Почему умирает этот народ, у которого было столько земли?»

Ряд произведений Н. Крашенинников посвятил изображению бесправного, рабского положения башкирской женщины, подвергавшейся социальному и семейному гнету. Глубоко эмоционален образ матери, искалеченной жестокой несправедливой жизнью (рассказ «Мать»); сбаятельна грациозная красавица Бибики, фигурирующая в нескольких рассказах. Суровая действительность не сломила ее волн: смелая девушка живет мечтами о свободе и счастье.

Гневный протест звучит в рассказе «Из головы медведя», снабженном символическим подзаголовком «Вместо вступления». В нем выражено смелое обвинение всей колониальной политике царизма, доведшей башкирский народ до грани разорения и нищеты. Переплетение же фольклорных мотивов с реальной действительностью значительно усиливает этот социальный протест.

«Что это за жизнь, на смерть похожая? Почему такая цепкая, неотвязная, подавляющая, смиренно-молчаливая нужда?»

Был богатый народ, жил богатый народ...
Знал своих он детей и стада...

Кто родил эту песню, звучащую кощунственно под диким рогом месяца? С детских лет этот месяц говорил нам о степной и грозной «батыевой» силе, о сказочной роскоши, — и вот черная, последняя нищета. Какой безобразный жестокий «игрок» вдруг захватил своей

лапой эти дома и превратил их в пахучие дырявые логова, развалил их по этой пустой и голодной площади? Кто снял «с плачущих жен серебряные кажбовы» и унес их в своем жадном кармане? Кто облек плечи женщин в дырявые рубища, дрожащие от слез? Ответ горек: — Урус.

— Генерал-губернатор гулял, — рассказывают старики. — Два генерал... три генерал...

Три генерала — и страны нет».

Какой глубокий смысл и образную силу выразительности таит в себе короткая фраза: «Три генерала — и страны нет». «Три генерала» — это и оренбургский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский, возглавивший варварское расхищение башкирских земель, и другие «генералы» грабежа — Уткины, Коловские, и восседающий на троне «генерал» всяя Руси. Вот они — виновники обнищания и разорения башкирского народа; вот кто снял «с плачущих жен серебряные кажбовы»; вот кто хотел, чтобы о башкирском народе говорилось в прошедшем времени: «Был богатый народ, жил богатый народ...»

Рисуя широкую панораму дореволюционной действительности родного края, Н. Крашенинников обличал и башкирских эксплуататоров-баев, и столпов мусульманской религии. Характерен в этом отношении хазрет Хайбулла из одноименного рассказа. Богатый мулла, жестокий угнетатель деревенской бедноты, «святой» Хайбулла имеет трех жен-рабынь, младшей из них, Хуршит, которую он разлучил с возлюбленным и легко купил благодаря своему высокому сану, лишь пятнадцать лет. Осуждая ветхозаветные традиции одурманенного гнусной религией народа, писатель с тоской и гневом восклицает: «О, страна хазретов, страна калыма, страна женщины-рабы, где крепче железа — темь!.. Когда же будет рассвет, когда будет?...» Хотя этот рассказ и был довольно смелым протестом против эксплуататоров, но в целом Н. Крашенинников приходил к пессимистическому выводу: ему казалось, что Башкирия «угасала» (отсюда и название сборника рассказов — «Угасающая Башкирия»), башкиры вымирали, и он призывал прогрессивную общественность помочь этому многострадальному, доброму народу.

Различные стороны быта башкир нашли правдивое отражение в рассказах «Ночлег», «К земле обетованной», «Ахмет Усманыч», «Желанье старой жены», «Башкирские саги», «Свадьба Сафая», «Отщепенец», «Башкиренок» и других. Эти рассказы, не повторяя один другого, с разных аспектов освещают трагическую судьбу и невыносимо тяжелые условия жизни башкирского народа в дореволюционное время.

Н. Крашенинников великолепно знал поэтическое и музыкальное творчество башкир. Поэтому многие его произведения о Башкирии пронизаны мотивами фольклора. Это придает рассказам мягкий лиризм, а иногда привносит в них легкую романтическую окраску. Фольклоризм — одна из главных особенностей дореволюционного творчества писателя. Народные певцы и сказители частенько являются героями его рассказов, иногда же они выступают, если можно так выразиться, даже соавторами: писатель только литературно обрабатывает услышанный от них сюжет. Это неоднократно отмечалось как в русской, так и в иностранной прессе. Давая восторженный отзыв книге «Угасающая Башкирия», венская газета «Neue Freie Presse» писала:

«Настоящие новеллы талантливого автора посвящены некогда свободному народу — башкирам, которые со времен их покорения царской Россией стонут и страдают поныне под игом рабства. Крашенинников, сам родившийся в Оренбургской губернии, жил многие годы между башкирами и сумел проникнуть в жизнь этого тихого народа, сумел узнать его особенности и подметить самые привлекательные тайники его природы. Книга Крашенинникова содержит всего 11 новелл, но они дают полную и яркую картину этого оригинального народа, картины, преисполненные поэтической прелести и необыкновенной жизненной правды.

Особенность Башкирии — обилие странствующих певцов, которые распевают легенды и народные саги, ярко рисующие судьбы башкир, их войны за свободу, их страдания под чужим игом в поэтических и очаровательных стихах»¹.

Не все бесспорно в этой оценке, но совершенно справедливо отмечено хорошее знание писателем жизни башкирского народа и его богатого устнопоэтического творчества, которое нашло широкое отражение в сборнике рассказов «Угасающая Башкирия».

Наряду с изображением представителей различных социальных групп Башкирии, писатель воссоздал также красочные образы безымянных певцов, сээнов и сказителей — творцов и носителей замечательных памятников устнопоэтических произведений. Так, в рассказе «Хазрет Хайбулла» обаятелен образ красавицы Зюгры — грациозной танцовщицы и шаловливой певицы. Зюгра — вторая жена Хайбуллы. Живя под строгой властью мужа, она все же чувствует себя вольнее, чем другие его жены. Она веселая, разговор-

¹ «Neue Freie Presse», Wien, 24 ноября 1907 г. — См. Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, Фонд Крашенинникова Н. А., ф. 1086, оп. 3, д. 150, лл. 53—54.

чивая, музыкальная: сочиняет песни, танцует; аккомпанируя на думре, поет «свою песню» о степном джигите.

Н. Крашенинников понимал, что в песнях и легендах отображается жизнь народа, его думы и чаяния. Писателя пленяли башкирские певцы, с большой любовью воспевавшие красоту родного края. Чуткое ухо художника улавливало и социальные мотивы: песни выражали стремление башкир к свободе, ненависть к угнетателям, славили многовековую борьбу отцов и дедов за счастье и свободу сынов и внуков, тоскливо оплакивали горькую судьбу народа. Внимательно слушая песни, легенды и чарующую мелодию курая, певец Башкортостана глубоко познавал духовную жизнь и историю народа. И вполне правомерно, что сюжеты башкирских легенд, услышанных писателем от замечательных сказителей, легли в основу некоторых его рассказов, а фольклорные мотивы проникли почти во все произведения, отразившие жизнь «страны хазретов и калыма».

Писатель создал колоритный образ слепого сказителя Угея — хранителя и носителя народной мудрости, который выступает автором-повествователем нескольких произведений. Нужда и годы составили его, отняли зрение, но дух его могуч и молод, он олицетворяет жизнеспособность и мудрость своего народа. Угей хорошо знает историю народа, его память хранит бесчисленное количество легенд и песен, и рассказывает он их с большим искусством. «Угей,— отмечает писатель,— имел обыкновение повествовать ритмически, затягивая слова нараспев и стараясь придавать фразам созвучные окончания, для чего нередко приставлял даже лишние слова...». Он с такой эмоциональной силой умел передавать содержание легенд, что на глаза слушателей навертывались слезы, и они чувствовали себя участниками описываемых событий.

В сказке «Вишни смерти», переданной устами мудрого Угея, рассказывается об ужасной мести хана Карима, погубившего людей целой страны. Он мстит хану Шакиру за то, что тот отказался выдать свою дочь Гульямал за его сына Каюма. В лице Карима осуждается жестокий деспот-повелитель. Своих подданных, даже любимую жену Зайнаб, он держал в трепете: «Одно движение руки — и на шею несчастного петля». Жертвой мести коварного хана стал и родной сын Каюм. Но хан уже не думает о любимом сыне, он доволен, что месть удалась и «позор» смыт. Жажда мести оказалась сильнее любви к сыну. Сказка осуждает деспотического монарха и кровавую эпоху междоусобиц, когда башкирские роды в борьбе за власть вели бессмысленные войны, уносившие тысячи человеческих жизней. Несмотря на трагический финал, сказка пронизана гуманистическими мотивами, воспевает любовь к людям, рождает ненависть к баям и ханам.

В образе Угея Н. Крашенинников создал обобщенный тип народного сказителя, человека с большой силой воли и высокими моральными качествами. Он любил свой народ, лечил больных горными травами, увлекательными рассказами обогащал их духовный мир. Угей вселял в сердца людей веру в счастливое будущее; эта мысль заложена и в сказку «Вишни смерти», которая заканчивается оптимистической картиной возрождающейся природы: «Жизнь звенела тысячью голосов в каждой травинке».

Безымянный певец-кураист — главный герой рассказа «Песня курайсы». Его задушевная грустная мелодия заставляет «болезненно вздрагивать» слушателей. «И что это за песня, такая унылая! Откуда взялась она, так много наплаканная, так крепко выстраданная! И как это можно, разве лишь из самой глубины души, — из простого тростника выбирать эту жуткую мелодию?» — спрашивает автор и отвечает лаконично, но емко: «Его песня не только искусство: его песня — его страдание, боль и быть».

Рассказ этот написан в период разгула реакции после подавления первой русской революции, и, естественно, в нем отразилось общественное положение страны, дух эпохи. Мотивами тоски и уныния отмечены и другие произведения писателя этих лет.

Если курайсы, поющий о горе и нуждах народных, нарисован писателем с большой симпатией, то к Салимбаю из рассказа «Ночь на пасеке», сочиняющему сладострастные песни о любви батыров и красавиц, он относится весьма сдержанно. Старый пчеловод Хаким, известный как колдун и чародей, на самом же деле связанный с конокрадами, называет Салимбая «великим певцом и поэтом». Такая высокая оценка, данная отрицательным персонажем, звучит по меньшей мере иронически. «Я знал, конечно, — пишет Н. Крашенинников, — как популярны на востоке сказители, под аккомпанемент думы передающие слушателям повести о прежних героях-богатырях, но в Салимбае было что-то напоминавшее хазрета Хайбуллу, и это к нему заставляло относиться настороженно... Я поглядывал на твердый, как барабан, живот поэта, на его круглые, как яблоки, щеки и думал, что Салимбаю живется неплохо». Эта меткая авторская характеристика, усиленная сравнением Салимбая с жестоким хазретом Хайбуллой, не нуждается в комментариях. Хвастливый и высокомерный тон речи Салимбая окончательно развенчивает его. «Так ты не слышал моих песен, которыми наделил меня славный пророк? Если не слышал, то открой свои уши: я тебе пропою», — обращается он к рассказчику...

Игра на курае и своеобразное горловое пение башкир, различные спортивные состязания джигитов описаны в рассказе «Башкирские скачки».

В рассказе «Казачок Курул» выведен очень своеобразный образ башкира Курула, служившего еще у деда рассказчика. Он был интересен тем, что говорил по-французски, переплетая французские слова с башкирскими. Эмоционально рассказывает Курул о красочных художествах жестокого кантонного попечителя прошлого века Филатова. Этот «герой и деятель», не довольствуясь общей программой попечительства, по словам писателя-народника Ф. Д. Нефедова, «стремился к искоренению в башкирах всего башкирского, старался произвести нивелировку и обратить их, если не в европейцев или русских, то по крайней мере в безгласных скотов»¹.

Образы творцов и хранителей народной мудрости, ярко описанные в рассказах Н. Крашенинникова, свидетельствуют о неиссякаемом таланте и уме трудового люда. Простой народ живо интересуется легендарным прошлым родного края, бережно хранит память о своих славных сынах и живет надеждой на лучшее будущее, выражая мечту о счастливой жизни в замечательных произведениях устнопоэтического творчества.

Многолетние раздумья Н. Крашенинникова о судьбе башкирского народа нашли свое рельефное отражение в романе «Амеля» (1915). Впервые в русской литературе главной героиней романа стала башкирская девушка—Амеля. В первом издании имелся подзаголовок: «История одной жизни. Роман детства и юности». Оставшись круглой сиротой, Амеля с младенческих лет воспитывается в культурной русской семье, получает хорошее образование, становится городской барышней. Ее ждет сытая, беспечная и, вероятно, счастливая жизнь в дворянской среде. Но Амеля бросила спокойную обеспеченную жизнь, отвергла любовь красивого образованного юноши-аристократа и ушла в первозданную степь, которая манила и звала ее с детства.

Любовь к родине—главная тема романа. И хотя идея ухода из цивилизованного мира в дикие степи не могла решить сложных социальных проблем, остро поставленных в романе, и являлась лишь одной из форм проявления пассивного протеста, писателю все же удалось с убедительной силой показать горячую, неиссякаемую любовь героини к своей родине, родной природе.

Пронизанный идеями гуманизма, роман вызвал многочисленные отклики, оживленную полемику, одобрение широкой прогрессивной общественности. Особенно восторженно был встречен роман на родине автора. «Амеля, безусловно, идеализирована талантливым беллетристом, и часто он сам, чуткий певец Башкирии, автор едино-

¹ Филипп Нефедов. Башкирская старина. Очерк.— «Русские ведомости», М., 1884, № 326.

душно оцененной книги «Угасающая Башкирия», вкладывает в думы и грезы Амели самого себя. Это он, а не Амеля тоскует о башкирской «родине темной», о башкирской «женщине обиженной», о «седою стеною вздымающихся горах», о «плененной камышами реке, серебряной полосой убегающей в даль...» Прекрасная эта повесть «Амеля», не как психологический этюд, а как грустно-сладкая песня о далекой, забытой Башкирии¹.

Амеля уходит в степи по зову сердца, она видит великолепную природу и жуткую нищету родного народа, ей хочется хоть чем-нибудь помочь бедным сородичам. По словам самого автора, «она ушла в свои степи, потому что была обязана уйти; она принадлежит только родине, только степям... Человек должен жить только для родины и отдавать ей жизнь до конца²».

Пользовавшийся большой популярностью роман «Амеля» в 1917 году вышел четвертым изданием и был отмечен Российской Академией наук «Почетным отзывом имени Пушкина». (До революции в Москве вышло собрание сочинений Н. Крашенинникова в восьми томах, два последних тома составили произведения о Башкирии).

И после Октября Н. Крашенинников продолжает интересоваться жизнью Башкирии, радуясь возрождению «угасавшего» народа, работает над новыми произведениями.

Книга «Под солнцем Башкирии» (1936), в которую кроме семнадцати «башкирских» рассказов и легенд вошел и роман «Амеля», явилась последним прижизненным изданием писателя. Этот сборник в известном смысле — по широте охвата в нем башкирской темы — можно назвать художественной энциклопедией дореволюционной жизни Башкирии.

Н. Крашенинникова глубоко волновала тема революции и гражданской войны, которая нашла правдивое отражение в романе-хронике «Столб огненный» (1928).

В творчестве писателя большое место занимает также тема «о единой, цельной, неоскверненной любви», получившая яркую романтическую окраску в ряде произведений предреволюционных лет и полемически направленная против аморализма декадентской литературы. Чистая любовь и целомудрие воспевались в пьесе «О маленькой Тасе» и поэтической драме «Плач Рахили» (кстати, переведенной на башкирский язык и поставленной в 1923 году на

¹ А. Доброхотов. Тоска о Башкирии. — «Оренбургская жизнь», 10 сентября 1915 г., № 503.

² Н. Крашенинников. Добавление к роману «Амеля». — Научный архив Башкирского филиала Академии наук СССР, ф. 3, оп. 22, д. 38, л. 9.

сцене Башкирского государственного театра в Уфе), в повести «Сказка любви», в романах «Барышни» и «Девственность» и других. Проблема воспитания молодого поколения, разрабатывавшаяся Н. Крашенинниковым и после революции, получила в 20-х годах широкий общественный резонанс, вызвала оживленные споры, диспуты. А. М. Горький, прочитав третью книгу романа «Целомудрие» — «Юность», писал автору 29 июня 1925 года из Сорренто: «Я прочел ее внимательно, с большим интересом... социальная полезность книги оправдана»¹.

Н. Крашенинников создал ряд пьес и большое количество инсценировок по произведениям русских, советских и зарубежных классиков. Особенно успешно шли «Весенние зарницы» — пьеса из жизни советского студенчества, «Собор Парижской богородицы» (по В. Гюго), «Вешние воды» (по И. Тургеневу), «Капитанская дочка» (по А. Пушкину), «Война и мир» (по Л. Толстому), «Мать» (по А. М. Горькому), «Разгром» (по А. Фадееву), «Поднятая целина» (по М. Шолохову).

После Октября произведения писателя стали изучать в школах нашей республики. В связи с сорокалетием литературной деятельности Президиум Верховного Совета Башкирской АССР наградила Н. Крашенинникова Почетной грамотой. Отвечая на приветствие башкирских писателей, юбиляр взволнованно писал 2 сентября 1939 года: «Я счастлив, что дожил до дней возрождения и расцвета жизни Башкирии, счастлив, что прежде угнетенная угасающая страна преобразилась в свободную и сильную братскую республику; что осуществилась мечта о свободном народе Башкирии; что книгам моим, говорившим о насилиях и произволе, сковавших народ старой властью, выпала великая честь быть историческим свидетелем великого значения Советской власти, в два десятка лет преобразовавшей страну после ее трехсотлетнего угасания»².

И, глубоко радуясь возрождению «угасающей Башкирии», Н. Крашенинников создал легенду «Посох Альяна» (1940). Через красивую аллгорию в ней писатель показал расцвет Башкирии после революции.

В седую старину, повествует легенда, в лесу у подножия горы Альян жил могущественный вещий старец, делавший людям добро.

¹ Горький и советские писатели. Неизданная переписка. «Литературное наследство», т. 70, М., 1963, стр. 229.

² Научный архив Башкирского филиала АН СССР, ф. 3, оп. 12, д. 391, л. 304.

И жили башкиры в мире и согласии. Но вот пришли люди в каф-
танах с ружьями и топорами и стали теснить башкир. Отступили
башкиры перед пришельцами в горы, но потом одумались и решили
пойти к великому Альяну. Однако его уже не было в живых. Люди
в страхе закричали: «Зачем ты умер, зачем ты оставил нас, Альян?»
И тогда из недр земли раздался его голос: «Триста лет будете вы
под снегом, на триста первом году растают снега». (Эти слова ска-
зочного Альяна, видимо, являются аллегорическим выражением трех-
сотлетнего царствования династии Романовых). И голос просил
сохранить его посох, сделанный из сухого и ровного ствола вишне-
ника. Прошло три века, и все произошло так, как вещал мудрец:
цветом вишни расцвел сухой посох, лежавший на груди Альяна, ибо
«никогда не умирает народное сердце», и стала расцветать угаса-
вшая страна. Легенда написана в духе восточных сказок, её основная
мысль — расцвет социалистической Башкирии. Впрочем, на это ука-
зывает и подзаголовок: «Легенда о расцвете Башкирии».

В 1940 году писатель подготовил к печати однотомник избран-
ных сочинений, значительную часть которых составляли произведе-
ния о Башкирии. Легенда «Посох Альяна», по мысли автора, должна
была завершить цикл рассказов о Башкирии. Но начавшаяся вскоре
война помешала изданию этой книги. «Н. А. Крашенинников никогда
не забывал свою вторую родину, он возвращался к любимой Башки-
рии во многих своих основных работах,— говорилось в предисловии
к этому неосуществленному изданию.— Так, и в пьесе «В старом пан-
сионе», описывающей его юность (и кстати сказать, запрещенной цар-
ской цензурой главным образом за тип юного башкира, искалеченного
«воспитанием» дебрянской гимназии), и в романе-трилогии «Цело-
мудрие»,— во всех трех частях — «Детство», «Отрочество» и
«Юность»,— читатель снова встречается с типами башкир, сверстни-
ков автора и, наконец, в последней пьесе «Стены», написанной на
основе пьесы «В старом пансионе», читатель вновь видит гордую
страстную фигуру юного башкира, задавленного «стенами» и безду-
шием царского классического воспитания»¹.

В 1941 году Н. Крашенинников задумал создать серию расска-
зов и очерков о новой социалистической Башкирии, о народе, воз-
рожденном Великим Октябрем к свободной, счастливой жизни.
С этой целью 17 августа он приехал в Уфу и приступил к работе.
Однако ему не удалось осуществить свои замыслы: после непродол-
жительной болезни 11 октября 1941 года он скончался. Столица
Башкирии приняла прах своего верного певца. Из задуманного цикла

¹ Научный архив БФАН СССР, ф. 3, оп. 12, д. 391, л. 308.

«Новые письма о Башкирии» был написан лишь очерк «Новая земля» — о неузнаваемо изменившемся облике Советского Башкортостана.

«Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко и радостно пойдем великое значение творимого нами настоящего», — говорил А. М. Горький. Имя Николая Александровича Крашенинникова близко и дорого нам потому, что он внес ценный вклад в литературу о дореволюционной жизни народов России. Читая его произведения, мы еще ярче видим те грандиозные преобразования, которые произошли в нашей стране за 60 лет Советской власти.

Мурат Рахимкулов

Амеля

(роман)



1

Старый одноэтажный, окрашенный охрой особнячок вдовы профессора Анны Петровны Захаровой стоял на окраине Оренбурга, на углу двух косеньких и сонных улиц, пыльными своими полотнищами сбегавших к крутизнам Урала.

Дом был бревенчатый, обшитый тесом, с двумя колоннами по фронтону, обтянутыми крашеным полотном, которые Анна Петровна называла «дорическими». Полотно когда-то было тщательно зашпаклевано и окрашено белой масляной краской под мрамор, а стилем колонны и в самом деле походили на греческие; но уже через два года по смерти профессора вся эта «Греция» стала рушиться, белила начали осыпаться, холстина порвалась и несколько последних лет висела ключьями, обнажая чисто российские доски колонн. Анна Петровна все собиралась отремонтировать эти колонны — слабость покойного мужа, — но все было некогда, и особняк стоял, как обедневший дворянин, в заношенном, незаплатанном платье, неприглядный на вид, но добротный сердцем и старыми, унаследованными от богатых отцов, манерами.

Неказистый снаружи, дом профессорши внутри был тепленький, чистенький, уютный и спокойный.

Когда-то имя профессора Захарова было широко известно ученому миру; вместе с Эверсманом он обследовал флору и фауну воспетого Аксаковым Оренбургского края; не однажды печатал он свои ученые труды, слыл выдающимся натуралистом; открыл два вида летучих мышей, названных его именем (чем очень гордился), объездил на

коне и обходил пешком всю горную Башкирию и имел громадную по тем временам — в две тысячи экземпляров — коллекцию зверей и птиц. Коллекция эта была пожертвована Захаровым в последние годы жизни профессора воспитавшей его оренбургской гимназии, которая, не сумев оценить дар, в свою очередь уступила часть коллекции реальному училищу. И «классики» и «реалисты» одинаково не берегли им подаренное, свалив редчайшие виды чучел птиц по ящикам и расставив чучела медведей и барсуков в гимнастических залах, где любимым занятием воспитанников было скакать на этих чучелах и играть с помощью их в чехарду.

О разорении и гибели коллекции — суммы упорного труда всей жизни — профессору, к счастью, не довелось узнать, — по случаю его смерти. Пришибленная горем потери, Анна Петровна о коллекции мужа не справлялась и жила в своем особняке тихо и неслышно в обществе прачки Перепетуи и старого сподвижника покойного профессора башкира Ахмета.

С самой женитьбы профессора этот Ахмет жил при доме Захаровых на положении «своего человека», почти родного, и занимал в их семье последовательно все должности, начиная с кучера, садовода и препаратора чучел.

2

Дом Захаровых, занимавший, как это часто бывало в старинные годы жизни Оренбурга, по-деревенски, огромное усадебное место, «черным» фасадом своим выходил на бескрайный вишневый и яблоневый сад, и, равнодушная к ученым коллекциям, старая профессорша была всеми корнями своего институтского сердца на этом вишеннике, «апортах» и «ранетах»; саду отдавала она все свое внимание, всю любовь и досуг.

Неизменным ей помощником в этом деле был Ахмет Бакирыч. Старая, начавшаяся еще при профессоре дружба мечтательно-хозяйственной «пепиньеры» Анны Петровны с угнездившимся в доме неразговорчивым башкиром, казалось, только росла и крепла с движением десятилетий, находя общность в повитых любовью воспоминаниях о профессоре, об его ученых поездках, причудах и привычках, об его добром характере, миловавшем всех обездоленных и бездомных... Благодаря всему этому, по смерти мужа у Ан-

ны Петровны и не осталось никакого имущества, кроме ветхого дома и картин. Профессорше жилось бы туго, если бы ей не была определена за ученые заслуги мужа пенсия, вполне достаточная для скромной и тихой провинциальной жизни; немалым подспорьем для домашнего обихода являлся и знаменитый ее вишнево-яблоневый сад.

У Анны Петровны никогда не бывало детей; никогда восемь комнат особняка не оглашались ребячьим смехом, пребывая в строгой, то ученой, то вдовьей тишине. Может быть, поэтому так охотно по веснам жизнь профессорши из стойкого молчания комнат перемещалась в пестро звенящий птичьими голосами сад; из сгущенной гардинами сумрачной атмосферы столовых и гостиных — на зеленые лужайки, напоенные светом жаркого оренбургского солнца. Высокий старинный забор ревниво оберегал спокойствие профессорши от непрошенного внимания чужих глаз; прачка Перепетуя исправно доводила до сведения хозяйки все те скромные новости, которые можно было услышать в бакалейной и колониальной лавочке купца Переметчикова, — большего не требовали ни профессорша, ни молчаливый Ахмет Бакирыч, и жизнь особняка текла, как тихий вишневый сон.

3

Как сон, двигалась по дому и сама профессорша.

Была она маленькая, щуплая, с крошечными атласными ручками, на пальцах которых посверкивали колечки и амулеты; щеки у нее были розовые, как яблоки, глаза — темненькие, как вишни, и самый голос походил на скрип или шелест в ночную пору яблоневых ветвей. Она никогда не сердилась, никогда не возвышала голоса и, одетая неизменно в черное платье, скорее походила на скуфейницу, чем на профессоршу. Было странно видеть, как в занавешенной гостиной из овальной рамы выглядывала бронзоволодая, улыбающаяся красавица с выпуклым лбом, с губами, как мальвы, с хрупкими пальцами, разделенными, как на картинах итальянских мастеров. Трудно было понять, зачем в сонную и суровую, пропитанную запахом вишни обитель попало это чужое, улыбающееся, прекрасное, как солнце, лицо. И только надпись, выгравированная на золотой прибитой к раме дощечке: *Annette Zakharoff, 17 ans* — удостоверяла, что эта девушка была не чужая дому, что

она когда-то была той, кто бесшумно ходит и посейчас по скрипящим квадратам паркета, по аллеям, отененным кружевом яблочных листьев.

Как пылило время, как запылилась в этих десятилетиях профессорша на пути от золотой овальной рамы до вишневого сада! И, может быть, это, в сущности, была не пыль, а просто бег времени, в котором все поры существования хороши; что же до пыли, то ее в особняке неслышно и усердно всегда стирал тот же Ахмет Бакирыч. Ранним утром, когда в особнячке еще спали те двое — профессорша и прачка, — выходил из своей каморы у сеней с метелкой из фазаньих перьев угрюмый, неулыбающийся Ахмет Бакирыч и, осторожно шаркая мягкими козловыми ичигами, приступал к снятию пыли с предметов, окон и стен.

Два занятия в жизни проводил он благоговейно и серьезно — снятие пыли и чтение книг. Проходя по дому мимо комнаты Ахмета, Анна Петровна часто видела его заботливо склоненным над старую татарскую книгу, с медными очками на лбу; он читал без очков, но почему-то всегда во время чтения его сухой, морщинистый, словно кипарисовый, лоб украшали очки в старинной медной оправе. Очки эти придавали сосредоточенно-суровый вид и без того суровому лицу старика. Почему-то они еще ярче подчеркивали отшельническое молчание затихшего дома, казалось, обреченного на немоту до скончания времен...

Но однажды случилось так, что тихая и сонная жизнь особняка шатнулась, двинулась и затем не стала на свое обычное место.

4

Утром зимою, когда профессорша еще спала, во двор ее дома въехали сани. Из них вышел башкирский мулла и направился прямо в дом, неся что-то в кошме. Еще не наступал рассвет, и в сумрачном доме горела только одна лампа в комнате Ахмета. Мулла вошел к нему и молча развернул перед стариком свой сверток. Крошечное дитя запыцало в тряпках.

— Что это? — спросил изумленный Ахмет. Как ни странно было появление в его комнате муллы с таким необычайным подарком, удивление, однако, лишь слегка сдвинуло морщины на лбу Ахмета. — Что это, мулла?

— Дочь твоего племянника Рысней и его жены Фариги; они замерзли в субботу ночью в горах.

Не удивился и этому сообщению Ахмет Бакирыч.

— Замерзли оба? — переспросил он спокойно.

— Да, оба; пасли в горах табуны, — ответил мулла. — Но что делать с этой девчонкой? Ее зовут Эмель.

Как бы обдумывая, что делать, склонил Ахмет к тряпкам свое каменное, бесстрастное лицо. Ребенок взглянул на него испуганными глазами и заплакал. Смутные чувства овевали лицо старика. Вместе с раздражением тень ворчливой нежности пробежала внезапно по его худым, втянутым щекам. Выцветшие глаза вдруг зажглись словно внутренним светом... Руки хотели было дотронуться до девочки, но сейчас же старик, нахмурясь, отвел их за спину. С удивлением глядел на Ахмета мулла.

— Ну-ну, хороша! — ворчливо проговорил Ахмет и отвернулся. Почему-то он сказал свою фразу по-русски и, по обыкновению, своеобразно ломаным языком. Он сказал «хороша» вместо «хорошо», и слово «хороша» никак не относилось к черномазой, курносой рожнице ребенка. Но отчего снова затлели отсветами давно погасшие глаза? Отчего веянье какой-то отдаленной, словно зарницы, совсем необычайной для него нежности озарило сморщенное лицо?

— Что делать? — медленно повторил он вопрос муллы и ответил негромко: — Я оставлю девчонку у себя — вот что будет делать Ахмет.

Подумал, покачал головой и добавил снова по-русски, с колебанием:

— Если барыня будет позволять.

О замерзших он не расспрашивал, точно их и не было. Молча дал он мулле денег на похороны. Девочку же оставил у себя.

5

Когда Анна Петровна проснулась и вышла в столовую, ее поразило необычайно взволнованное и растерянное лицо Ахмета.

— Что с тобой, Ахмет Бакирыч? — удивленно спросила она. — Ты нездоров сегодня? У тебя странный вид.

Но изумление ее сделалось тревожным, когда Ахмет, не говоря ни слова, покачнулся и задергал щеками.

— Да что такое, что такое? — повторила Анна Петровна уже испуганно. — Что случилось?

— Позвольте... позвольте мне оставлять ее... позвольте оставлять! — бессвязно бормотал Ахмет. — Сирота она, и остался один. И мать и отец померли... Она один.

— Да про кого ты говоришь, Ахмет Бакирыч? Объясни толком. — Профессорша растерянно осмотрелась по сторонам.

Она не понимала.

Вместо ответа башкир бросился из комнаты и через минуту вернулся с живым свертком и положил на скамеечку у ног профессорши смеявшегося в то время неизвестно чему ребенка.

— Вот, добрый бариня... Это Эмель, она девочка, и Рысней и Фарига у ней замерзли.

Наконец-то все поняла Анна Петровна.

— Так ты хочешь оставить у себя эту девочку? — спросила она и добродушно рассмеялась. — Конечно, оставь, Ахмет Бакирыч. Я рада этому... Рада помочь тебе. — Она потрогала девочку по выщипаным, черным, как сажа, волосам. — Только как же ее зовут?

— Эмель, — ответил Ахмет Бакирыч. — А лучше сказать: Амеля.

— Да, Амеля — это, конечно, лучше, — согласилась и профессорша, но как ты будешь ее кормить?

Старик рассмеялся на всю комнату:

— Сам буду! — закричал он и снова засмеялся. — С рожка буду кормить Амеля.

— Ну, ну, как знаешь... — Анна Петровна улыбнулась, но поглядела в лицо старого башкира растроганно и серьезно. — Я рада, что у тебя будет, наконец, что-нибудь свое в этом доме... Только надо ее вымыть и переодеть.

— Сам и мыть буду! — объяснил Ахмет и неловко взял девочку на руки. — Служить буду по-прежнему — верно и крепко. А все буду сам делать для девчонки Амеля.

— Только ты зайди ко мне в кладовую, Ахмет Бакирыч, — сказала Анна Петровна, вставая. — Я посмотрю, не осталось ли у меня какого полотна на белье. А мыть ребенка было бы можно попросить Перепетуя, — добавила она уже на ходу.

Профессорша ушла, а старый Ахмет все стоял посреди столовой со своей ношей и бормотал с побуревшим лицом:

— Почему Перепетуя? Зачем Перепетуя? Сам Амеля буду вымыть. Зачем прачка?

И смеялся. Никто не узнавал старого Ахмета.

Тем же вечером Анной Петровной был выдан Ахмету для его девочки батист, было куплено несколько смен белья; принесенные муллою войлок и тряпки были выброшены, а наутро на ковре возле постели в комнате старого башкира появилась нарядная, новенькая, отлакированная колясочка.

Когда крошечную Амелю отмыли от грязи и одели в кружевное белье, смуглая рожица девочки стала такой хорошенькой, что Анна Петровна, по совету Перепетуи, пришла посмотреть.

— Да она преинтересная,— сказала профессорша и вновь погладила ребенка по вьющимся волосам.— Поздравляю тебя, Ахмет Бакирыч, с такой славной внучкой. Прими от меня ей в будущее приданое этот золотой.

И наутро сходила сверху посмотреть на Амелю Анна Петровна, и днем рассматривала ее и все хвалила. Постепенно все больше начало заинтересовывать ее смуглое, неожиданно принесенное горным зимним бураном существо, которое уже через год научилось лепетать и бегать. Этот год прошел так необычно быстро, что профессорша удивилась. Как видно, самой природой была вложена в ребенка неугомонная потребность движений, крика и беготни; может быть, самой натуре степных кочевников, от которых и вела свое происхождение темнокожая Амеля, было свойственно это раннее развитие,— только вскоре же начала бегать Амеля по сонным комнатам старого дома, наполняя все углы криками своего низкого грудного голоса.

Ахмет пытался было останавливать свою неугомонную внучку: он думал, что профессорше не понравится шумливость «степного волчонка», но случилось, что услышала Анна Петровна ворчание Ахмета и сказала, что башкирочка ей не мешает.

С тех пор уже ничто не останавливало Амели, и она бегала, сколько ей хотелось, и там, куда только звала ее маленькая кочевая душа.

— Пусть эта козочка бегаёт даже по гостинной,— сказала раз Анна Петровна. А ведь гостинная была самой священной комнатой во всем доме, потому что там стояли вещи умершего профессора.

Вслед за Анной Петровной и Ахмет стал звать Амелю козочкой, а за ними вскоре начала так именовать башки-

рочку и вся улица, которой вскоре же стало известно о необычайном происшествии в сонном особняке. Все словно забыли настоящее имя Амели. Да и в самом деле: «Козочка» более пристало к этому постоянно прыгавшему человечку с блестящими выпуклыми глазами, такому быстрому и красивому в своей горной, своеобразной и дикой грации.

7

Страдали, конечно, от Амели диваны, кресла и столы; плакали игрушки и даже часы, к которым она ухитрялась добираться по целым пирамидам из табуретов и стульев, но профессорша не ворчала: слишком много ясной, солнечной жизни вносилось в сумрачные покои, чтобы протестовать из-за отбитой ножки кресла или уголка фарфоровой вазочки.

И только по вечерам, когда дом затихал и профессорша отправлялась к себе в антресоли на боковую, а Козочка-Амели являлась к своему суровому деду, начиналось отчитывание Амели по всем пунктам, против которых она погрешила за день: за непочтение к прачке Перепетуге, за появление на кухне, за съедение в кладовой варенья, за отбитие у фамильного кресла ножки и за слишком громкий смех во время обеда профессорши... Преступлений накапливалось за день столько, что старая голова Ахмета Бакирыча подчас не могла всех их вместить, и тогда Амели с громким смехом поправляла деда:

— А ты, дедушка, пропустил еще одно: я сломала стрелку у барыниных часов!

— Ах, плохой девчонка! Плохой девчонка! — твердил старый Ахмет и качал головою. — Добьешься ты, что нас с тобой из дома выгонят... И я тебя отвезу в степи.

И всегда так бывало, что первого — изгнания из дома — Амели боялась и стихала, а от второго приходила в восторг и начинала хлопать в ладоши.

— Я так хочу в степи, дедушка! — говорила она, и что-то притаенное, инстинктивное, словно врожденное, вдруг вспыхивало в ее агатовых, странно темневших зрачках. — В степях хорошо!

— И ничего в степях нет хорошего! — останавливал ее Ахмет и дергал плечами. — В степях страшно. Не надо любить степи. Не надо! Ты не видала, как там!

— А я люблю! — на все доводы отвечала Амеля упрямо, и смуглое лицо ее начинало бледнеть от затаенной, упругой, ничем не искореняемой мысли.— В степях жить хочу! Жить хочу в степях!

Долго смотрел тогда в лицо ребенку старый Ахмет и опускал голову и что-то бормотал про себя неясно и беспокойно.

8

Для того, чтобы несколько умерить шалости Амели, начал обучать ее Ахмет Бакирыч, как умел, татарской грамоте. Сам он в ней еле разбирался, но, сверх ожидания, неусидчивая, шаловливая Амеля оказалась способной ученицей; словно все, относившееся до степи, влекло и звало ее; а ведь так неохотно училась она у Евгении Васильевны, преподавательницы городской школы, в которую профессорша стала посылать Амелю, как только пришла ей пора учиться.

Ни арифметика, ни правописание ее несколько не интересовали. Понравилось лишь одно Амеле во всем учении: сказки и стихи. Но стихи любила она не всякие, а только такие, в которых говорилось о степях, горах и лесах.

— А наши, дедушка, и стихи лучше! — говорила она вечерами Ахмету, укладываясь в постель.— Не нравятся мне те, что читала учительница. Я так и сказала ей, дедушка, что которые ты знаешь стихи — лучше. Она только засмеялась. Глупая она. Я ей так и крикнула, что она — глупая.

— Погубишь ты меня и себя,— хватаясь за лысую голову, вздыхал Ахмет Бакирыч.— Прогонят нас из дому,— что тогда?

— А прогонят,— будем жить вместе в степи, дедушка. Кибитку себе поставим, стада заведем. Я буду готовить тебе махан, бишбармак... И будем мы жить, дедушка Ахмет,— ты подумай — в степи! Это не дом и не комната, где нет неба,— в степях и солнце, и луна, и все, а в комнате — кресла да столы.

— Ну, что же это за глупый дитя! Что за глупый дитя! — забывшись, уже по-русски твердил, вздыхая, дед.

9

Когда Амеля научилась татарской грамоте, Ахмету стало с ней еще труднее. Она читала книги, овейные чисто

восточной, в своем роде единственной фантазией, переполненные тоскою по воле, горам и степям, и влюблялась в степи и в книги все более, и порою не знала и не могла решить, что же лучше: восточные степи или восточные книги.

— Куда же эти книги сравнить с теми, по каким учат в школе! — убежденно говорила она деду. — Книги там скучные. Зачем мне знать, куда поехали из города два купца и сколько товаров продадут; я лучше стихи буду читать. Кара-Сент! Святой Султан! Салават!

— Да пойми, что это нужно, нужно! — надрываясь от усилий, твердил Ахмет Бакирыч.

— А почему нужно? — пытливо спрашивала Амеля.

Но дедушка сам был неучен и не мог разъяснить — и терялся.

— Для того, чтобы ты была умной! — пытался объяснить он и поминутно отирал пот с лысины. — Народ наш — неученый народ. Степи наши — неученые степи. В книжках степи — красивые степи, а выйдешь — и холод, и болезни, и зло... Недавно Афлатон жену в степи убил... Не дай бог узнать тебе, Амеля, в жизни, какие это степи! Непохожи они на книжки, совсем нет.

Больше он ничего не мог придумать, и Амеля звонко смеялась; но странно: к ее смеху вдруг прислаивалась затаянная грусть, и крохотная морщинка ложилась меж черными, сросшимися бровями, точно ее вдруг посещала тревога: так ли все хорошо, как написано в книжках?

Но недолго продолжалась задумчивость Амели.

— Это все оттого, что ты старей, дедушка! — решала она и снова начинала смеяться. — Ты всего боишься, а батыр Салават ничего не боялся: он один перебил целую стаю волков.

— Я старей, я много видел, — отвечая своим мыслям, угрюмо говорил Ахмет, и на некоторое время лицо его делалось по-прежнему озабоченным, сухим и угрюмым, каким бывало ранее, одиннадцать лет ранее, до появления Амели.

— Я старей, и я много видел, а ты, Козочка, еще не видала ничего. Не хотел бы я, чтобы ты обманулась в жизни и в степях твоих, Амеля; пусть бог сохранит тебя от всего этого глазом своим.

И с кряхтеньем, — становился уже старым Ахмет, — вылезал он из кровати и садился на ковре на корточки и на-

чинал молиться жалобно и горько, умывая руками сморщенное лицо:

— Не приведи, всезнающий, узнать горькое в жизни Амеле!

10

Раз ночью он, зажегши свечу, спросил башкирочку:

— Если ты, Амеля, любишь только свое, степное, то любишь ли ты барыню нашу, Анну Петровну?

Вопрос прозвенел среди ночи так строго и жутко, что у Козочки робко двинулось лицо, и она, чтобы скрыть смущение, отвернулась к стене.

Мерно, озабоченно и сурово подошел к ней старик и взял в обе руки ее голову и повернул к себе:

— Отвечай мне одну только правду, Амеля?

— Я скажу тебе правду,— отвечала Козочка и присела на постели.— Ты спрашиваешь, люблю ли я барыню? Я отвечу тебе.— Она напряженно подумала и добавила четко и раздельно: — Нет, не люблю.

Лицо Ахмета дрогнуло, сморщилось; тихо принял он руки и, сгорбившись, пошел к себе.

— Тогда и я не люблю тебя, Амеля,— жутко проскреб воздух его сломавшийся голос.

— Ты хотел знать правду, и я сказала тебе! — Глаза девочки смотрели опечаленно.— Зачем же ты сердиться? Разве я должна тебя обманывать? — Она снова напряженно подумала и шепнула:— И за что же мне... любить ее?

Медленно двигаясь, снова подошел к ее кровати старик.

— А за то, что она взяла тебя,— чуть слышно, осипшим от волнения голосом ответил он и снова склонил к изумленному лицу башкирочки свои старчески-опухшие глаза.— За то, что она спасла тебя от смерти; за то, что воспитала тебя; что я здесь сам всю жизнь прожил,— это ты понимаешь?

Слезы брызнули из глаз Амели; лицо ее порозовело; она двинулась в постели и оплела тонкими руками шею деда...

— Тогда за все это я люблю ее! — чистосердечно и искренно крикнула она и теснее и ошутимее прижалась к старику.— Тогда я за все это люблю ее, дедушка... Я знала, что она меня и тебя... только я не знала, что можно любить за это... А вот ты сказал мне, и я увидела. Я люблю ее, дедушка, как глаза божьи, люблю. За тебя и за себя!

Молча стоял у ее постели старый Ахмет. Подле маленького башкирского сердечка билось старое, много видевшее сердце человека, уже давно переставшего быть только башкиром,— человека, не учившегося книгам, но понявшего издавна изведенным опытом, что нет ни башкир, ни русских, ни других,— есть одно общее неделимое — люди.

— Я думаю, ты одного не прочла в своих книжках, Козочка,— сказал он ослабевшим голосом и остановился и прислушался, как под рукою его, прислоненной к худеньким косточкам ребячьей груди, билось юное дикое сердце, способное идти до последней грани в любви и ненависти, в радости и печали. Теплое детское дыхание веяло у его сухого, сморщенного, изношенного лица.— Одного не прочла ты в своих книжках,— повторил он глухо и задумался.— Я не учился в школах, но думаю, что одного ты не узнала: что нет на земле верных или неверных; все верные, все люди и всех людей, Козочка, надо любить.— Он помолчал и добавил уверенней:— Без этого трудно жить и в городе... и в степях.

И не знала Амея, что вскоре она услышит совсем другое.

11

Росла Амея по-прежнему беззаботно и радостно, но разговор этой ночи запечатлелся в ее памяти. Стала она временами задумываться, и порою среди самого бешеного бега по комнатам ее маленькое сердце говорило: «стой», а пытливый ум начинали теснить сомнения. Севши где попало, подчас на пол, Козочка вспоминала свою странную ночную беседу с дедом: надо всех любить; книжки — одно, а жизнь — другое; нет ни башкир, ни русских, а есть только люди, которых надо стараться любить.

Недетская задумчивость осеняла тогда тревожными складками ее смуглое, радостное лицо. А может быть, дедушка ошибается? Зачем ей, Амеле, любить, например, прачку Перепетую, Агафона, дворника, которых она почти не видала в течение дня? Они были совсем чужие и словно ненужные; другое дело, когда приезжали из степей свои — башкиры; их хотелось любить уж за то, что говорили они на родном языке, что пахло от них степью и дикой малиной, что привозили они с собой сладкий душистый мед, клубнику и родной кумыс.

Когда они приезжали в дом профессорши, им казалось здесь словно не по себе, хотя Анна Петровна и угощала их и оделяла подарками; они торопились уехать в свою деревню, в свои степи; из этого заключала Амеля, что в степях, действительно, лучше, чем в городе, что дед ошибается.

Дед Ахмет был старый,— он забыл о прежней вольной, кочевой жизни, он всю жизнь прожил в русском городе, в профессорской семье,— вот отчего он про степи забыл.

Все же другие, приезжавшие с родины, о степи помнили; особенно много напоминали о степи приезжавшие в город двое друзей деда Ахмета — башкиры Исян и Искак.

Они словно привозили ее с собой — эту дикую, далекую степь; они словно дышали ею и в каменном городе.

Исян был маленький, кругленький, как кубарь, с розовыми щеками, с жидкой бородкой, седой, как лунь; был он вечно веселый, вечно улыбающийся, оборванный и никогда не туживший; его желтые глаза всегда сияли, как смазанные маслом; полной противоположностью ему был второй — Искак. Был он высокий, худой и черный, с сухим, обветренным, жестким лицом, изрытым оспою, с редкими зубами, угрюмый на вид еще более дедушки; неласково и чуждо высматривали из-под нависших пучков бровей его зоркие, пронзающие, орлиные глаза.

Не походя на Исяна лицом, не походил на него Искак и манерой говорить и одеждой: бешмет у него всегда был чистый, хотя и заплатанный и словно строго блестел круглыми медными пуговицами, похожими на глаза птиц; и пояс у него был не как у Исяна — лычко,— был кожаный, отделанный серебром и замыкался двумя татарскими монетами, которые так и звали Амелю потрогать мизинцем.

Такой он был некрасивый, рябой, с бурыми бровями, но входил он, высокий, прямой и угрюмый,— и точно светлело на сердце Амели. Твердая, как железо, воля была у него,— воля, временами казавшаяся Амеле суровой и злой. Не таков был он, как престарелый дедушка или вечно смеявшийся, иногда выпивавший, совсем вопреки закону, Исян. Исян хоть и любил свою степь и деревню, и речки, но порой казалось, что ему было все равно, где жить, как и Ахмету: в степях или в русской деревне; про Искака же этого и подумать было нельзя. При первом взгляде на него чувствовалось, как сурово и неизменно любит этот человек свои степи, что он их никому не отдаст, никогда им не из-

менит. Сорок лет прожил он в них и ездил в город лишь по делам и дня не оставался лишнего в чужом городе.

«Этот не такой, как дед и Исян,— настоящий этот»,— восторженно думала, глядя на Искака, Амеля. И не виделось ей тогда, что лицо Искака изрыто оспою, что руки у него жестки и черны, как уголь, которым он торговал; что борода у него редкая и колючая, как ковыль: ей казалось, что перед нею один из прежних грозных батырей, которые жили когда-то средь беспредельной солнечной степи, которые ушли или были из степи изгнаны, но которые снова придут.

12

Когда Исян и Искак приезжали в город, они прежде всего являлись на меновой двор и там распродавали свои товары: уголь, мед, и, зимою, дичь. После этого, — так уже было заведено издавна, — они приходили в гости к Ахмету. Анна Петровна всегда очень охотно привечала в своем доме деревенских приезжих. Исяна же и Искака тем охотнее, потому что она видела, — их приезды радовали Амелю.

Принимали башкир обычно в комнате Ахмета, и Амеля больше всех заботилась, чтобы прием производился «по закону»: сама стлала на пол ковер, выносила из комнаты стулья и табуреты и на ковре раскладывала по восточному обычаю подушки. Самовар, конечно, был русский, но он сделался издавна таким необходимым предметом башкирского обихода, что Амеля и самовар считала таким же родным, как кумыс и курт.

Все угощения свои — пряники, кишмиш и урюк — она расставляла также на ковре в деревянных чашках. Приготовив все, она усаживалась на подушке, подобрав под себя, по обычаю, ноги с таким забавным и серьезным видом, что порою профессорша заходила в комнату Ахмета с одной лишь целью: посмотреть, как важно восседает среди башкир тоненькая, как тростинка, и гибкая, как степной зверек, Амеля. Ее одиннадцать лет наполняли ее гордым сознанием, что она — взрослая, и радостям ее не было конца, и глаза сверкали золотыми искрами, точно отблески солнца прокатывались в зрачках.

Входили в преображенную комнату Искак и Исян, а Амелю так и подмывало спросить старого Ахмета: почему же он не смеется, почему не поет, когда к нему приехали

из степей, почему лицо его по-прежнему все так же темно и сурово?

И она ближе подсаживалась к строгому Искаку и старалась неприметно коснуться пальцем его пояса, пуговиц его степного бешмета... Быстрым, вкрадчивым движеньем ее смуглая рука придвигала к Искаку лучшие крендели и булочки, лучшие ягоды, лучшие угощенья...

Лишь изредка взглядывал на нее Искак, но даже это почему-то приводило Амелю в восхищение и трепет; считала ли она себя ничтожной в сравнении с этим строгим и большим человеком, похожим на былых богатырей? Считала ли по вековому укладу родной жизни, что женщина и вообще что-то малое и незначительное в сравнении с витязем и джигитом?.. А угрюмый и глухой, как клетот беркута, голос в это время гудел над ее головой, и, точно черные крылья исполинского грифа, распластывались над нею и текли обычные для Искака грозно жалующиеся и словно обвиняющие речи о былом:

— Куда ушло? Где степи? — говорил он тревожно слушавшему Ахмету, и затихал даже вечно смеявшийся пьяненький Исян. — Где стада, где воля, где наши леса, где просторы? Все было наше в степи, все было!..

И забывалось о пряниках, о сладком кишмише и урюке; хотелось только слушать глухой, упрекающий бас:

— Еще помнят то время деды. Еще помнят кочевья, полные лошадей и овец. Были полны добра белокошемные кибитки; полны песен и музыки просторы степей. Стрела батыра поражала в небе орла, конь джигита обгонял бег лисицы... Где орлы, где лисы, дарившие шкуры на зимний бешмет? Почему даже беркуты скрылись в небе, и только филин плачет в вырубленных лесах? Почему батыры опустили руки? Почему порваны на луках тетивы?

Суровой жалобой, горьким упреком и пугающими призывами веяло в этих речах, и смущенно покорно поникала под ними седая голова Ахмета с синей жилой на виске, а в слипавшихся в пугливо-сладкой истоме глазах Амели реял бедный ковыль степи, средь которого скакали кони, и тысячи всадников поднимали к небу луки, бросая пернатые стрелы в черные тела нависших над степью птиц.

«В степи! В степи!» — шептала Амеля невнятно, и сонную ее относил дед в постель, а она все шептала: «Вы, степи!»

Случилось так, что захворал и умер старый Ахмет.

Никто не мог поверить, что Ахмет Бакирыч умер. Еще утром он ходил, по своему обыкновению, по дому, совсем обычно пересчитывал в буфете серебряные ложки, принимал от Перепетуи отчет о покупке провизии, пил с Амелей чай,— а после обеда тихонько прилег на кровать.

— Зачем ты лежишь, дедушка,— спросила его Амеля.

— Голова болит немного,— ответил, еле раздвинув губы, старик и дотронулся желтой иссохшей рукой до лысого черепа.

И так стало вдруг жаль Козочке эту исхудалую руку, с синими, как черви, жилами, что она не сдержалась и заплакала.

— Ты скорее выздоравливай, дедушка! — жалобно сказала она, точно Ахмет Бакирыч уже объяснил ей, что захворал надолго.— Мне без тебя будет скучно... Будет страшно! — добавила она, словно в каком-то предчувствии, побледнев.

— Да, я скоро встану, конечно,— сказал на все это дедушка и хотел двинуться, но остался неподвижным и даже охнул.

— Я скоро встану!

Он жалобно и беспомощно улыбнулся, а Амеля смотрела на его сухие, сморщенные виски, и казалось ей, что на висках деда тлеют темные пятна, которых она раньше словно не видела.

— Отчего это ты сегодня чудной, дедушка? — хотела спросить она, но смолкла и привстала: к ним подходила с озабоченным лицом сама профессорша.

Старый Ахмет хотел подняться и двинул ногами, но вышло так, что одна нога свесилась с постели, а другая осталась неподвижной, и так страшно было видеть, что старик хотел поднять ногу, хотел двинуть ею, но не мог.

— Вы меня извиняйте, бариня,— еле слышным, странно прозвеневшим, каким-то далеким голосом проговорил он, и две крупные слезинки повисли на его ресницах.

— Да что с тобой, Ахмет Бакирыч? — уже испуганно спросила Анна Петровна.— Ты и впрямь заболел, надо доктора пригласить!

Тусклые глаза Ахмета сейчас же передвинулись на Амелю, и профессорша поняла его желание.

— Выйди отсюда, Козочка,— сказала она Амеле, и когда та, побледнев в предчувствии надвигавшегося горя, медленно вышла из комнаты деда, старик тихо, но внятно прошептал, пытаясь коснуться губами руки Анны Петровны.

— Зачем доктор, бариня: моя пришел время — кончать!

— Да что ты, что ты, Ахмет Бакирыч! Я не узнаю тебя,— торопливо заговорила профессорша, и Ахмет видел, что она ему поверила, что она ему верит и спешными словами старается заглушить поднимавшийся в ней страх.— Ты еще поправишься, Ахмет Бакирыч, да у тебя и болезни никакой не было!

— Болезни не было, а пора умирать! — ответил старик уже неизвестно откуда взявшимся в нем громким и спокойным голосом,— таким спокойным и твердым, что всякие разговоры вдруг показались обоим бесполезными.

— Моя время пришел, добрый бариня, и об одном просить буду: не оставьте Амеля!

— И зачем вы так говорите, Бакирыч! — глаза Анны Петровны вдруг сощурились, и в непонятном почтении к умирающему, она обратилась к нему на «вы». — Козочка не может быть брошена мною: я сделаю для нее все, что надо, вы можете быть спокойны. Но вот что, Ахмет Бакирыч.— Она взяла стул, присела подле постели старика и осмотрелась, нет ли кого в комнате.— Как насчет моего прежнего разговора?.. Насчет Амели? Окрестить ее в нашу веру?

Она остановилась в напряженном ожидании и вглядывалась в потемневшее лицо старика. Не однажды ранее она обращалась с таким предложением к Ахмету, но всегда слышала от него один ответ:

— Я — башкир, и умру башкиром. Зачем ломать веру и Амеля, когда бог — один у всех. Пускай так будет и с нею.

— Что же, Бакирыч? — в волнении переспросила Анна Петровна, видя, что он молчит. И ждала уже прежнего ответа, как внезапно глухой и сдавленный голос точно пришел к ней издалека,— словно из недр земли:

— Ваше дело, мой добрый бариня. Думаю, лучше будет с вашей верой Амеля: при вас останется, не пойдет в степи.

К вечеру у Ахмета отнялся язык, а ночь Амеля провела в спальне Анны Петровны; старый Ахмет скончался перед полночью, и ей сообщили о смерти деда лишь утром.

14

Когда проснувшейся утром Амеле сказали, что дедушка уехал, чтобы лечь в больницу, она вдруг закричала и бросилась вниз, в комнату Ахмета. Комната оказалась запертой, и как Амеля ни кричала, ей никто не ответил. Она присела у двери на полу и стала тихонько плакать.

Анна Петровна пришла в переднюю.

— Что ты, Козочка? — сказала она, пытаясь сохранить спокойствие. — Тебе же сказали: дедушка уехал. Зачем ты сидишь на полу?

Еще вечером, когда Амеля стала проситься к деду, Анна Петровна объяснила ей, что был доктор и не велел больного тревожить.

— Вот почему ты эту ночь должна проспать в моей комнате, — строго добавила ей профессорша.

Как ни привыкла к ней Козочка, все же при взгляде на Анну Петровну ей вдруг сделалось страшно, и она при-смирела.

— Хорошо, я лягу у вас в комнате, — послушно сказала она.

Анна Петровна провела ночь беспокойно и все прислушивалась: не всхлипывает ли Амеля. Она не плакала, и только стонала во сне; когда же под утро утомленная профессорша задремала, ее разбудил легкий, вкрадчивый шорох. Она вскинула голову и при свете лампадки заметила трепетно прижавшееся к ней смуглое личико.

— А дедушка не умирает? — спросила Амеля.

На несколько мгновений Анне Петровне сделалось страшно. Эта ночь, тишина и дрожащий свет лампы, и лицо, трепетное и робкое, с глубокими, отемненными, все понимающими глазами... Так жутко было смотреть в эти строгие детские глаза... Было неприятно и страшно обманывать.

— Ляг и засни, Козочка, — ответила Анна Петровна, несколько успокоившись. Подумала, вздохнула и сказала еще, с напряжением и неловкостью:

— Дедушка твой болен, но он будет здоров.

И теперь, когда профессорша застала Амелю сидящей

на полу у двери, за которой лежал покойник, первым вопросом ее питомицы было:

— А дедушка будет здоров?

Чувство жутки охватило Анну Петровну. Она повела плечами и, чтобы скрыть свое смущение, крикнула сердито:

— Я прошу тебя уйти в столовую, Амеля!

И впервые под этим окриком Амеля стихла и сжалась. Голова ее склонилась, упали плечи, она согнулась и бросила исподлобья на Анну Петровну взгляд испуганного зверька.

— Сейчас уйду,— сказала она покорно и пошла из прихожей. Жалостью сдавило душу Анны Петровны. «Подожди!» — хотелось ей крикнуть вдогонку девочке, но она сказала совсем другое, и оно вырвалось неожиданно и резко.

— Да, это, конечно, верно: твой дедушка умер, Амеля.

Обернулась Амеля; некоторое время смотрела она на Анну Петровну совсем круглыми, недобрыми глазами, она не верила: ей казалось, что над нею смеялись; с обидчивой и недоверчивой улыбкой она бросилась к двери комнаты Ахмета и стала стучать в нее кулачками:

— Открой, дедушка Ахмет!

Стояло молчание, и оно было страшным: оно заставляло верить, что сказанное ей было правдой. Отчаянье стиснуло сердце, и, все сильнее стуча в дверь, Амеля кричала, обливаясь слезами:

— Открой дверь, дедушка! Открой, милый!

Это было так жутко, что профессорша поспешно зажала уши и прошла к себе наверх.

Ее позвала Перепетуя, у которой было робкое, испуганное лицо.

— Барышня захворала, у барышни жар!

Анна Петровна молча поднялась с постели и пошла в гостиную.

В уголке большого старинного дивана лежала Амеля, и лицо ее, всегда смуглое, было темно, как бронза.

— Козочка! Козочка! — беспомощно призывала профессорша.

Амеля подняла на нее свои распухшие веки и засмеялась.

— Пошлите скорей за доктором,— крикнула Анна Петровна.

— Вы знаете, я вас буду очень любить, очень любить,— бормотала в жару Козочка и хваталась тонкой ручкой за руку Анны Петровны.— Раз дедушка умер, значит, я теперь совсем одна, и я вас буду всегда любить. Вы меня никогда не прогоните?

— Милая, милая Козочка! — только и отвечала профессорша, утирая набегавшие слезы.

— Я раньше вас совсем не любила,— Амеля все сжимала ее руку; — но дедушка велел мне вас очень любить, потому что он умер... А потому что он умер, я всегда буду... я...

Дальше следовал уж совсем непонятный бред, и Козочка рассказывала про степи, про книжки, про башкир Искака и Исяна, про богатырей и цветы.

Молча профессорша сменяла компрессы, молча плакала и беззвучно молилась. Неужели умрет она, эта смуглая башкирка, эта черная Козочка?

Около трех недель была Амеля между жизнью и смертью; наконец юный организм и хороший уход побороли болезнь, и Козочка начала поправляться.

Она очень похудела и стала более походить на башкирочку: опали щеки и выставились скулы, заострился подбородок и черные глаза блестели, как громадные дорогие агаты.

Не было желания Козочки, которое бы не исполнялось тотчас же. Сама профессорша, привязавшаяся к ней за ее болезнь еще больше,— словно бы потому, что она отвоевала для жизни эту смугленькую капризницу,— исполняла все ее прихоти, все причуды. Позвали раз к Козочке даже ее приятелей Исяна и Искака, но они ей на этот раз не понравились, особенно Исян: он смеялся и радовался по-прежнему, когда дедушка Ахмет умер!

— Нет, я больше не хочу этих,— капризно шепнула она профессорше.— Они не понимают ничего, и я буду любить только вас.

— Вот что, Козочка,— сказала ей на это Анна Петровна.— Пока ты была больна, я не решалась говорить, хотя и следовало это сделать... Я хотела бы окрестить тебя в нашу православную веру... Что ты скажешь на это?

— Мне все равно,— равнодушно ответила Козочка, так равнодушно, что профессорша обиделась. Она ожидала

волнения, криков, даже слез,—Амеля была невозмутимо спокойна.

— Тебе двенадцатый год, ты подумай! — пыталась вразумить ее Анна Петровна.— Ты теперь должна сама понимать. Была у тебя вера татарская, а теперь будет русская... Так вот, я не хочу тебя принуждать,— решай сама.

— Да ведь дедушка говорил: бог один! — изумленно сказала Амеля.

Настало время удивляться и профессорше.

— Да, бог один, Козочка,— ответила она.

— Так разве не все равно, если бог один?

— Конечно, все равно. Только по-моему, тебе лучше окреститься.

— Если лучше, то я же согласна.

Через неделю приехал священник. Козочку окрестили Ноной.

— Вот теперь ты стала не Козочка и не Амеля, а Ноночка,— сказала радостно улыбающаяся профессорша, шурша лиловым шелковым платьем, от которого несло камфарой. Для такого торжества со всей мебели в доме сняли чехлы, и Козочка впервые увидела убранство старинных комнат.

— Все это достанется тебе, Ноночка! — объяснила профессорша, показывая комнаты слабо двигавшейся на похудевших ногах Амеле.

— Зачем достанется? — удивленно спросила она.

— А когда я умру,— спокойно ответила Анна Петровна, и внезапно судорожные рыдания огласили нарядные комнаты.— Что ты, Ноночка, что, Ноночка?

— Никогда, никогда не умирайте! — всхлипывая, твердила Нона, повисши на шее профессорши.— Хоть вы-то никогда не умирайте: иначе я вас совсем не буду любить!

16

Прошло около года. Нона росла и преображалась в девушку. Теперь ее уже все называли барышней; только лицо у нее еще оставалось башкирское — густые волосы, да кожа смуглая, да по-восточному черные глаза,— во всем остальном она походила на русскую воспитанную барышню.

После болезни она как-то сразу изменилась и сделалась степенной. Была ли причиною тому слабость или в душе еще слишком остры были воспоминания о смерти деда Ах-

мета, только игривость Ноны как бы канула. Она сделалась тихой, задумчивой, словно осторожной; приходивших изредка к Анне Петровне гостей стала сторониться, пристрастилась к книжкам и хотя по-прежнему всем им предпочитала восточные легенды и песни, но иногда зачитывалась и русскими книгами. Лермонтов и «Капитанская дочка» сделались ее друзьями. Однако ей шел уже тринадцатый год. Анна Петровна наняла ей учительницу, пригласила и учителей из гимназии, но видела, что образование Ноны идет не так, как следует. День за днем отклоняла она от себя мысль о том, что надо основательно заняться воспитанием Ноны; оттягивала и откладывала решение,— наконец все же пришлось хлопотать о помещении Ноны в институт. Конечно, можно было отдать девочку и в гимназию, но сама Анна Петровна воспитывалась в институте и иного образования признавать не хотела. Целый день лились слезы, когда выяснилась судьба Ноны. Под конец зарыдала и сама Анна Петровна; к вечеру решение было отменено, но к утру, за бессонную ночь, восстановилось сызнова.

На подмогу была вызвана из института и знакомая пепиньера.

— Лучшего образования, как институтское, и не бывает! — сказала и пепиньера.— Притом же к вам, Анна Петровна, возможно, будут Козочку и на праздники отпускать.

Участь Ноны была решена.

17

Настал и день, когда нужно было отправляться Ноне в институт.

С утра Анна Петровна поднялась надутая, разбранила нового лакея Селивестра и все время придиралась к Перепетуе за дурной кофе и несвежие скатерти.

— Вот уж, истинно, пожалеешь, что нет у меня больше Ахмета Бакирыча,— раз десять в то утро проговорила она.

Прислуга терпеливо сносила воркотню профессорши: все знали, что дело было совсем не в кофе и не в скатертях.

И Нона сидела надутая. Правда, еще со вчерашнего вечера в прихожей стоял сундучок, полный карамелей и пирожков, но все же на душе было сторожко и страшно, и причина тому крылась, как никак, в тетке Анне Петровне.

— Я, собственно, и совсем не хотела бы учиться, тетя Аня,— сказала Нона за час до выезда в институт.

А когда до отъезда оставалось только четверть часа, во вреде учения была убеждена и профессорша. За пять минут до отъезда она поднялась к себе наверх и, сморкаясь, стала бранить пепиньеру: такая она глупая, и одно плечо у нее выше другого! Однако ровно в двенадцать профессорша надела шляпу с оплешивевшим горностаем и сказала Козочке строго:

— Nous devons partir!

Собрались, вышли в прихожую, простились с рыдающей Перепетуей, поехали.

Зажелтело вдали здание института.

— Не поливают улиц! — сердито крикнула профессорша.— Дождутся они, что я пожалуюсь Ивану Кирилловичу!

Иван Кириллович был губернатор, и все в доме знали, что когда профессорша говорит о губернаторе,— дело плохо.

Тоскливо и пусто было на сердце Ноны.

— Жалуйте, ваше превосходительство! — гаркнул швейцар, в своем усердии повысивший профессоршу в чине. Но и это не обрадовало Анну Петровну. Она ворчливо отстранила солдата и, толкнув его локтем, сказала:

— Отодвинься, любезный: от тебя пахнет спиртом. Прими сундучок.

18

Уже сразу насторожил Козочку особенный, словно стеклянный гул, наполнявший институт. Где-то в отдалении шаркали сотни ног, где-то словно звенели тысячи пчел. Когда Нона проходила с профессоршей по коридору к приемной, она видела, как встряхивалась на тоненькой шее крошечная голова Анны Петровны и как жалобно тряся при этом на ее шляпке порыжелый, словно заржавевший горностаем. Была еще осень, и солнце грело, но профессорша при всех выездах и во всякую пору пользовалась только этим горностаем, и никак не расставалась с ним, подарком покойного мужа.

Стали ожидать в приемной выхода начальницы, но вместо нее пока явилась Евдокия Трифоновна — та самая пепиньера, которая советовала отдать Нону в институт.

— Ну, вот, приехали,— и отлично! — суетливо говорила она, целуясь с Анной Петровной и Нюночкой.— Скоро придет сюда и татап и все устроится как нельзя лучше.

Среди этих разговоров появилась и сама начальница института, или татап, как ее называла пепиньера, — важная, очень полная, усатая, напудренная, чернобровая дама в седых кудрях и золотых очках, с тонкими, элегантными манерами, и стала солидно целоваться с Анной Петровной. Долгое время, разговаривая с профессоршей, она ни словом не обмолвилась о стоявшей перед ней, едва дышавшей Козочке, и только потом обратила на нее свой зоркий взгляд, показавшийся Нюне еще более блестящим,— может быть, от очков.

— Приветствую вас, милое дитя,— торжественно сказала она Козочке по-французски и медленно, тоже торжественно, улыбнулась.— Надеюсь, вы будете хорошо учиться и равно вести себя?

Крошечные ручки профессорши слегка подтолкнули Нюночку, и та, выступив немного вперед, ответила тоже по-французски, запинаясь от волнения, но отлично выговаривая слова:

— Я буду стараться... буду стараться!

Татап подняла кверху свои поразительно черные брови и сказала протяжно:

— Я рада, что вы имеете такое хорошее prononciation! Старайтесь учиться, милая, ибо ученье — свет, а неученье — тьма.

После этого она уже больше не говорила с Козочкой и только обратилась к пепиньере, указав на Нюну рукой:

— Присматривайте за нею, mademoiselle Керженцева, заботьтесь о ней, приласкайте ее...

— Oui, татап, oui, oui, — с поклоном ответила пепиньера и, положив руку на плечо Нюны, обратилась к начальнице: — Нам можно идти?

— Да, конечно,— ответила та, и внезапно у обеих,— у профессорши и Нюночки — в одно время побелели лица, и по всей приемной раздались отчаянные вопли Нюны. Она бросилась к Анне Петровне и обвила ее шею руками и плакала навзрыд, и сейчас же полились обильные слезы и из глаз профессорши, и татап сделала недовольно-строгое лицо. Она отвела Анну Петровну в сторону и стала усовещивать, говоря, что это — дурной пример для девочки, когда плачут взрослые.

— Да, да, вы правы; конечно, вы правы,— лепетала профессорша. *Vous avez raison* — я не должна плакать: это — дурной пример.

— И еще что-то бормотала Анна Петровна, пока татап не дала ей понять, что пора проститься.

— Ну, прощай, Козочка... до свидания, до свидания! — быстро поправилась она и, еще раз поцеловав Нону, спешными и неровными шагами вышла из приемной, забыв даже проститься с начальницей. Обе оставшиеся дамы покачали головой, пошептались, потом начали о чем-то говорить по-французски, — о чем, — Козочка не разобрала, хотя к тому времени сама очень хорошо понимала французскую речь: волнение мешало ей вникнуть, и, глотая слезы, чтобы не рассердить начальницу, она сидела на стуле с опущенной головой.

— Теперь отведите *mademoiselle* в класс! — строго приказала пепиньере татап и сейчас же, шурша юбками, вышла из приемной, громадная, важная, седая, торжественная, похожая на какое-то древнее божество.

19

Пепиньера, взяв Нону за плечо, повела ее вниз, в класс, где их встретили более сорока девочек-институток. В классе было шумно и беспорядочно, и гомон не стих, несмотря на то, что вошла пепиньера: ее не боялись. Институтки обступили новенькую и глазели на нее во все глаза.

— Тебе сколько лет? — спросила одна.

— Двенадцать, — ответила Ноночка по-французски.

— Отчего же ты такая маленькая? Тебя плохо кормили?

Ноно молчала: она не знала, отчего.

— Смотрите, *mesdames*, какая она черненькая. Ты кто? Негритянка?

— Цыганка? — спрашивала другая.

— Арапка?

— Нет, я башкирка, — объяснила Ноно, и вокруг нее раздались возгласы удивления. — Только я — крещеная! — для чего-то добавила она.

— А у нас тут есть еще такая же черномазая, — объяснила толстая, краснощекая девочка с вихрами на темени. — И она — киргизка.

Барышни рассмеялись, затем начали возиться и вытолкнули к Козочке совсем черную, с косыми, узкими глаза-

ми и вздернутым носом, сонную на вид смуглянку, с жесткими, как лошадиная грива, волосами. Это и была киргизка. Звали ее — Хуршит Шолдиярова.

— Пощупай, какие у нее волосы! Какие волосы! — закричали около Ноны. Девочка с вихрами дотронулась до волос киргизки, и внезапно та, размахнувшись, дала ей пощечину. Все засмеялись.

— Не драться, не драться, дети, — строго остановила их пепиньера. — Я скажу татап и про вас, Носильчикова, и про вас, Шолдиярова!

Поднялся гам. Все старались объяснить пепиньере, кто был виноват, а Нона стояла подле, неподвижная, смущенная, с опущенными глазами, и ей снова вспомнилось: как хорошо и тихо в их старом доме и как плохо здесь.

— Ого, да ты тихоня! — сказала девочка с вихрами. — Мы тебя будем обучать. — Будем на тебе верхом ездить!

— Брыкина, станьте в угол, — крикнула на нее пепиньера. — Немедленно станьте в угол за дурные разговоры.

Пепиньера крикнула так строго, что Брыкина сейчас же пошла в угол. Пепиньеру в это время вызвали к начальнице, и Нона осталась одна. Она не знала, что ей делать, и стояла неподвижно; внезапно к ней подошла киргизка Хуршит и проговорила, жестко чеканя фразы:

— Ты — башкирка, я — киргизка, — значит, мы обе с тобою родня. Поэтому мы обе с тобою будем дружны. Я сильная, и поэтому никому не даю себя обижать, поэтому я даю всякой пощечину, которая ко мне пристает. Я буду бить, которая и к тебе пристает. Поэтому мы с тобою будем дружны.

Не сразу разобрала Ночка странную речь своей неожиданной подруги. Она только и слышала, что часто мелькавшее слово «поэтому» и, поняв, наконец, суть речи Шолдияровой, невольно и необидно рассмеялась.

Рассмеялась и киргизка. У ней были белые и ровные как жемчуг зубы; улыбка преображала лицо и делала его привлекательным.

— Хорошо, мы будем с тобою дружны, — громко сказала она киргизке и обняла ее. — Мы будем с тобою дружны! — повторила она радостно, и так сразу легко сделалось у нее на сердце.

Посмотрела еще в непроницаемо-темные, узкие, как фисташки, глаза Хуршит, на ее пухлые, красные губы и, повинувшись какому-то смутному желанию, поцеловала ее.

Все институтки рассмеялись, думая, что Нона шутит или балуется. Но обeim — башкирочке и киргизке — стало вдруг так покойно и весело.

Прошли в общий зал; Нона шла и все поглядывала на Шолдиярову. Сонное лицо киргизки очень мало изменялось, даже когда она что-либо рассказывала.

— Этой осенью, — говорила Хуршит, усевшись с Ноной в зале на диване, — сюда поступило тридцать новеньких, и, однако, никто не плачет. Поэтому не надо плакать и тебе. У других родители живут за тысячи верст, и то девочки не плачут, а твоя мать живет в этом же городе. Поэтому ты гораздо счастливее других.

Совсем было успокоившаяся Ноночка начала всхлипывать: слово «счастливая» так внезапно оцарапало душу. Хуршит не утешала ее, ничего не говорила и лишь слушала вздохи подруги.

Пробил звонок. Институтки зашумели.

— Пора ужинать. Пойдем, — сказала ей Шолдиярова. Нона молча поднялась. Пошли в столовую. Пепиньера указала Ноне место за столом, но Хуршит упросила ее посадить подругу рядом с ней. Институтки улыбались, глядя на них, и что-то бормотали.

За ужином Нона не могла проглотить ни кусочка хлеба.

— Отчего же ты не ешь? — спросила ее Шолдиярова.

— Я не хочу.

— Тогда я съем твою порцию. — И Хуршит быстро проглотила долю Ноны. Она даже тарелку Ноны вычистила хлебным мякишем, да и мякиш съела. — Я очень люблю есть.

Встали из-за стола, помолились, разошлись. Хуршит куда-то запропастилась, и Нона, не зная, что делать, присела на парту.

— Милая, милая тетя Аня, как я люблю тебя! Так люблю.

20

Снова пробил звонок. Все куда-то пошли, и Нона опять не знала, куда, но появилась, наконец, Хуршит и закричала ей еще в дверях:

— Почему ты спать не идешь?

— Я не знаю... — начала было Нона, но смолкла и пошла за Шолдияровой.

Они поднялись по лестнице, и снова появилась пепиньера.

— Может быть, ты хочешь спать рядом с Шолдиаровой, Нона? — спросила она.

— Да... позвольте, — тихо ответила Козочка.

— Тогда иди сюда. Вот эта постель будет твоей. Тебе покажут, как надо аккуратно складывать платье.

Нона подняла голову, но пепиньеры уже не было, а подле нее флегматично и сонно раздевалась Хуршит.

— Платье ты всегда так складывай. — Она показала Ноне и полезла под свое одеяло. Около них стояло несколько институток. Смотрели и тихо посмеивались.

— Inseparables! Inseparables! — бормотали они.

— Пошли прочь, дуры! — крикнула на них Хуршит и угрожающе поднялась на постели. Институтки бросились врассыпную.

— Inseparables, — кричали в стороне. — Мы теперь так вас и будем звать: неразлучные попки!

Киргизка скоро заснула. Нона неподвижно лежала в постели с открытыми глазами. Постепенно смолкал гул в дортуаре, наконец все стихло, и тут Нона дала волю слезам.

Забившись в уголок непомерно большой кровати, она плакала долго и жалобно. Как холодна была казенная подушка и каким жестким казался казенный тюфяк!

«Что-то делает теперь тетя Аня! — думалось неотвязно и тут же вспомнилось о бабушке. — «Ты должна ее любить», говорил он. «Должна любить, как меня!» Но ведь я же люблю ее! — твердила Нона всхлипывая. — Я люблю ее, люблю, люблю, люблю больше всех, больше, чем степи».

Тихо качают своими головками степные цветы. Так ровно в ней, этой зеленой степи, так спокойно и беспредельно, — и так тесно и неудобно здесь, в этих каменных стенах.

Ведь Нона ни разу — да, ни разу — еще не была в степях, — отчего же она так их любит, так тоскует по ним, отчего ее так зовут степи, так манят; отчего такой прелестью тайной полны веянья по ней ветра и голоса птиц, ее населяющих, и шумы, и движения трав? Ведь она еще не видала степи: она маленькой была увезена из них и поселена в каменном городе, откуда не выезжала; отчего же она так помнит степи, точно только вчера пришла из них? Отчего очарование простора неведомого, простора

солнечного так сладко и больно сжимает душу? Отчего все это так известно, так знакомо, так ведомо? Неужели оттого, что степь — родная, что много сотен лет жили в ней деды и отцы, и, может быть, души их, степи выдавшие, звучат сейчас в тихо плачущей Амеле? Иначе, отчего бы она, ни разу не выдавшая степи в жизни, полюбила их на всю жизнь? Или это — врожденное? Или это навеяно книгами, рассказами деда, Исяна и Искака?..

— Когда стану большая, — непременно упрошу тетю поехать на лето в степи, — шепчет Нона, прикикая к полотну подушки. Так странно и жутко сплетаются сон и явь. Что сон и что явь? Что есть и чего нет? Или все, что есть и чего нет, в жизни равно существует?

«Куда ушло? Где степи?.. — говорит медный, надтреснутый голос. — Стрела батыра поражала в небе орла, конь джигита обгонял бег лисицы!..» — Суровый батыр Искак сидит перед Амелей на ковре и показывает черным, как гвоздь, пальцем куда-то перед собой. Угрюмо блестит на угасающем солнце его острый, огненный глаз. — «Где орлы, где лисы, дарившие шкуры на зимний бешмет? Почему даже беркуты скрылись в небе, и только филин стонет в вырубленных лесах?..»

Его суровый, требующий, обвиняющий голос разносится громом, а Нона сидит перед ним маленькая, как лисичка, поджав ноги. «Почему батыры опустили руки?» — Черная рука упирается Ноне в грудь и давит ее, пригибая к земле, — и Нона, беспомощно вскрикнув, падает навзничь, — и прямо над нею показывается черное, изрытое оспою, сухое лицо с сверкающим глазом. — Почему жизни нет? Почему вере отцов изменила? В степи ступай!

— Я пойду в степи, я пойду, — смиренно шепчет Нона и снова засыпает.

И как черные тучи, скачут перед нею черные кони, и на них черные всадники, бросающие в черных птиц неба пернатые стрелы.

21

Утром Нона встала похудевшая, с тенями под глазами, словно постаревшая сразу на пять лет. Однако сердце ее уже не трепетало по-вчерашнему: оно перемучилось и замерло. К тому же острота новизны сглаживалась, Нона как будто бы покорялась необходимости, и на лице ее устало выявлялось выражение спокойного и равнодушного

ожидания. Да, конечно, до того светлого будущего должно было пройти настоящее; то, великое, впереди, — и когда-то придет; а сейчас это ровное, как просо, настоящее должно было быть пройдено Ноной; она чувствовала его неизбежность, неотвратность, она должна была ему покориться: ведь было оно «от века установленное», и теперь оставалось только одно: ждать дальнейшего по возможности ровно и спокойно.

Ведь предстоящее было вовсе не ново, а — странно сказать — было почти как прошлое, лишь с небольшими изменениями: вместо профессорского дома — казенный дом, вместо тетки — мамап. Цель же жизни была одна, и это было — степи, и их надо было ждать терпеливо и спокойно: степи придут.

Когда, среди дня, по обещанию явилась Анна Петровна, ее очень удивило словно смирившееся лицо Ноны. Даже как будто обидело ее то, что Нона не плакала по-вчерашнему, не порывалась и не просилась домой. Так иногда, видим мы, дикий волчонок, привезенный из степи, вдруг сразу становится спокойным и словно ручным и равнодушным к своей железной клетке. Смотрела Анна Петровна на свою Нону и не узнавала ее.

— Здорова ли ты, Ноночка? — спрашивала она. — Ты так бледна. Должно быть, плохо спала ночью?

— Ведь надо же когда-нибудь, тетя Анна, учиться, — просто и размеренно ответила Нона на расспросы профессорши. Впервые она назвала ее «тетя Анна» вместо «Аня» и говорила так рассудительно, так спокойно, что Анна Петровна положительно не знала, что ей обо всем этом и думать.

Все дело выяснила начальница института, разрешившая его очень просто.

— Я и не сомневалась, что наше образцовое заведение наставит сразу, — сказала она и одобрительно погладила Нону по голове. — Она — девочка, по-видимому, рассудительная, она сразу поняла все и уразумела, что надо учиться, ибо ученье — свет, а неученье — тьма.

Мамап ушла, по-прежнему великолепная, а профессорша все покачивала головой и пожимала плечами, не сводя глаз с Ноны, и терла свои сморщенные, пятнистые ручки.

— Может быть, ты хочешь, Ноночка, уехать из института? — побледнев, неожиданно спросила она, когда двери за начальницей затворились.

— Как, уехать? — спросила Нона холодно и удивленно.

— Уехать... совсем уехать, — покраснев от смущения, добавила Анна Петровна. — Я говорю: совсем покинуть институт, — пояснила она еще, видя, что Нона все удивляется.

— Нет, тетя Анна, — по-прежнему рассудительно и спокойно ответила Нона, и профессорша смутилась до пятен на щеках. — Нет, зачем уезжать из института, — ведь учиться надо, — зачем уезжать.

Уже совсем сконфуженная, стала прощаться Анна Петровна и вышла, вздыхая и качая головой.

— Кажется, не следовало отдавать ее в институт, совсем не следовало! — ворчала она, уезжая к себе домой, и все бранила пепиньеру.

22

Потянулись дни за днями, похожие день на день, ночь на ночь; дни с маленькими радостями, с маленькими печальями, с малыми страхами, разочарованиями, надеждами; дни очень однообразные, но не очень скучные, ибо все время открывались перед взглядом Ноны какие-то крохотные, почти ничтожные новости, которых она все же ранее не знала. Приходилось много учиться и много узнавать, приходилось спорить и порою ссориться, а подчас хитрить и обманывать учителей, доводилось иногда баловаться и капризничать, но все было какое-то мелкое.

В своем институтском наряде она теперь уж и совсем не походила на башкирку. Это была тоненькая, черноглазая, хорошенькая институтка, с алыми, как вишни, губами, с белыми зубами, ровными, как у мышонка. Она еще лучше говорила по-французски, еще красивее приседала и кланялась, а танцевала с такой дикой красотой, что танцмейстер, седенький француз Бровиль, называл ее не иначе, как «мой милый, любимый ушениц».

Танцам Нона отдалась со всей страстностью своей степной природы. Было в них много движения, а к этому и без того порывалось ее сердце. Забывалось, что находишься в институте, хотелось думать, что носишься по той загадочной и прекрасной, еще неведомой степи, которая все еще оставалась невиданной, но скоро, очень скоро должна предстать перед глазами.

Одно не нравилось в танцах Ноне: что ее обнимал мужчина — юркий учитель-француз, от которого пахло карболкой. Учитель так сильно прижимал Нону к себе, что у нее потом болели спина и плечи; так старался вертеть ее, что ломило ноги; гораздо приятнее было танцевать с какой-нибудь институткой, которая прижималась в танце гораздо нежнее и не вертела так грубо, по-мужски. Оказалось, что после Ноны лучшей танцовщицей была та вихрастая, краснощекая толстушка, Носильчикова, которой киргизка Хуршит дала пощечину в первый день знакомства Ноны с институтом.

Носильчикова была словно еще толще, чем осенью, и было удивительно смотреть, как легко и грациозно она танцевала. Из-за танцев с нею теперь и особенно сдружилась, забыв киргизку, Нона; только Носильчикова любила танцы совсем по другим причинам и часто рассказывала об этом.

— Я так хочу выйти замуж за красивого артиллериста! — говорила она недовольной и сердившейся Ноне. — Военные мужчины любят, чтобы барышни хорошо танцевали, а без танцев ведь нельзя и замуж выйти. Все мои тети выходили замуж на балах.

— Ты думаешь, мне было легко научиться танцам при моей толщине, — приставала она к Ноне и догоняла ее, когда та, рассердившись на «глупые речи», зажимала уши и уходила. — Нет, я долго и старательно училась, и все потому, что хочу как можно скорее выйти замуж.

— А я люблю танцы совсем по-другому, — печально объясняла Нона. — Потому, что танцы напоминают мне степи. То есть, как можно бегать по степям, — смущенно и угрюмо поправлялась она, видя, что Носильчикова смеется. — Степи — без конца, и по ним можно ездить и бегать, пока не zakружится голова.

— Степи! — презрительно повторяла Носильчикова и хохотала. — Какие у тебя, Нона, желанья глупые. Что делать в твоих степях? Грязь, жара, змеи... А ты бывала в них?

— Нет, не бывала, — тихо созналась Нона.

— А вот побываешь — и сразу переменишься! — убежденно уверяла Носильчикова. — Ездила я там. Жарко и душно, и по ночам сырость... — Ее родители жили где-то в Термезе, и она много рассказывала Ноне о непривлекательности местной жизни. — Да ты поговори-ка со своей

приятельницей-киргизкой! — уверенно и насмешливо заканчивала она. — Вот обо всех прелестях и еще услышишь, если не веришь мне.

— Все равно, я люблю степи, — бледнея, повторяла Нона, отходя от Носильчиковой.

23

Действительно, киргизка Шолдиярова не любила степей и рассказывала о них неохотно.

Не хотелось верить ее рассказам, но против воли западали в сердце безжалостно-простые, не пугающие и не резкие, но странно запоминавшиеся слова Хуршит.

— Живем мы бедно, — рассказывала она. — Летом еще ничего, — в кибитках; а зимой — землянки строим. Поэтому холодно. Поэтому грязь.

Опять начинались эти ее неуклюжие, не идущие «поэтому», но какая-то грубая, неприкрашенная правда резала слух и упорно отяжеляла нехитрые объяснения киргизки.

— Раньше богаты были, — да, богаты. Потом прошло. Поэтому стали бедные. Еды мало. Просо, хлеб, кумыс. Мяса мало. Только богатый ест мясо. Бедный ворует. Поэтому — бедные. Украдет кто — бьют. При мне раз двоих убили. Косяк увели конокрады. И больных много, что нет докторов. Поэтому.

И часто хотелось крикнуть Ноне: «Нет, ты лжешь! Степи — прекрасные! Степи — красивы, как небо, и в них жили богатыри! Ты лжешь!..» Но она вглядывалась в узкие, непроницаемые глаза киргизки, в ее спокойное, уверенное лицо и смолкала, опустив голову.

— Но ведь были же богатыри, — были батыры? — робко сказала она как-то вечером Шолдияровой.

Хуршит медленно повернула к ней словно впервые удивленное лицо.

— Какие батыры? Не видала, нет. Может быть, раньше были, а теперь — нет. Мой отец служил богатому хану. Поэтому меня взяли сюда, в институт. А богатырей я не видала.

— Нет, нет, я все посмотрю, я сама все увижу! — шептала себе по ночам Нона и стискивала до боли руки. — Я должна сама все увидеть, я скажу тете, и мы поедем летом туда.

Уныло подмигивает с потолка казенная керосиновая лампа, высовывая Ноне язык, словно ее дразня.

«Где вы, богатыри? Где сильные? Отзовитесь! Откликнитесь!» — Жалобно стонет, тихо шепчет, ворочается в жесткой постели. — «Какие книжки про вас я читала, какие книжки! И как говорил о вас батыр Искак!»

Тогда эти книги давал дед Ахмет. В институте не было таких книг. Были все другие, в которых не говорилось о степях. Говорилось об алгебре, геометрии, о зверях, птицах, и так мало, так обидно мало рассказывалось о восточных народах, словно они даже и не были народами; они были «инородцы», и говорилось о них с ошутимой тенью насмешки, пренебрежения, — в лучшем случае — сожаленья. Ведь все науки были приспособлены к жизни сильных; а жизнь ее родины, уйдя в прошлое, стала жизнью слабых; стала не жизнью, а сказкой.

Жизнь оставляла только сильных, а слабых она уносила на дно, как течение реки — песок; надо было непременно быть сильным, как Искак: пугающими призывами были исполнены его речи; надо было идти за ним, надо было поднять ослабшие, затихшие степи, надо было снова вызвать к жизни умерших батыров.

Однако шли дни, и о богатырях забывалось.

Как серая лента, бежали дни и месяцы, и мерно, словно катушка, вертелась жизнь в институте, наматывая месяц на месяц.

Нона увидит степи, увидит непременно!..

24

Ровно в шесть утра, по звонку глухого буфетчика Трифона, просыпалась Нона от своего недолгого институтского сна. Она так привыкла к моменту вставанья, что зачастую просыпалась в шесть часов уже от того, что не было звонка. Замешкавшийся буфетчик иногда опаздывал со своим сигналом, и все институтки еще мирно покоились под своими одеялами, а Нона уже сидела на постели, приподняв голову, и выглядывала, как мышка из ваты. Равнодушно наблюдала она, как будили сонную киргизку Хуршит, как утаскивали у нее институтки юбки и башмаки и как сидела она на постели, громко рыдая, пока не являлась пепиньера и не производила расследования.

После умывания все сходили вниз на молитву, затем пили чай и расходились по классам, и начиналось то давнее, веками установленное учение, которое казалось таким

скучным и ненужным,— учение с мелкими хитростями, обманами учителей, крошечными огорчениями от выговоров и с такими же маленькими радостями от похвал и хороших баллов.

Так похоже тянулись дни до прихода праздников, но в конце концов и праздничные дни оказывались похожими друг на друга: прошлые — на настоящие и настоящие — на будущие, и все это проходило в голове бесшумно, без задержек, точно ровное просо с широкого старого решета, и в итоге праздничный день лишь отличался тем, какое подавали пирожное за обедом и что приносила тетя Аня Ноне и тетя Таня Соне.

Давняя, испытанная «культура» впитывалась в сердце, все выравнивающая, нивелирующая, стригущая под машинку и приводящая к одному знаменателю для общей суммы всех питомиц заведения — к выходу замуж.

Но не думала о замужестве Нона.

И было это удивительно, что она не думала о замужестве, когда все подрастающие и переходившие последовательно в высшие классы говорили только об этом — явно и тайно — и шептались и шушукались в уголках дортуара, и молчаливо-выжидательно присматривались на балах, кто готовился к уравнению в знаменателе — выходу замуж.

Росла Нона, конечно, так, как росли другие; ей шел уже шестнадцатый год; она сама раз словно удивилась, посмотрев на себя в зеркало в день рождения. Неужели пятнадцать лет? Неужели пошел шестнадцатый? Где же степи? Почему она забыла о них?

— Вот вы теперь уже барышня, вы невеста,— сказала ей, поздравляя, пепиньера. Но как Нона забыла про степи! Как стремительно бежало время! Каждый год она думала о поездке в Башкирию и все же не собралась.

Мысленно прослеживает Нона эти последние годы, считая по месяцам. Учение, гуляние по Большой улице, обеды, ужины, тетя Аня, пепиньера, танцы, спанье в казенной постели — вот все. Почему же она не поехала в степи, не упростила тетку поехать, как было обещано? Неужели забыла? Неужели учение институтское вытравило в сердце стремление в степи? Неужели это — общая участь всех?

Краснея, нерешительно поглядывая на себя в зеркало, думает о своей жизни Нона. С зеркала смотрит на нее матово-бледное лицо с глазами черными, восточными, сказочными, опущенными ночью ресниц. Алый, свежий, нем-

ного капризный рот улыбался, блистая; темные брови срослись над тонким носом, словно выведенным из мрамора резцом. Неужели это она, Козочка, она, внучка дедушки Ахмета, башкирка Амеля? Платье на ней сидит ровно, точно облитое; она не в форменном институтском безобразном платье, — она в белом шелковом «именинном» платье, подаренном ей тетей Аней, этой милой, несравненной тетей Аней, а не Анной, тетей Аней, которая так умеет баловать.

Сейчас праздник. Тетя Аня взяла Нону из института, и она ходит по комнатам изумленного, ею восторгающегося старого дома. Куда ни идет, всюду за нею следят осторожные, влюбленные зеркала.

Смотрите, какая стала Козочка! Какая стала башкирочка! — говорят они комодам и столбам, и старый, пузатенький секретер, который в детстве так обижала башкирочка, забыв об обиде, услужливо показывает ей зеркальце, и снова видит Нона, что она — не Амеля, что она вышла из Амели, как из дикой гусеницы бархатнокрылая бабочка, и порхает теперь по комнатам, наслаждаясь весною, хотя на дворе — январь.

«Где же степи? Куда сгинули?» Не обманули ли Нону эти учебники, институт, эти вот бесценно-красивые старинные вещи, фарфор, серебро, эта следящая за ней благоговейно влюбленными глазами тетя Аня?

— Совсем ты у меня делаешься невестой, Козочка! — сладостно-умиленно шепчет она, вздыхая.

— Ах, тетя Аня! — говорит Нона и, распластав свои тонкие руки, ластится к ней. — Я так счастлива в этот день своего рождения! Отчего это?

И сейчас же в сердце ее падает угрюмый, жесткий, насмешливый взгляд, и повелительный жест бросает черная рука.

«В степи ступай!»

«Но я не хочу сейчас в степи! Я хочу бродить здесь и здесь!» — говорит Нона и хватается за рамы зеркал, за ласковую бронзу секретера, за эти милые, исполненные ажурной красоты, улыбающиеся статуэтки.

«Ушла к богатству!» — говорит тот же голос. — «А почему степи бедны? почему гибнет народ?..» Железная рука словно влечет ее за собою.

«Но я же ничего не могу здесь сделать!» — жалобно оправдывается Нона, останавливаясь и упираясь на месте. — «Я же здесь ничем не виновата!»

«Стрела батыра поражает в небе орла. Стрела батыра поразит и волков!»

«Ах, уйдите же от меня!» — со слезами выкрикивает Нона, вырывается из чьих-то цепких объятий и, вздохнув, просыпается.

Она снова в институте. Это вчера, в день своего рождения, была Нона в доме Анны Петровны; а сейчас уже будни, учебные будни, январь, оледенели окна, горит казенная лампа, сейчас вставать.

«Но где же степи? Где степи! — жалобно шепчет Нона. — Почему так стерлось все в душе? Почему стерлось?»

25

А ведь было раз напоминание, и пришло оно оттуда, откуда не ждалось — из родных степей.

После обеда в праздничный день глухой буфетчик Трифон Ильич, улучив минутку, поманил к себе проходившую по коридору Нону пальцем и шепнул ей, по своему обыкновению во всеуслышание, как он, по глухоте своей, «шептал» всегда:

— Сойдите вниз под лестницу, только потихоньку!

— Зачем под лестницу? — удивленно спросила Нона.

— Говорю: потихоньку! — снова рявкнул басом Трифон Ильич и опасливо огляделся по сторонам. — Узнают, — и мне нагорит, и вам. Матушка-владычица!

Заинтересованная Нона поспешила вниз под лестницу в каморку швейцара.

— Кто меня здесь спрашивал?.. — начала было она и остановилась, затаив дыхание.

Перед ней стоял, ухмыляясь беззубым, увядшим ртом, седенький Исян.

— Исян, ты? Откуда приехал? — испуганно крикнула Нона и вдруг побледнела от того, что не умела сказать свой вопрос по-башкирски. Сейчас же она оправилась и припомнила фразу и проговорила ее на родном языке, но слова прозвучали в ее собственном слухе так неверно и отдаленно, что она содрогнулась.

Благодушный Исян, однако, ничего не заметил. Не только он не упрекнул Нону, но и сам, должно быть из почтения к барышне, заговорил с нею по-русски.

— Ай, хороша! ай хороша! — сказал он и дотронулся, как бы для того, чтобы лучше убедиться, до ее рукава

испачканным в чем-то жирном пальцем, и пощелкал языком.

— Хороший стал баришня! Ай-хай-хай! Дедушка Ахмет увидал бы! Невеста какой!

Он покачивал головою и от восхищения притопывал ногой и все держал в руке грязный узелок и повторял:

— Навестить моя пришла! Баришням на-вестить, павидать. Ай-хай-хай: — И снова щелкал языком.

Наконец Нона пришла в себя от изумления и бросилась на шею Исяну. Она хотела его поцеловать, но сейчас же радостная улыбка сбежала с лица старика.

— Не можно моя трогать. Грязный моя: угля продавал. Такой баришня,— и грязный угля!

— Да нет же, нет! — смущенно и немного обиженно говорила Нона.— Дедушка Исян! Как ты нашел меня, дедушка Исян?

— Приехал на базар — и нашел! — объяснил старик уже по-башкирски и повел длинную речь о том, как он давно хотел ее повидать, но был болен и только теперь собрался. Вслушивалась Амеля в родные звуки речи, ставшие теперь чужими и далекими, напрягала память,— и все же, как ни старалась, слова проходили неизвестными, неразгаданными. К тому же, старик от радости сильно торопился.

— Подожди, подожди, Исян,— остановила его Нона.— Я не все поняла. Ты был болен? Сильно?

— Чуть-чуть моя не кончал, чуть не умирал! — с удовольствием объяснил старик и засмеялся, а лицо Ноны переречкнуло ужасом.

— Брюшной тифа была! Самый брюшной тифа!

— А доктор... что же... — еле раздвигая губы, прошептала Нона.

— Какой доктор! — засмеялся башкир.— За восемьдесят версты доктор! Не поехал доктор. Сам здоровил.

Он смеялся, поматывая головой, а глаза Ноны сделались острыми, пронизывающими: ей вспомнились зловещие слова киргизки Хуршит. «И он еще смеется!» — неприязненно подумала она, и здесь впервые отметилось взглядом, какой рваный и грязный бешмет был на старом башкире. «Умирал без доктора и смеется!» — вспыхнуло снова в уме и опять стало видно, что бешмет затертый, что все лицо башкира в трещинах от засохшей в морщинах грязи, что пахнет от него водкой и еще каким-то противным запахом кожи и сала.

— О! О! — прижав пальцы к вискам, жалобно сказала Нона, и в сердце мелькнуло: «Вы, степи!..» — мелькнуло — и погасло где-то на дне обманувшейся души. «Вы, вы, милые степи!» — еще раз повторила она себе, но слова прозвучали бледно и неуверенно и острым клином прошло через сердце: «Хуршит права!»

Она присела на табурет в углу, под лестницей, и смотрела на башкира недоумевающе-жалобно, подперев подбородок похолодевшими руками. Самое страшное во всем этом было то, что Исян ничего не понимал и улыбался немного пьяной, веселенькой усмешкой.

— А я тебе, баришня, гостинцам ташил! — говорил он над ее ухом и дышал, обдавая волосы Ноны противным запахом спирта. Сморщенными, заскоружлыми от грязи и стужи руками он разворачивал платок и доставал оттуда неровные, серые куски курта, бутылочку с кумысом и в черепке — коровье масло, прикрытое тряпкой.

— Все тебе, баришня! От сердца ашай! — радостно бормотал он, выкладывая дары на стол.

А Нона с печальным вниманием рассматривала привезенные подарки, от которых пахло так неприятно и остро, и покачивала головой.

— Спасибо тебе, Исян, ты мне напомнил про степи... — негромко проговорила она и улыгнулась и, повторив слово «степи», сказала еще тихонько, как раненый заяц или птица:

— Пи!.. — и потом повторила еще жалобнее: — и... и... — И залилась слезами, упав на подоконник головой.

26

Растерянный стоял подле нее Исян и покачивал головой и не знал, что делать с заплакавшей барышней. Потом бросился он к швейцару, но швейцара не было, а подошел лишь глухой буфетчик Трифон Ильич и, постояв, заметил про себя рокочущим басом:

— Ничего, пусть поплачет... Так бывает всегда... когда, то есть, с родины.

— Я ничего, дедушка! — повторила Нона извиняющимся голосом и сконфуженно огляделась. — Я ничего...

— Родина — она мать! — наставительно сказал еще бу-

фетчик и удалился. Оставшись один, Исян немного осмелел и дотронулся до плеча Ноны рукой:

— Не надо плакать. Совсем не хороша!

— Я ничего, я ничего,— обидчиво проговорила Нона.— Спасибо тебе за подарки... Я рада! — С чувством сдержанной брезгливости она покосилась на черепок с коровьим маслом, но пересилила себя, приоткрыла его и, достав кошелек, вынула золотой.

— А это тебе от меня на память, дедушка Исян!

И мгновенно доброе лицо башкира потемнело от жадности, испуга и удивления. Он охнул, крикнул, весь перегнулся, двинулся и таким быстрым движением выхватил у Ноны из рук монету, что ногтем ссадил ей кожу на ладони.

— Ай, хороша! Совсем хороша! — с жадным, искаженным лицом бормотал он, а Нона тихонько смотрела на него растерянным взглядом и тихонечко-неприметно терла оцарапанное грубым ногтем место, откуда сочилась тонкими капельками кровь.

— Спасибо тебе, баришня, все бери! — суетливо бормотал Исян и увязывал в красном, невыносимо грязном платке полученную монету, а Нона все смотрела, как цепко двигались, завязывая узел, пальцы руки и для чего-то считала: «Два, четыре, шесть, девять пальцев... а где же десятый?»

— Где же палец? — хотела было спросить она, и в это время ее взгляд поймал на себе Исян и снова, совсем по-звериному, засмеялся.

— Обрубил пальса, болел пальса! — весело сказал он.— Сильно болел, дрова колот,— прищемил.

— Доктор отрезал, что ли? — спросила Нона чуть слышно.

— Зачем доктор: мулла рубил, ученый мулла, знахарь; топор рубил,— молитва читал. Девять пальса. Ха-ха!

— Я устала, Исян,— медленно сказала Нона, вставая. Она проходила мимо и видела, как кланялся старик, потом, вспомнив, обернулась.

— А что же Искак? Почему не приехал?

— Искак глупый стал! Больно глупый! — снова засмеявшись, ответил Исян. В своем наивном степном простодушии он объяснил и причины. — Не захотел баришня видеть. Не наша баришня,— сказал:— вера менял,— не нашим стал Амеля.

— Да,— вот что,— устало-равнодушно проговорила Нона и холодно прошла мимо.
«Вы, степи!..»

27

«Да, вот, было и напоминание,— думает Нона угрюмо.— «Напоминание острое, и оно стерлось».

Тогда оно оставило осадок гнева и горечи. Тогда, помнится, сердце охватило раздражение на Искака. Какое ему дело, переменяла Амеля веру или нет? Разве уж это так важно — веру изменить? Неужели верный бог тогда только, когда на голове чалма?

Вообще о вере Нона думала мало,— может быть, не думала совсем. Не от того ли, что в ней сразу смешали две веры, не получилось в ней целой ни одной? Да и вообще, что такое вера? — Нона учила молитвы, учила катехизис, но все это делала она «для преподавателя», чтоб кончить институт. Вообще же в смысле веры в сердце ее стояла пустота, невесомый воздух,— с ним она и жила.

Но вот сейчас, с напоминанием об измене вере, на сердце стало тревожно.

Не потому ли забыла она степи, что забыта вера степная?

Думает Нона и думает, и ходит по коридору одна, и, бродя из стороны в сторону, натывается всюду на стены. Везде стены, везде камень, всюду — молчание,— никто не объяснит.

Как тесно и жутко в институтском коридоре! Зачем заперли ее здесь, когда родилась она в степях? Теперь она и встречу свою с Исяном в институте неожиданно видит совсем в ином свете. Тогда Исян показался Ноне неприятным. Он был оборван и грязен, жаден и темен. Так тяжело было приметить тогда, с какой зверской жадностью Исян схватил золотой в свои руки. Но сейчас, передумывая заново, Нона видит, что она подумала об Исяне неверно, что золотой для Исяна—невиданное богатство; что за эти пять рублей, которым Нона не придает значения, старик должен целый месяц дрожать от стужи при перевозке своих углей из села в город... — «Искак был прав,— сурово говорит себе Нона и останавливается.— Он суровый, он грозный, но он прав; я изменила степи,— и вот степи отказались от меня».

— Послушайте,— говорит она кому-то растерянно и хмурится и поднимает голову. Она снова на своей институтской постели, и снова мигает желтым языком казенная лампа, и снова все спят.— У Исына отрубил знахарь палец ударом топора; все лицо Исаака изрыто оспою. Кто так велел? Кто виноват? Вот у Носильчиковой была оспа, и у Вахтер, и у Смирновой,— и всех их вылечили так, что болезнь прошла бесследно. Почему же никто не лечил Исаака-батыра? Почему подле него не было доктора, когда он так опасно заболел? Но, может быть, у него тогда не было не только доктора, но и корки хлеба? И он лежал в землянке вместе с овцами на куче навоза? Ведь так жил в своей юности дед Ахмет; так, по словам его, жили многие башкиры. Отчего же это так бывает? — уж громко, точно требуя у кого-то ответа, спрашивает Нона, поводя вокруг глазами.— Стало быть, в жизни так бывает, что одни, как профессорша и Нона, спят дома в кружевных постелях, а другим постели заменяет навоз. Кто велел? Почему? — В бессилии решить, Нона начинает плакать. Она плачет долго и безутешно, прислонясь к спинке кровати, ее плечи вздрагивают; она смотрит — перед нею испуганные лица институток, и встревоженно-озабоченная пепиньера садится рядом с ней.— «Отчего же они не спят? Ведь они, кажется, об этом не думают,— почему же не спят?..»

— Вы спите, Ночка,— ласково, непривычно-ласково говорит пепиньера и гладит ее по голове.— Не надо говорить по ночам. Это с вами от переутомления; завтра же мы покажем вас доктору. Скоро весна, и вы отдохнете.

— Да нет, я вовсе не устала, это я так...— жалобно говорит кому-то Нона.

— «Как жили, и как ты живешь? — глухо говорит каменный голос.— Богатство было — и все прошло! Пятьсот рублей калябаш! Одни ичиги стоят — сколько вся изба! Какие стада водили,— а ты спишь!»

Громадный черный палец указывает туда, где колышались задумчивые и звонкие ковыли.

— Туда,— в степи!

— Да, я поеду, я непременно поеду! — всхлипывая, твердит Нона во сне.

Наступил апрель, на тополях набухли почки, прилетели грачи и стали возиться в институтском саду, потеплело

солнце, начали таять у водосточных труб сосульки и как-то сами собою порозовели институтские лица. Только Нона была бледна.

В одно из воскресений к ней явилась Анна Петровна с неожиданным известием.

— Эту весну и лето надумала провести в деревне, Козочка! — сказала она. — Я написала уже псаломщику, чтобы он снял для меня дом в нашем бывшем имении, и мы с тобой поедем туда проветриться, — очень весело закончила профессорша и заморгала глазами.

В это время Нона увидела, что около нее стоит сама начальница института.

— Да, вам необходимо проветриться. Пусть Нона отдохнет, пусть, — говорила она и необычайно ласково гладила питомицу по плечу. — Это очень хорошо, дитя мое, быть усердной ученицей, но чрезмерные занятия могут влиять на здоровье, а здоровье есть такое же благо, как учение — свет, а неученье — тьма.

— Вы очень любезны, тамап, — попыталась ответить Нона, но неожиданно закашлялась, и у профессорши сделались испуганные глаза.

— Поезжайте в деревню, попейте кумысу — вашего башкирского шампанского, — все в необычно шутовском тоне говорила начальница, — и вы, Ноночка, себя не узнаете: каким вы станете молодцом!

— Да я сейчас здорова! — удивленно проговорила Нона. — Я уже совсем здорова.

— А будете еще здоровее, — ответила тамап и вышла. Очень строго чернели усики на ее губе.

— Разве тебе не хочется проехаться в деревню, Козочка? — спросила Анна Петровна, когда начальница скрылась.

— Нет, я хочу, — ответила Нона и снова закашлялась. — Странно, с чего я кашляю. Этого не было.

При последних словах лицо профессорши побурело, и словно сделалось виноватым. С удивлением взглянула на нее Нона, и тетя Аня отвернулась.

— Ведь мы поедем с тобою в наше старое имение, — стала объяснять она. — Имение это было родовое, мужнино, я же его после смерти мужа и продала... А дом там стоит наш же, старый... точно живой.

— А далеко ли это имение, тетя Аня?

— Сто двадцать верст... и придется ехать на лошадях.

— Вот это хорошо! — радостно сказала Нона и, порозовев, хрупко улыбнулась. — Все сто двадцать верст на лошадях?

— Все сто двадцать. Там Башкирия, и ты там поправишься.

И вот глаза Ноны сделались печальными.

— Я не понимаю одного, тетя Аня: отчего это все советуют мне поправиться, говорят о лечении. Разве я так сильно больна?

— Нет, ты просто переутомилась от занятий, — объяснила профессорша. — Не надо было, Козочка, так усердно заниматься.

— Нет, не от этого! — вдруг неожиданно громко крикнула Нона и покраснела от страха, что чуть было не выдала тайной мысли. — Нет, это я так, тетя Аничка, просто так.

29

И вот Нона перебралась из казенного заведения в дом тетки Анны; сияющая профессорша не знает от радости, где ее усадить и чем накормить, а питомица сидит бледненькая, с кругами под глазами, и обтянула смуглая кожа скулы, придавая Ноне более взрослый, совсем девический вид.

— Не хочешь ли, Ноночка, пирожков на яблочках? — заботливо спрашивает Анна Петровна и подает тарелку с такими румяными пирожками, что не засмеялся бы разве слепой.

— Нет, тетя Аня, что-то не хочется есть, — без улыбки отвечает Нона.

Все стоит и стоит в сердце воспоминание о встрече с Исяном; суровые слова Искака об измене степям — как тлеющие угольки.

— Яблочки, нашенские, из нашего сада, апорт! — продолжает, вздыхая, профессорша.

— Нет, спасибо, тетя, я не хочу.

— Тогда, может быть, пройдешься по нашему саду! — просящим голосом предлагает Анна Петровна. — Весна, Нона, дружная, на яблоньках, на вишеннике почки — что духи; дорожки все Перепетуя вымела, песок — что золото!

И уже снова хочет качнуть головою Нона, но вглядывается в выцветшие, молящие глаза профессорши и поднимается.

— Хорошо, тетя Аничка, я погуляю в саду.

Идет за нею на цыпочках профессорша, посылая вдогонку заболевшей питомице в спину мелкие кресты, и оборачивается с размягченным сердцем Нона, но тут же прирмечает благословения, и вновь суровость обвеивает смуглую кожу лица, а глаза жестко щурятся.

— Я одна пойду, тетя, погуляю одна... я скоро приду.

Остается с неоконченным крестом в дверях профессорша и вздыхает смиренно, направляясь к Перепетуге на совет, а Нона выходит во двор, сразу из дому попадая в сияющий юною зеленью сад.

Конец апреля, а сад — ярко весенний; как умытые, благоухают клейкой листвою вишни, смеясь и ликуя, вздымают кудрявые многоперстные руки яблоневые деревца. Как сливается с голубизной неба темная зелень узорных листов, как трепетно вздыхают тонкие ветки под проносщимся с музыкой апрельским ветром! А музыку эту ведут бесчисленные шмели и пчелы, и сапфировые шпанские мушки, опьяненные душистыми соками, возятся в зелени; а вот с строгим, наводящим порядок гудением проносится над весенними пьяными шумами пузатый майский жук,— среди пчел — паровоз,— и вдруг гулко плюхается о землю и, опрокинувшись на спину, беспомощно шевелит ногами.

Наклоняется над упавшим Нона, а в золотом искрометном песке пробегают и шаркают какие-то странные, всецветные козявицы и козявки; пестренькие, усатые, круглые, как бусинки, и длинные, как семя подсолнуха, они спешат туда и сюда с таинственно-озабоченным видом: у всех есть дело, у всех есть спешка, у всех есть жизнь.

Как часто, бывало, Нона забиралась, еще подростком, в этот яблоневый плен; но тогда ее вожеления были просты и ясны: они ограничивались вкусными яблоками и душистыми вишнями, забивавшими рот доотказу... Правда, ни яблoк, ни вишен еще нет на ветвях; зато они в изобилии сложены в банки по бесчисленным кладовкам тетки; но не тянут, не зовут к себе эти варенья и соленья: горький вкус, стоящий на душе, переходит и на язык, и во рту так горько,— печально и горько,— что не смотрится ни на что.

«Может быть, я и в самом деле больна?» — равнодушно спрашивает себя Нона.

Она видит, как с крылечка наблюдает за ней сторожким взглядом профессорша, видит за ней сгорбленную Перепетую, стоящую с чашкой и угольком — лекарствами от не-

дуга,— и, резко двинувшись, входит в яблоневую чашу и скрывается от взглядов опекунш.

Сидит, притаившись, не подавая признаков жизни, как горный лисенок. Голоса стихают, хлопнула дверь, обе печальницы ушли восвояси, а кругом так бескраен вишнево-яблоневый сон, что невольно, совсем невольно утихомиривается настороженное сердце.

Склоняется к золотому песку дорожки Нона. Она забирает его в ладони, она поднимает вверх руки еще детским движением; совсем ребячески она разбрасывает вокруг себя песчаное золото во все стороны и шепчет, улыбаясь:

«Будь везде на земле мир! Будь везде на земле благоволение!»

И внезапно морщинка удивления появляется над бровями, на порозовевшем от радостных мыслей лице.

Она видит на земле дождевого червя, выбравшегося на солнце из своей мрачной дыры. Он ползет, неуклюжий, уверенный, некрасивый и спокойный, передвигая свое грузное и нелепое тело... Конечно, он портит общий вид безмятежности, мира и красоты; но это еще не все: Нона видит, как около него на песке появляются крупные и воинственные муравьи. Словно ошестиненные воины, они набрасываются на ползущего червя с разных сторон,— и, видит Нона, как, подбежав, они сейчас же отскакивают и затем снова набегают.

Сначала Ноне кажется, что маленькие муравьи боятся червя: такой он большой и массивный перед ними; но скоро она начинает понимать, что дело совсем не так просто: мягкое тело червя вдруг начинает пухнуть в разных местах шишками и волдырями: муравьи кусают червя, они пускают в него свою отраву, чтобы его убить... Притаившаяся в ужасе, видела неподвижная Нона, как замедлялось движение червя, как все чаще и чаще он останавливался, отравляемый ядом укусов; вот он остановился совсем, опрокинулся и, растянувшись во всю длину, безобразно распухший, лежит неподвижно, а муравьи все продолжают его жалить, набегаая кучами и отскакивая назад.

— Остановитесь! Остановитесь! — не помня себя, закричала Нона и, поднявшись, закрыв руками глаза, побежала из сада.

Вот он, «мир на земле», вот оно евангельское «благоволение»! Прочь эти сказки, прочь обманывающий вишневый сад!.. Рыдания поводят плечи Ноны, она вбегает в комнаты

и бросается на грудь ошарашенной Анны Петровны.

— Завтра же!.. Завтра же поедем из города в степи, тетечка! — захлебываясь слезами, твердит она.

— Ну, конечно, едем, — кто спорит? — говорит, шамкая от испуга, профессорша.

Вот тебе и вишневый сад!

30

Стародавний, возивший еще самого профессора Захарова, ямщик Антимон подал к крыльцу Анны Петровны плетеный тарантас, запряженный тройкою вислоухих каравых.

Между Оренбургом и селом, при котором лежало ныне проданное имение профессорши, с давних пор установилась правильная ямщицкая езда, так как сельчане постоянно ездили в город за покупками, а оренбуржцы по летам направлялись в горную Башкирию на дачи.

И теперь Антимон только что привез из села двух трактирщиков, как получил предложение свезти в деревню «профессоршу Захариху с дочкой». Ямщику было это кстати и не безвыгодно, — приходилось иначе отправляться по-рожным, — и для парада он так смазал дегтем кожаный верх экипажа, что тот весь лоснился и от стекавших по нему жирных капель было небезопасно сидеть.

Еще спозаранку заполнила Перепетуя весь тарантас подушками, подушищами и подушечками для удобства господ; кухарка напекла два короба румяных пирожков, и любопытные соседи толпились на крыльце, ожидая выхода профессорши с барышней.

А в доме между тем происходило прощание с комнатами, тягостное для профессорши. Она впервые после десятков лет покидала дом, в котором так обжилась, к которому так привыкла. Волновалась Анна Петровна: ей казалось, почему-то, что она больше уже в свой дом не вернется, и слезы висли на ее жидких, точно выгоревших ресницах, и дрожали руки, и даже озноб чувствовался по телу. Растерянно прижимала она к себе Нону и шептала что-то совсем неслышное узкими, как тесемочки, губами, мысленно клянясь себе, что все это только «для дочки» и что больше ни для кого она не принесла бы такой тяжелой жертвы.

В былое время профессорша, конечно, много ездила, и не только по степям в тарантасах и бричках, но и верхом. Теперь же, после долгих лет неподвижного сидения в городе, представлялась невыносимую дорожная тряска в экипаже и казалась убийственной степная горячая пыль. Однако старалась она всемерно прятать свое волнение.

— Я думаю, ты очень рада, Ноночка? — спрашивала она то и дело, возясь с бесчисленными коробочками и пузырьками.

— Да, я рада, я очень рада, тетя Аничка. А ты?

— О, я тоже рада, — об этом не может быть и речи, — отвечала профессорша старчески-трепетным голосом. — Я очень соскучилась по имению. Все это, Козочка, совершенно так.

Все узелки и котомочки были наконец собраны, следовало выходить.

— Присядем, Ноночка, — предложила профессорша и слезливо, тоже по давнему заведению, заморгала глазами. — По русскому обычаю, перед дальней дорогой очень необходимо присесть.

Не понимавшая «русского обычая», Нона все же присела. Анна Петровна посидела с минутку с возведенными вверх глазами, затем опустила на колени и начала креститься мелкими и частыми крестиками.

— Ну, теперь едем, Козочка, делать нечего, — сказала она со вздохом и, снова пошептавшись перед иконами, громадными, почти трагическими шагами вышла на крыльцо.

Начали целоваться со всеми соседками, с прибывшей на проводы пепиньерой: поцеловала Нона даже двух только что родившихся в день их отъезда черно-пегих щенков.

Ямщик Антимон, «для разлуки и блезиру» хвативший стаканчик, сидел на козлах с видом египетского жреца и сурово глядел на лошадей своим единственным, всегда слезившимся глазом.

— Но-о, бральянтовые! — гаркнул он, когда профессорша с дочкой уселись в тарантас. «Бральянтовые» дернули так, что Анна Петровна стукнулась затылком о кузов экипажа, и ее рыжий горноста́й яростно затрясся на шляпке. Тарантас начал прыгать по неровным булыжникам мостовой.

— Перекрести лоб, Ноночка! Непременно перекрести лоб, по обычаю! — дрожащим и тоже подпрыгивающим голосом кричала профессорша, и сама крестилась перепачкан-

ными в антимоновском дегте руками. От ее усердия на лбу ложились словно чернильные кляксы, и Нона долго смотрела на них, недоумевая, потом со смехом бросилась отирать лоб тети Ани, и обе развеселились, хотя профессорша и ворчала на ямщика.

— Эк тебя расстарало-то! — сказала она в заключение и, тут же, вспомнив нечто, в юности изученное, добавила:— Услужливый медведь опаснее пустытника!

31

По мере того как экипаж приближался к центрам городского благоустройства, толчки становились все нестерпимее, и профессорша, наконец, стала говорить о своих почках. Следовало, однако, смириться: надо было сделать в магазинах кое-какие закупки; но стали отдаляться от центра, и встряхивания экипажа начали уменьшаться, а в пределах предместья — в так называемом форштадте — колеса соскользнули, наконец, в мягкую, благодетельную пыль. И лошади охотнее побежали по незамощенной дороге, и профессорша вздохнула, а Антимон с радостным сердцем развязал колокольчик (по городу с колокольцами дозволялось ездить лишь особам высокопривилегированным да пожарным). Зазвенела медь, лошади оживились, стали встряхивать ушами; особенно настораживал уши на звон колокольчика коренник; вывертывал он их чуть ли не на изнанку, да так забавно, что Нона вскрикивала и громко смеялась. Но она вскоре смолкла и стихла: за городом открылось впервые ею увиденное поле.

Во все стороны расстилалась равнина, покрытая молодой вешней травой, ровная, ясная, точно стриженная под гребенку, с малым лишь холмиком налево, на котором так радостно махала руками глупая и неуклюжая ветряная мельница.

Стало походить будто на степи, те, вольные, которые виделись во сне; веял ветер, юный, весенний; ласково целовал он лицо и потом уносился и где-то бегал бездумно, — уносился к родным полям и к мелким болотцам, к свистящим на них куличкам — и все наполнял своей безудержной молодой радостью.

— Ах, тетечка, — сказала Нона растроганно, — как здесь привольно, и ясно, и чисто и как, тетя Аничка, хорошо жить!

Румянец всплыл на ее бледные щеки; глаза зажглись огнем,— прежним, задорным, доинститутским, и лицо сразу так похорошело, что профессорша почувствовала сладкое желание заплакать.

— То ли это: еще лучше будет! — проговорила она в ответ на радостные поцелуи Нюночки, и та, как бы в предчувствии еще большего счастья, бросилась к ней на шею и стала целовать ее в подбородок и в волосы, ласкаясь с присущей ей дикой степной грацией, к которой примешивалось ощущение силы.

Потянулись воза, запряженные волами и чахлыми лошаденками; скрипящие телеги, грубо сколоченные дровни и плетушки грузно проплыли мимо них, наполненные углем, дровами, тонким строевым лесом-съемником, глиняной посудой и мешками с мукой.

Все это такое обыкновенное, заурядное было для Нюны невиданным и новым.

— Куда они едут? Какой «съемник?» Что за посуда? — то и дело задавала она вопросы профессорше и высовывалась из экипажа и смотрела вслед уезжавшим возам из стороны в сторону до боли в шее, до рези в глазах.

И пугало ее почему-то, и привлекало, и радовало такое обилие возов, лошадей, предметов, людей, угрюмо и сонно шествовавших за возами, и она вслушивалась с бьющимся сердцем в пестрые крики погонщиков, смутные разговоры, непонятную брань ломовых,— и все это пестро и беспорядочно, но звучно укладывалось в памяти, захваченной новизною открывшейся картины.

Но вот в стороне показалось озеро, внезапно сверкнувшее серебром своего лица, и Нюна радостно захлопала в ладоши. Лежало оно в котловине степи, как громадное дорожное зеркало в раме старой, озеленелой бронзы, и так спокойно и мерно дышало, вглядываясь в небо и складывая в себе перисто-белые пугливые облачка. Какой мощной, изумительной силой веяло от него, силой несменяемой, почти бесконечной в сравнении с слабой, словно детской силой крохотных человечков, качавшихся в уголке его в черном суденышке с какими-то веревками и сетями!

«Как красиво, как хорошо жить!» — говорили счастливые затуманенные глаза Нюны.

— Смотри, соколик, не вывали! — испуганно обратилась к Антимуону Анна Петровна, внезапно почувствовав-

шая перед громадным озером себя во власти одноглазого ямщика.

— Зачем вываливать: мы — крещеные, — молодежато ответил Антимон и тут же круто повернул на косогор. Экипаж накренился, и седоки в самом деле чуть не вывалились в озеро.

Профессорша охала, а Нона смеялась и все рассматривала словно отполированную ширь степного озера. С краев проросло оно какой-то смешной узорчатой зеленью, и положий скат был весь усеян вдавленными следами ног коров и лошадей.

— Ведь тут, наверное, много рыбы, тетечка? — спросила Нона и, сама не зная чему, безудержно рассмеялась.

Анна Петровна ворчала: «Какая тут рыба!», и все терла себе ушибленный локоть.

— Нет, ты совсем не тот, Антимон, каким бывал раньше, когда барина важивал: испортился ты, совсем испортился, — ворчливо бормотала она.

Отъехав от озера, ямщик остановил лошадей и стал, что-то напевая, подвязывать ослабшие веревки на задке экипажа, где стояли чемоданы профессорши. Может быть, пением своим он желал замаскировать кое-какую беду; может быть, что-либо в тарантасе треснуло, когда экипаж накренился на косогоре; догадывалась Нона, что не все было так благополучно, но не хотела тетку тревожить.

Долго подвязывал Антимон и то вздыхал, то напевал, а вот и в самом деле с дороги послышалось пение — заунывное, протяжное, и кучка слепых, ведомых двумя мальчиками-поводырями, показалась из-за овражка. Пение росло и ширилось и, неслыханное, тяжело ложилось на сердце Ноны.

— Что это они поют, тетя Аня, что поют? — твердила она бледнея. — Слов не разобрать, но как жутко их слушать!

Приближались калики-перехожие, четко на зеленом фоне равнины вырисовывались их темные, точно чугунные фигуры с безжизненно окаменевшими, словно заржавевшими лицами.

И смотрела Нона на спущенные головы слепцов, на дерзкие лица мальчишек-водильщиков, и было на душе не то страшно, не то виновато, — да, да, виновато, — словно именно она, Нона, ослепила их.

— Дай им денег, тетечка! — негромко шепнула она Анне Петровне. Профессорша поморщилась: она была скуповата, и именно, как это часто бывает, в мелочах. Однако вынула кошелек и подала мальчишкам серебро.

— Смотрите, не украдите, разделите поровну! И в заповедях написано: «Не укради!»

— А ты запоминай все это, Ноночка! — наставительно добавила профессорша. — Ведь скоро ничего подобного не останется: начали бегать машины везде.

32

Поехали дальше. Стали нагонять какой-то обоз, и Антимон сначала кричал, чтобы свернули, потом начал браниться, захлестал кнутом лошадей и с ругательствами помчался по краю дороги, по вспаханному полю. Началась такая адская тряска, что у профессорши зазвенели и запрыгали все ее узелки, жестяночки, скляночки и коробки.

— Что такое? Что такое?! — задремавшая было под солнцем, закричала она. — Зачем едешь по кочкам? Ой, почки! Зачем едешь?

Но ничего нельзя было разобрать среди звона жестяных коробков. Антимон только махнул на профессоршу рукой и стал еще пуще нахлестывать караковых. И только когда опередили обоз и стали на торной дороге, он объяснил профессорше:

— Нешто можно было шагом ехать? А не обогнать идолов, — так бы семь ден и плелись. Ишь, нехристи!

Только теперь, при упоминании об «идолах», в уме Ноны встала картина, мимо которой они промчались в беспорядочной спешке. Нона видела: плелись скрипучие арбы и дровни, и на грудах кирпичей, на рваных рогожах, а то и без подстилок, лежали сонные, чумазые, испытые фигуры в зеленых рубахах, в красных штанах, с меховыми малахаями на бритых головах, с редкими жестко-черными волосами на втянутых щеках.

«Ведь это были они!» — с ужасом шептала себе Но-на. — «Они — те, родные, они, башкиры, голодные, обнищальные земляки, когда-то богатые кочевники». И она проехала мимо них, проехала спешно, под шум и крики, точно пробежала, точно ускользнула от них, от их ужасной повседневной жизни, от их вопиющей нищеты.

«Да, вот сидит она в удобном, покойном тарантасе, на несчетных подушках, окруженная заботой и холей, а они

там едут по дороге, и бритые головы их бьются о кирпичи. И спят, спят, — как могут они спать? О, народ заснувший, народ обиженный, спящий непробудным сном!»

«И это братья, мои братья!»

«Но, может быть, это везде?» — сейчас же закрадывается в голову. — «Может быть, это существует во всех землях, во всяких странах, у всех народов? Везде богатые и бедные; везде неравенство, — с одной стороны ошеломляющая роскошь, с другой — нищета, едва прикрытая, лишенная языка, едва, казалось бы, выносимая, но сносимая безропотно, бессловесно.»

«А может быть, и среди них — этих башкир, что проехали мимо, — то же грубое неравенство, та же старая и жестокая сказка о богатых и бедных, о нищих и принцах? Да, — разве среди них, самих башкир, нет владеющих богатствами и умирающих от голода?» «Как жили! — вспоминает Нона сказы деда Ахмета. — У дочери муллы в пятьсот рублей «калябаш»; на писаре — суконный чекмень, шитый серебром. — Даже у простых башкир — и то сарыжки надеты, — добавлял в своем простодушии Ахмет Бакирыч. — Нона думает сейчас: у простых? Значит, есть еще не простые? У одних шитые серебром чекмени и в пятьсот рублей калябаш, а у других только чулки, а может быть, нет и чулок? Значит, и здесь та же старая сказка, та же вековая несообразность? Тогда из-за чего хлопотать, о чем мучиться, если все это неизменяемо, если жизнь, эта железная кузница, кует неизменяемые, лишь ржавеющие от времени образцы?... И так — во всем мире, по всей земле». — «Все люди неверно живут», — сурово шепчет Нона, и вдруг в ее памяти поднимается суровый Искак, и за ним скачут на конях батыры, бросающие в черное небо перистые стрелы...

Куда скачут эти батыры? Почему их стрелы так жутко свистят?

— Ты задремала, Ноночка? Не хочешь ли пирожка на вольном воздухе?

— Ах, нет же, не хочу, тетя Анна, — обиженно отвечает Нона.

Забелели издали стены сельской церкви. Так неслышно и робко и беспомощно припадают к земле вокруг нее

кривые одноглазые избы, точно кланяются ей и просят защиты от горя... Но равнодушен и высок золотой крест над нищими, голодными избами.

И опять горькая складка ложится меж бровями; но так радостно веют над рекою эти раскидистые ветлы, так мягко и мило проплывают над домами светлые, точно серебряные, сахарные облака, что затихает тревога на сердце; тени успокоения, тени усталости и тишины нисходят на него.

Становится легче дышать; вокруг так легко, и зелено, и просторно; так упоенно чирикают птицы и покачиваются на ветвях; а вот какой-то пегий зверек присел на задние лапки у норки и смеется Ноне. Смеется и она, подталкивая локтем тетку; ведь Ноне всего еще шестнадцать лет; она все еще не жила, она только училась, — лишь готовила уроки и повиновалась классным дамам. Она хочет дышать, эта девочка бледнощекая; дышать, как только что распустившийся на солнце цветок. Разве видит она, разве может видеть, что где-то за оврагом вянут цветы, обожженные сухой пылью дороги, растоптанные копытом скота? Уже в том, что зацвел этот цветок, есть и цель, и красота, и радость; уже в том одном, что он так нежен, — его смысл и очарование. Неужели же не цвести Ноне потому, что трава при дороге растоптана?

Думает, думает Нона и бледнеет, и не знает, где правда, и говорит ли ей правду ее инстинкт бытия? Может быть, это все весна ей шепчет?.. А вот в той черной яме, где земля потрескалась, — не притаилась ли злая старуха из давней сказки с железною клюкою и не она ли это шамкает ртом беззубым:

— «Живи для себя: только раз живешь ты, только раз ты цветешь, а кончится цвет, — и никто о тебе не вспомнит. Хорошо рассуждать о подвигах тем, которые все уже видели, всего испытали. А ты, смуглая Ноночка?.. Что видала ты в жизни? Что?»

— Что же делать, что делать? — сдавливая себе руки виски, шепчет Нона растерянно.

А гарантас все едет, все едет; вот подъехали к громадному кривому оврагу, и профессорша лугается: такой он крутой, и словно нарочно, чернеют на дне его рывины.

— Нет, уж я теперь вылезу, — говорит профессорша Антимону. — Мы обе вылезем: на тебя плохая надежда!

— Да помилуйте, я духом единым! — обиженно возражает ямщик, но Анна Петровна строго приказывает остановиться и вылезает вместе с Ноной из тарантаса.

— Вон и знаки тоже хорошие! — заключает она, указывая на обломки колес, которыми испещрен спуск в овраг. — Вот оно, что бывает от нерадения!

Как бы пойманный с поличным, смолкает Антимон и со вздохом лезет под тарантас и отвязывает железный тормоз и прицепляет его к заднему колесу. После этого экипаж медленно сползает с горы, а за ним идут под руку профессорша с Ноной. Сухая, потрескавшаяся глина осыпается под ногами; невинно и свежо торчат по барьеру выезда кустики вихрастой травы; мужичок в немудрой телеге спускается с противоположного ската и кричит своим трескучим голосом:

— Берегитесь! Берегитесь!

— Осторожнее, осторожнее, любезный, — сухо замечает ему Анна Петровна. — Был бы жив мой профессор, — он бы показал тебе «берегитесь»!

— Да я ничаго! — просто и скромненько отвечает мужичок и с уважением снимает весь латаный картузик; встряхивает мочальными волосами, опускает крошечную, точно куриную головенку, — и древняя, как свет, старушеница, выглядывает из-за сутулой спины.

На ней — темный платочек с зелеными райскими птицами; в сухих руках — просвирка освященная; кацавейка рваная болтается, как на вешалке, на плечах, а под мышкой — живой пестрый петух.

— Смотри, смотри, Ночка, — этого нигде более не увидишь, — негромко говорит Ноне профессорша по-французски. А Нона и без того во все глаза смотрит: какая она маленькая — эта старушка; какая древненькая, какая невинная, — точно кипарисовая, точно ладаном наполненная.

Смотрит еще: с бортов телеги свесились ее ноги, коротенькие, тощие, в шерстяных доделанных, совершенно новых чулках, и длинные ниточки свисают с концов и веют на ветерке. Как все это в самом деле невиданно, неповторяемо, как живут все эти мелочи, маленькие, чисто русские, уже выдыхающиеся, уже уходящие! Как все это надо смотреть да запоминать!

И почему-то больше всего запоминаются Ноне петухи и ниточки. Ниточки особенно смешно болтаются, пока проез-

жает старуха, и начинает смеяться Нона, а на сердце веет жуткий холодок.

— Дай ей рубль, тетя Аня! — говорит она.

Приподнимаются скупущие брови профессорши.

— Рубль? — Э т о й рубль? — Ее голос сипит от негодования. — Да разве можно? Зачем рубль?!

— Такая она старенькая, такая старенькая! — твердит Козочка умиленно. — Может быть, она, тетечка, и от обедни живой не доедет? Дай, тетя Аничка, для меня дай. Что тебе стоит?

— Ах, ах! — говорит тетя Аня. — Придумает же: рубль. Разве этак рублей напасешься?

— А ты посмотри на эти ниточки! — вдруг, бледнея, вскрикивает Нона. — Ты посмотри на ниточки! — Она краснеет, потому что не может как следует объяснить профессорше свою мысль: почему ей жалко старуху за эти ниточки, и бросается к тетке на шею. — Может быть, этот рубль у нее... Последним будет, тетечка, — отчего же и не порадовать ее?

— Ну, уж, куда уж! — как всегда, под конец уступая, говорит профессорша и кричит вслед мужику: — Остановись, эй! Вот барышня жалует тебе! — добавляет она подошедшей старухе и подает ей рубль и тут же, найдя компенсацию, замечает строго, чтобы вышло пользительно:

— Да помолись о здравии Анны и Ноны!

— Слушаю, родимица, слушаю, — отвечает старуха таким тоном, точно дело обеспечено, и, кланяясь, отъезжает.

— Господь вам заплатит, добрые господа!

34

Когда, выехав из оврага, приблизились к деревне и перед глазами поднялись убогие, тесно наставленные сельские дома, деревня уже не представилась такой красивой и неслышной, какой казалась издали. Скрипели колодезные бадьи, гавкали собаки, кричали в лужах гуси, у питейного заведения дрались пьяные, а около калиток купались в грязи и без того чумазные дети.

Только небо было по-прежнему красиво и безмятежно ровно. Все облака куда-то скрылись, точно их смело, и небо висело, словно хрустальное.

Ехали по деревне. Антимон для чего-то хлестал кнутом лающих собак, куры с кудахтаньем бросались от тарантаса,

вздыхая полосы пыли; на мосту едва не сломала себе ногу одна из пристяжных, и была рада Нона, когда, наконец, добрались до постоялого.

Была это довольно поместительная изба с обширным двором и пучком соломы на шесте у ворот. Содержал его нежинский казак, юркий старик с серой бородой, похожей на лошадиный хвост, а помощником его был сын, также казак, но двадцатилетний и красивый, с темными ореховыми глазами.

Въехала профессорша — и во дворе поднялась суматоха: захлопали двери и ставни окон, заспанная баба, выбежавшая чуть не в одних валенках, кинулась растворять ставни в чистой горнице для приезжих, курносые рожцы детей запищали в сенях под родительскими шлепками, и в крытых сенцах появился сам владелец постоялого двора, старик Захарий.

— Матушка-профессорша, вас ли я вижу? — сладким голосом заговорил он и всплеснул руками и сейчас же зажмурился, как от ослепительного света. — Я и так и этак смотрю, — неужто сама госпожа профессорша? Кормилица ангельская!

— Да, да, это я, — ответила Анна Петровна, довольная и в то же время несколько смущенная выпавшим на ее долю триумфом. — Это, действительно, я приехала сюда, и даже с приемной дочкой, Ноночкой... А это, Ноночка, наш старый знакомый: еще профессор останавливался у него.

— Кормилица ангельская! — повторил Захарий и, повернувшись к Ноне, снова зажмурил, как бы ослепленные, глаза. — Красота невиданная, жениха вам военного, — милости прошу.

Шмыгая громадными калошами, надетыми наспех на босую ногу, он повел почетных гостей в парадную горницу, а там уже раскрывались в окнах одна за другой ставни, и напуганные светом тараканы бежали врассыпную по стенам и потолку в свои квартиры за печкой.

— А вот это — мой сын Акимка, — указал старик на вошедшего за ними следом красивого парня. — Дите славное, только занапрасну книжки читает, — он укоризненно посмотрел на сына. Посмотрели на него и Нона с профессоршей. Он держался свободно и непринужденно и только улыбался, блестя мелкими, искрошенными зубами.

За Акима и за науку сочла долгом заступиться профессорша.

— Нет, что же, Захарий,— сказала она покровительственно,— ты совсем напрасно. Потому наука — это, брат, это...— Она замаялась, и вспомнив удачное выражение институтской начальницы, проговорила таким же важным тоном:— Ученье — свет, а неученье — тьма!

— О-хо-хо! — только и ответил старик Захарий.

Круглая, как шар, толстая, краснолицая женщина с прыгающими щеками и жирной шеей внесла ярко вычищенный самовар, и, громко вздохнув, удалилась.

— Кто это? — спросила Анна Петровна.

Захарий ответил:

— Марья Митреевна, Акимкина жена.

Профессорша заваривала чай, а Нона начала осматривать комнату. Тараканы освоились с дневным светом, высыпали дружными компаниями на стены и шевелили усами, обдумывая, что делать. Шмыгали их беспокойные кучки и за зеркалом, почти сплошь заклеенным картинками от конфет, и в божничке с окаменевшими просфорами, и по олеографиям военных действий против черкесов и турок.

— Ты посмотри, Ноночка, это любопытно: это очень старинные репродукции! — важно сказала профессорша. Она чувствовала себя в этом мире центром и хотела непременно уничтожать слушателей мудреными словами. Раздала всем по тянучке да по мармеладинке и пила чай из собственной, подаренной мужем, «военной» чашки, с которой не расставалась.

Позвали к чаю и Антимона; в порыве великодушия профессорша и ему предложила место за столом, но ящик скромно отказался и уселся со своим стаканом на сундуке, где немедленно завел разговор со стариком Захарием.

— Купец, действительно, не дает жалованья,— говорил он.— И не моги у купца просить жалованья: прибьет. А вот поедешь куда с купцом — в город ли, за товаром, на завод ли,— сейчас же все с своего стола и дарит, бывалочи, братец ты мой, деньгой...

Не дослушала Нона: внимание ее привлекли детские рожицы, приникшие снаружи ко всем окнам горницы и глазевшие на гостей с приплюснутыми в лепешки носами. Однако она заметила: Антимон восемь раз подходил к самовару со своим стаканом,— потом Нона и считать перестала. Антимон все разглагольствовал о преимуществах житья у купцов и глотал кипяток до тех пор, пока самовар не опорожнился. Две девочки, у которых ступни ног были

замазаны чем-то черным, вбежали в избу и остановились с разинутыми ртами.

— Отчего это у них ноги черные? — спросила Нона.

Ответил старый Захарий:

— Мяли девчонки кизяк, да, видать, напоролись на стекло или чем другим заразили. Алексей Федулыч прижгли купоросом для безопасности.

— Да вы их этак уморите! — сказала профессорша нахмураясь.— Купоросом! Да где это видано? Вы их без ног оставить могли!

— И остались бы, кормилица ангельская! — с готовностью согласился Захарий, — да, спасибо, Алексей Федулыч помогли. Так у обеих ноги распухли, что просто думали — конец... Акимкины дети, — да!

Нона сидела неподвижно. Она ощутила чувство тошноты, у ней потемнело в глазах.

— Да, это, наконец, безобразие! — продолжала кричать Анна Петровна.— Да разве этак можно, Захарий! Вы подумайте, останутся девочки без ног, — что тогда?

— Мы — люди темные, — снова вздохнув, ответил Захарий, — живем, нуждаемся, нам некогда рассуждать.

— Ну уж это ты бога гневишь, Захарий! — На щеках профессорши выступили кирпичные пятна.— Живете вы в полном достатке, хозяйство у вас справное, — разве можно так обходиться с детьми?

— А что это за кизяк? — отдышавшись, тихо спросила Нона.

Ей начал объяснять вошедший в горницу Аким, сын старика.

— А это, барышня, так сказать, топливо и готовится оно, в недостатке потребности, из навозу.

— Это они ногами и мнут навоз? — начиная вновь волноваться, спросила Нона.

— Знамо, ногами! — вмешался в разговор Захарий.— Хоть и дрянь-девчонки, а все же должны в хозяйстве помогать: не даром же хлеб жевать, мы люди трудящие.

Душно стало Ноне от этих разговоров. Она поднялась и вышла во двор.

Было тихо, безветренно. Смеркалось. По улице пастушонок гнал коров, и над всей деревней висело удушливое облако пыли, казавшееся в сумраке розовым. За воротами было пусто и безлюдно.

«Как живут-то! — подумала Нона.— Точно умерли все».

Пошла к сараям: там изредка мемекали телята и блеяли овцы. Петух дрался с курами; вытянув шеи, пошли походом на Нону два гусака. В плетеных сараях, крытых старой соломой, было совсем темно. Пахло прелью. Блестящие круглые коровьи глаза смотрели на подступившую Нону в упор. Корова вздыхала, жуя жвачку и наполняя запахом молока. Засыпающие куры лениво возились у ее ног; в углу были сложены квадратные куски грязи.

«Это, вероятно, и есть кизяк, — решила Нона с грустью, представляя себе, как девочки мяли его ногами, заслуживая свой хлеб.— Как трудно живут люди!»

Ямщик Антимон бранился у колоды с толстой бабой, женой Акима.

— Этакая жирная, а обвешиваешь! — кричал он.— Вот тебя на том свете обмеряют!

Потом уже совсем неожиданно увидела Нона, как Антимонова рука очутилась возле жирной шеи хозяйки, услышала затаенный смех и, слабо вздрогнув, вышла из сарая.

Стремительно спускалась на землю темная вешняя ночь. Все тускнело, где-то вдали послышался выстрел, потом с деревянной церкви донеслось три раза: «дон! дон! дон!» — церковный сторож пугал воров или боялся зазнуть. По всей деревне стояла та же мертвая тишина.

Странно переполненная новыми и не вполне осознанными мыслями, от которых как бы распухала голова, пошла Нона в дом. Анна Петровна уже укладывалась на покой и крестила, по своему обычаю, на ночь все подушки и подушечки.

— Нагулялась, Ноночка? — спросила она с зевком и прилегла на диване.

Не ответила Нона: такой одинокой почувствовала она себя. Пришло почему-то в голову, что вот, если тетя Аня умрет, — а ведь это когда-нибудь должно же случиться, — куда она денется, куда денется?

«Ведь деваются же куда-нибудь люди, когда у них умирают родители, — продолжала она думать далее.— Куда деваются?» — Она задумалась.— «Одни уезжают на службу, другие женятся... Женятся!..» За всю жизнь пришло это в ум впервые, и почему-то Нона покраснела. Да, это впервые пришло в голову. Почему сегодня, почему сейчас? — Так, ни с того, ни с сего.

«И как это люди женятся... Для чего?» — Положительно, в этот день голову ломит от новых, никогда ранее не являвшихся мыслей.

«Вот казак Аким женился, и жена у него, которую Антимон в сарае обнял, и дети... Что-то не так. Вот тетя Аня была замужем, а профессор умер. Точно и не была замужем. Странно. Наконец, ведь и у нее, наверное, отец и мать были женаты. Как странно и жутко все в этой жизни! И никто не объяснит».

— Ложись же, Ноночка, — пробормотала Анна Петровна во сне отвисающими губами и деревянным движением руки указала на диван напротив.

— Ах, сейчас, сейчас, тетя, — уже с досадой ответила Нона и опять подумала:

«Я совсем одна!»

35

Снова вышла во двор. Присела на крылечке и продолжала думать. Где-то вдали, словно за кухню, ворчал Антимон. Потом вышла оттуда же, смеясь, толстая жена казака Акима и медленно, переваливаясь как утка, пошла к сараям, неся на плече скатанный войлок, одеяло из пестрых кусочков и подушку. Бедра ее колыхались, как куски резины.

— Приятного сновидения вам обоим, — грубо сказал ей Антимон и засмеялся.

Не поняла Нона, почему он засмеялся, но ей стало стыдно.

Толстая женщина подошла к сеновалу, подставила лестницу и полезла наверх.

— Приятного апекиту! — повторил появившийся около нее Антимон.

— Кому апекиту, а кому — волокиту! — уже совсем непонятно ответила толстуха. — Кто сыт придет, а кто голоден уйдет.

Снова ничего не разобрала Нона, но чувствовала, как между обоими повисло в сумраке этой ночи что-то нехорошее, стыдное, напряженное.

— Аким! Аким! — раздался низкий бабий голос сверху. — Придешь, что ли?

Появился из сараев Аким. Постоял, подумал и полез на сеновал. Нона снова вспыхнула и хотела уйти.

— Не приду, нету: в ночное поеду,— услышала она Акимов голос. Потом увидела, как Аким снова вошел в сарай.

Что-то совершалось между людьми, совершалось странное, и некому было объяснить.

«Да, я совсем одна! — повернулось снова на сердце Ноны.— Тетя Аня хорошая, она может накормить, одеть, вылечить от болезни, но объяснить жизнь... Нет, этого она не умеет».

— А может быть, и никто не умеет? — вслух проговорила Нона и сейчас же побледнела, отодвинулась: перед нею стоял молодой казак с ореховыми глазами и улыбался.

— Не спите, барышня? — негромко спросил он.

— Да... я не хочу... — еле собирая слова, ответила Нона.

— В комнатах душно, — теперь спать можно только на воле, — сказал Аким и помолчал. — А ваша мама уснула?

— Да, заснула... — Нона хотела уйти, но кто-то словно заставил ее остаться. Ореховые глаза смотрели на нее и все улыбались... Улыбка у него была странная, какая-то открытая, — если б умела понять Нона, сказала бы: вызывающе-бесстыдная. Нос был толстый и короткий, во рту блестели искрошенные зубы, но все оживляли глаза, и лицо казалось красивым. Мягкие волосы вились на подбородке.

— В ученьи были? — спросил он еще.

— Да, в ученьи, — ответила Нона и осторожно поглядела, как он сел подле нее на крыльце. «Надо бы уйти!» — подумала она, но опять почему-то не ушла и только сказала вслух:

— В институте я учусь, еще не кончила.

— Это хорошо, — медленно проговорил Аким и все смотрел на Нону и странно и пристально. — Хорошо, когда кто может учиться. А вот у нас здесь не так. Небось, папашу слышали? Полная индифферентность и даже косность ума.

— А вы учились? — краснея, спросила Нона. Необычные слова, которыми выражался казак, ее и пугали и невольно заинтересовывали. Не нравилось ей, что Аким так вычурно говорил.

— Учился, по обыденности, в сельской школе, как и полагается, а больше сам стремился к образованию. Проезжие помещики давали книжки, семинаристы. Народ общественный, и, можно сказать, развитой.

— А жена? — вдруг спросила Нона и вся вспыхнула, потому что это вышло неожиданно и внезапно, и в то же время она чувствовала, что высказала мысль, которая почему-то все время сидела в сердце и перекатывалась в нем, как круглый, тяжелый камень.

Глаза Акима зажглись на мгновение совсем непонятным светом. И насмешка здесь была, и грусть, и удовольствие, — именно удовольствие, как определила Нона, — какое-то привычное выражение удовольствия, радости или торжества, точно этим вопросом Нона к нему как-то приблизилась и точно бывало это обычно.

— Что — «жена»? — ответил он вопросом и тихо-вкрадчиво засмеялся. — Жена есть баба. Простая баба, вы видели. Разве она может понять запросы человека, стремящего к образованию?

Положительно, его разговоры внушали Ноне неприязнь.

Но странно: вместе с чувством нерасположения поднималось со дна сердца что-то интригующее, притягивающее, и Нона как будто бы даже понимать стала, почему она не могла сразу уйти.

— Человек, стремящийся к развитию интеллигентности — и простая крестьянка, — почти шепотом сказал Аким, придвинувшись к Ноне. — Жена есть жирная баба — и больше ничего!

От последних слов Нона вскочила, как ужаленная.

— Нет! — крикнула она и сверкнула глазами. — Нет, вы не смеете так о ней говорить: зачем же тогда вы на ней женились?..

— Женился, как все, — сейчас же ответил Аким, и в глазах его снова затлели какие-то отсветы затаенной, невысказываемой мысли. — Разве вы не знаете, как женятся в крестьянстве? Прикажет отец, дадут от тестя корову — и все. Иное дело, если б для человека нашлась какая чувствующая душа.

Внезапно он схватил Нону за руку, и тут случилось что-то ошеломляющее, жуткое, невиданное: она ощутила у губ своих прикосновение мужской бороды, и кто-то носом уткнулся в щеку, и на плечо легла тяжелая лапа, под которой оно подалось послушно и мягко.

— Да как же вы смеете? — закричала во весь голос Нона. Так ей показалось, что она крикнула, — на самом же деле спазма сдавила горло, и она только шепнула, но,

быстро поднявшись на ноги, обеими руками так толкнула в грудь Акима, что тот пошатнулся и скатился с крыльца. Степная сила, врожденная с седой древности, вдруг вспыхнула в ней. Она не оказалась податливой и испуганной и спокойно, совсем спокойно смотрела, как поднимается с земли не ожидавший этого казак.

— Надо поехать в ночное,— проговорил он растерянно и, не глядя на барышню, медленно поплелся к сараям.

А Нона смотрела ему вслед с окаменелым, побледневшим лицом, неподвижная, суровая, оскорбленная, но исполненная той дикой силы, которая отличала ее от других. Может быть, она бы ударила его, этого противного, с тупым носом; может быть, она не осилила бы его, но она стала бы кусаться, царапаться и кричать,— это она твердо знала. Не сходя с места, не двигаясь, она ждала, когда тот уедет. Дыхание останавливалось в ней, но как только он, посереvший, горбленный, проехал мимо нее на лошади в ворота, стало Ноне легче дышать.

«И это называется у людей любовью! — в странном девическом прозрении шептала она, держась рукою за столб крыльца.— Э т о называется любовью?.. Нет, любить не надо, не надо никогда».

В первый раз в голову ей пришло этой ночью и слово «любить». Ей, незнающей, сразу открылось многое.

«Никогда не надо любви!» — сказала она себе еще раз и повернулась к дому и снова окаменела на несколько мгновений: по лестнице с сеновала спускался старик Захарий.

И это вдруг тоже поняла своим инстинктом Нона.

— Сейчас же запрягать лошадей! — крикнула она низким, неизвестно откуда в ней явившимся, металлическим голосом.

И когда старый Захарий, смущенно закрывая глаза, стал лебезить перед нею, упоминая, по своей привычке, про «кормилицу ангельскую» и доказывая, что ехать еще рано, Нона повторила тем же суровым, железным, полным презрения голосом:

— Запрягать лошадей!

36

Стала будить заспавшуюся профессоршу. Та все мычала во сне, жевала губами, потом начала справляться, который час, потом жаловалась на почки. Судорожное рыдание, словно без причины явившееся, вырвалось из

груди Ноны. Так спокойно, казалось, она говорила с теткой, так спокойно и старательно укладывала вещи и посуду, и вдруг сдавило душу и тошнотно потемнело в глазах. «Какая я еще слабая!» — холодно сказала она себе, а слезы все текли из глаз, светлые, соленые, обиженные, и Анна Петровна суежилась с водою и бромистыми каплями.

— Ты, наверное, переутомилась, Ночка, — вздыхая, бормотала она и лила капли мимо стакана. — Конечно, пора ехать, это верно, — дома отдохнешь, а тут какой отдых.

Появился угрюмый, заспанный Антимон и начал, сурово сгребая лапами, сносить в экипаж поклажу. Он так тискал узелки, что внутри них что-то пищало и всхлипывало, и все вздыхал, зевая широким ртом и зверски поглядывая на беспокойных пассажиров своим единственным глазом.

В окнах уже плыло белое утро. Деревня просыпалась, дымились туманные облака; пристяжные нетерпеливо бряцали бубенчиками, и охотно слушал, двигая ушами, свой колокольчик коренной.

— Ну, путь добрый, — сказала Анна Петровна, когда все узелки были затиснуты в тарантасе. — Прощай, Захария. — Она почему-то назвала его библейским именем. — На обратном пути снова к тебе заедем, — добавила она, и в то же время побледневшая Нона твердо и решительно шепнула себе: «нет, никогда!» Холодным пристальным взглядом она поглядела в лицо старого Захария.

— Приезжайте, кормилица небесная! — попытался было сказать он ей, но взгляд барышни так остро затмился, что старик не окончил приглашения и начал вздыхать.

Появилась на крыльце и заспанная, жирная жена Акима. Она лениво почесывалась, кланялась Анне Петровне, и на розовой шее ее ложились спокойные жирные складки. Однако, казалось Ноне, что было что-то смущенное в ее движениях и взглядах, какие она бросала на старика. Чувствовалась какая-то связь или сцепление между этими двумя людьми, — этим старым и сутулым, елеяно улыбавшимся, и той, жирной, рыхлой, закругленной, переполненной соков земли.

— А где же Аким? — спросила профессорша, давая Захарию рубль.

— Акимка в ночном, — торопливо ответил старик, и оба они — Захарий и баба — виновато, как показалось Ноне, опустили глаза.

— Н-но-о, бральянтовые! — снова гаркнул на лошадей Антимон, и тарантас покотился к выездным воротам, а Нона, все смотревшая на старика и жену Акимову напряженным взглядом, обернулась, перегнувшись в тарантасе, назад и увидела, как забирала у старика жирная женщина полученный им от тетки рубль.

«О, какая жизнь! какая жизнь!» — бескровными губами шептала Нона и все держалась за сердце. Точно оса ужалила его этою ночью, и оно пухло в груди, а к горлу подступали спазмы. В первый же день знакомства с жизнью, она приняла ее так открыто-бесстыдно, так равнодушно-холодно, так молчаливо-необъясняюще и все же грубо-понятно.

— Обязательно перекрестись, Ноночка, — сказала ей профессорша, когда они проезжали мимо церкви на выгоне села.

Нона посмотрела на нее так обиженно и сердито, что Анна Петровна обеспокоилась.

— Уж не больна ли ты?

— Да нет же, нет, тетя, — с раздражением ответила Нона и откинулась в глубь экипажа. — «Вот она жизнь!»

37

Бежали поля, бежали перелески, овраги, села, клубилась пыль, а Нона теперь на все это уж не смотрела. В н у т р ь с е б я смотрела она: что там делалось? Смешалось и перепуталось все на сердце. Так много довелось узнать в один день — что же придется изведать в будущем, когда закроются спасительные стены института?

Как раньше тесно и холодно казалось в этих стенах, а теперь они представлялись спасительными. Они спасали, они оберегали от жизни. В них все было известное, скучное, подчас утомительное, но известное; здесь же, в этой широкой степи, которая так манила раньше, под покровом этого неба и солнца, все было полно самой тревожной, гнетущей тайны.

«Что это делают люди, как живут? Почему так поступают эти Акимы, Захарии, у которых такие монашески-скромные голоса; эти бабы, переполненные кровью, одноглазые Антимоны?.. Вот, живут на просторе, среди степей, а как з а т е м н я ю т они эти степи, как оскверняют их своими грубыми и грязными делами, требующими потемок!»

Бежали часы, и бежало вверх по небу алмазное солнце, но не верила теперь Нона и солнцу: оно разжигало кровь людей бесстыдными желанием... Женатый человек вдруг хватает за плечи впервые им увиденную девушку; старик лезет на сеновал к замужней женщине, жене сына. Неприметно от тетки берет Нона платок и тщательно оттирает им свои щеки и губы. Еще словно пахнет от них табаком, кудрявыми волосами зверя, и так совестно Ноне, словно она уже не такая чистенькая и белая, как прежде, словно ее загрязнили.

Она так была погружена в свои тревожные настроения, что не замечала, где они ехали, не замечала, что день клонился к вечеру, и на все беспокойные расспросы Анны Петровны только отмалчивалась. И решила профессорша, что Нона утомилась в дороге, и к ней не приставала.

Только когда колеса тарантаса отчаянно закрипели по галькам голого берега реки, очнулась Нона и вскинула голову.

— Где мы, тетя Аня? — спросила она.

Тетка отвечала:

— У Сакмары, — скоро будет и наше имение, — бывшее наше, — поправились она, — всего четыре версты.

Огляделась Нона. Природа резко изменилась, тарантас стоял на пригорке, и всюду, насколько глаз охватывал, желтели среди чахлах кустиков пески да гальки, да сверкала мутным оловом широкая гладь реки.

— Э-гей! — кричал куда-то перед собой Антимон. Он слез с козел, стал перед лошадьми и, сделав из ладоней рупор, вопил, казалось, в самую глубь реки: — Э-ге-гей! Отваливай!

Некоторое время стояла тишина, прерываемая лишь бряканьем бубенцов, а потом словно и в самом деле из речного недра донесся до них слабый голос:

— Го-ой! Ой-ой!

Этот голос, похожий на стон, приближался, и не сразу меж кустами редкого тальника увидела Нона отплывавший с того берега плот, скользивший к ним по канату, а на плоту стояли две коровы, две бабы и сгорбленный черный старичок.

— Моста еще нет, Ноночка, — объяснила профессорша. — Весною на плоту переправляются, а скоро и мост возведут. Только и на плоту безопасно, — добавила она посиневшими губами. — Это вот раньше, лет этак сорок

назад, здесь водились разбойники, но их всех наш губернатор искоренил.

Нона слушала равнодушно, еле вникая в теткинны слова. Она и вопрос задала машинально:

— Что же здесь делали эти разбойники?

— Грабили купцов и дворян убивали! — недоумевающе ответила Анна Петровна и пожалала плечами. — Да что это ты сегодня точно больная? Куда ты смотришь?

Сама поворачивает голову вслед за Ноной и удивленно вскрикивает: сзади них возов видимо-невидимо. Лошади, волю, жеребята, сизые картузы казаков и меховые шапки башкир. Когда это все подобралось так неслышно? Смотрит Нона и вслушивается в разноголосый скрип колес и почему-то вспоминается из учебника, как подступали к древним городам пестрые орды Батыя. Да, да, цепи лохматых лошадей и разнозвучный говор, и этот слитный шум, и беспорядочное движение, — да.

— Эка, народу-то привалило! — негодуяще говорит Антимон и косится своим слезящимся глазом. — А все на базар притащились. Вот нехристи нечистые.

Ноночка догадывается, что Антимон понимает башкир и татар, прибывших с возами, но сейчас ей все равно: пусто на сердце, точно замерзли в нем струнки, которые раньше звенели так трепетно от малейшего ветра. Все, все равно.

Приплывает, наконец, с того берега паром, и низенький, седой, курносый человек в кожаной охотничьей куртке, видимо, сам паромщик, кричит на двух баб и двух коров.

— Слезайте, полоротые! Дурак я вам, что ли, Иван Иванович!

38

Уже под первым звуком скрипучего голоса вздрагивает, как под ударом, профессорша. Когда же голос произносит непонятную фразу «дурак я тебе, Иван Иванович!», тетка вскидывает голову, и сморщенное ее лицо наполняется улыбкой.

— Боже мой! Кто это? — громко спрашивает она.

И сейчас же точно искра электрическая пробегает между седеньким человеком в куртке и старой профессоршей. Человечек всплескивает руками, бежит к экипажу, мгновение смотрит перед собой круглыми, как плошки, глазами, потом истым, старо-дворянским жестом сжимает с

головы рваную кепку и смеется отрывисто блеющим радостным смехом, точно просыпал дробь:

— Хе-ее-е-е! Хе-ее-е-е! Анна Петровна! Хе-е-е-е!..

Через секунду он уже у ручки профессорши, и сама Анна Петровна растроганно целует его в острую маковку головы, и потом седой человек с охотничьими усами снова смеется и говорит:

— Анна Петровна! Уважаемая профессорша! Гвоздь науки! Вот встреча!

— Неужели это вы, Лев Григорьевич? — умиленно-радостно спрашивает профессорша и объясняет, склоняясь к Ноне всем своим расцветшим лицом. — Ведь это, Ноночка, друг самого профессора! Друг нашего детства, Лев Григорьевич Балычков! Однако вы... Лев Григорьевич. — Профессорша со вздохом оглядывает его костюм. — Вы...

Человек в куртке снова бросается к ручке профессорши, потом заодно целует ручку и у барышни, но той это почему-то не конфузно и не неприятно; она смотрит, как театрально вскидывает Лев Григорьевич кверху сухие кулачки и как восклицает:

— Превратности судеб и перст наказующий! Темпорамутантур.

— Но как же, как все это случилось? — недоуменно и горько спрашивает Анна Петровна и качает головой. — Вы продали имение?

— И продал и прожил! — с печальной ужимкой подтверждает Лев Григорьевич. Он видит, что экипаж обступили башкиры и казаки, поворачивается к ним и вдруг с налитыми кровью глазами начинает трубить в медный рог.

— Всех да-а-ром! — выкрикивает он зычно и обращается к народу. — Всех даром сегодня перевозжу, — благодарите профессоршу!

Снова на далекое расстояние разносится визгливый рассыпчатый смех Льва Григорьевича, скрипят колеса, лошади и волы спускаются на паром, а Лев Григорьевич подходит к экипажу и говорит:

— Так-то, многоуважаемая Анна Петровна, такие-то времена.

— Сколько лет мы не видались, Лев Григорьевич, — вспоминает профессорша, забыв, что ей тоже следует переправляться. — Я думаю, лет тридцать, а то и более... Вы, значит, по продаже имения надумали заняться паромом?

— Да, конечно, паромом, — с запинкою отвечает Лев Григорьевич. — Паром, без сомнения... Только паром-то, собственно, не мой... паром Федульчиков держит... Так вот... я... и заменяю его...

Анна Петровна слегка краснеет и опускает голову. Она поняла то, чего не хочет договорить Балычков: что он состоит на службе паромщиком у крестьянина... Он, дворянин Балычков, сын генерала Григория Тимофеича... он, друг профессора, друг захаровского дома...

— Но как же... как же... — растерянно лепечет она.

— Как вышло это? — уже с оживлением переспрашивает Балычков. — Да, сначала, как продал имение-то, было гого, трудновато, хе-хе... Сманил меня тогда этот Мендель: давай да давай виноторговлю устроим. Расторговались, Анна Петровна, так, что день и ночь кругом лавки пьяные лежали. Потом рискнул, понимаете, на акции, — а они, шельмы, лопнули... — Ну, и пришлось заняться, как говорится в романах, честным трудом. Рекомендовали к помещику управляющим, да не сошлись характерами...

— Так вы, значит, и управляющим побывали?

— Месяца два проваландался... Предлагал ему засеять поля горчицей, — не согласился, — ну, я и ушел. У Орловых-Давыдовых года три после того продудил в экономии: мокрецы лечил у графских лошадей, — я ведь немного и медик. Хе-хе!

Анна Петровна уже ничему не удивляется. Она знает, что не было той науки, которой не отведал бы Лев Григорьевич за свою долгую переменчивую жизнь. Не всегда у него было имение. — Он получил его в наследство от петербургского дяди, — а до этого жизнь Балычкова, ничего не унаследовавшего от родителей, была и шаткой и валкой.

В казначействе и в цирке; в имении губернатора и на винокуренном заводе; на театральных подмостках и в должности сиротского эскутора; даже цирюльней одно время Лев Григорьевич заведовал, и именно из цирюльни извлек его тогда профессор Захаров.

После должности брадобрея судьба на несколько времени вернула было Льва Григорьевича к его помещицкому положению, но — несколько предприятий, несколько афер, о которых узнала профессорша, — и вот Балычков уже в должности паромного мастера.

— Милый Лев Григорьевич, а вы все же не изменяетесь, — в грустном изумлении говорит Анна Петровна.

— А что мне делается, многоуважаемая! — отвечает Лев Григорьевич беспечно, и сейчас же тень заботы наплывает на его старенькое, курносое лицо.

— Боже мой, заговорил я вас, старый дурак, а ведь вам ехать, не будь я Иван Иванович! — выкрикивает он, и Нона дружелюбно ему улыбается. Ей нравится этот странный, всю жизнь проскитавшийся старичок; то-то он видел в своей жизни, то-то видел! И какой веселый, какой радостный, какой смешной.

— Да, мы сейчас едем, — отвечает профессорша. — Только вот что, Лев Григорьевич, я прошу вас заглянуть ко мне в имение, а там мы что-нибудь с приездом в город и устроим вам, более подходящее.

— Как же, как же, — чтоб я не заглянул? — восклицает Балычков и снова смеется, точно выстрелил дробью по жести. — Непременно загляну.

— Я же, в крайнем случае, могу посоветоваться и с Иваном Кирилловичем, с нашим губернатором, — внушительно добавляет Анна Петровна на прощанье.

— Да уж вы известная благодетельница, кто же не знает, — твердит Лев Григорьевич, пока они едут на пароме. — К губернатору у меня и у самого было бы дело: изобрел я тут на досуге дудочку, — перепелов подманывать, — так вот, хотел бы взять у него, как от начальства, на этакое дело патент: дурак я, что ли, Иван Иванович, чтобы другие пользовались моей выдумкой зря!

— Ну, дай вам бог всего хорошего! — говорит на все это неволью улыбающаяся профессорша и подает ему руку. — Так непременно. До свидания...

— До свидания! — вдруг ласково, с печальной нежностью говорит старику и Нона и сейчас же краснеет невинно и смущенно-радостно и отворачивается. — «Ну, что же это за человек, такой милый и старенький!..»

— Ты видишь, деточка, какие здесь люди-то, — замечает профессорша, когда они едут дальше. — Каковы они, эти старые: как крепко в жизни сидят, — ничем не вышибешь. Учись этому, Нона моя.

От Сакмары было всего семь верст до деревни, в которую они ехали. Всю дорогу Анна Петровна рассказывала

Ноне про Льва Григорьевича, и обе не заметили, как подъехали к усадьбе.

Профессорша осмотрелась в волнении. Все было родное и все в то же время чужое. Имение было продано одному видному оренбургскому чиновнику, которого вскоре перевели в Москву, и дом стоял по зимам заколоченным, а летом отдавался внаймы.

Дом был строен самим профессором Захаровым, строен для себя, — не так красиво, как удобно. Профессор купил у соседа-помещика его громадную старинную конюшню, продававшуюся на слом, и из конюшни выстроил длинное одноэтажное здание с узкими готическими окнами, с маленькими дверями и большими террасами на все четыре стороны. Смеялся этот помещик над профессором, рассказывая, что тот живет в его конюшне; конюшня, однако, оказалась из такого леса, какого не было и в помещичьем доме. Всего было пять комнат в доме, но комнаты были большие и удобные. Все были длинные, узкие, с дубовой, жесткой мебелью, тоже не очень складной, но крепко сколоченной. Не было в деревенском доме, в противоположность городскому, обычной помещичьей роскоши и старины: портретов, ваз, диванных подушечек, статуэток, чучел и оружия.

— «Обо всей этой пыли надо на лето забыть», — говорил профессор.

И теперь, когда приехавшие стали осматривать комнаты, дом показался Ноне и бедным и неуютным. Профессорше, однако, все напоминало прежнее, и она была настроена меланхолически.

— Вот, на этом кресле любил сживать покойничек, — рассказывала она Ноне. — Вот это была его любимая качалка, а на диване он всегда после обеда дремал.

Как в доме, неуютно было и на душе Ноны. Она ожидала увидеть в деревенских комнатах, по крайней мере, столько же милых вещей, сколько их было в городском, в комнатах же все было по-казарменному, строго и холодно; не было ни одного мягкого кресла, на котором было бы можно помечтать, и две дубовых кровати, громадные, как тарантасы, стояли в сумрачной спальне.

— Как хорошо, что он (под словом «он» Анна Петровна разумела покупщика ее дома) ничего не переставил в комнатах, ничего не изменил! — восторгалась профессорша, а

Нона рассеянно бродила по дому за тетей Аней и машинально повторяла:

— Да, тетя Аня, да, да.

Сурово и неприязненно встречали Нону степи. Так много надумалась и навидалась она за свою поездку, что смятенной душе ее хотелось уюта, деревенской сказки, мягкости, покоя.

Но все выглядело жестким и словно дубовым. Уже начало не понравилось — когда они подъехали к дому. Никто не вышел встречать, хотя о приезде были извещены: проживавший при доме сторож еще накануне напился мертвецки-пьяным и теперь лежал без языка, как ни проклинала его старуха-мать, жившая с ним на кухне.

И комнаты были не проветрены, и пахло везде скипидаром и пылью; пыль толстым слоем лежала на мебели и стенах, а на полу валялись окурки и клочки бумаги, оставшиеся, очевидно, со времени выезда прежних съемщиков.

Чуждо и безрадостно было в доме, — может быть, частью и оттого, что ожидания Ноны были преувеличены. Профессорша, однако, быстро освоилась и с помощью старухи поставила самовар. Стол накрыли вместо скатерти простынею. «Я бы ему, аспиду, ноги обломала», — говорила старуха-мать про сторожа. Нона слушала, и на душе ее было угрюмо и нудно.

— Жалею только об одном, Ночка, — сказала за чаем профессорша, — что я никого из своих не захватила. Но, думаю, что все же мы легко отыщем себе на лето разумную горничную.

— Так мы одни в этом доме и будем жить? — негромко спросила Нона и повела глазами вокруг.

— Да, конечно, одни... а как же? — быстро спросила профессорша, и сама смутилась: одно дело было жить в городе, и совсем другое дело — в имении, в лесу, в обществе неизвестного пьяницы-сторожа. — «Да, да, я об этом и не подумала», — сконфуженно размышляла Анна Петровна и сейчас же вся просияла. — Да что я: ведь у нас же будет жить Лев Григорьевич!

Просияла и Нона!

— Вот это ты устроила хорошо, тетя Аничка. Вот это хорошо.

Старуха стояла в углу у печки и клевала носом. Где-то

далеко на деревне выли собаки. Деревья потемнели и в сумерках выглядели угрожающими.

— Надо непременно послать за Львом Григорьевичем завтра, — слегка вздрогнув, сказала Нона. — А то, что это, тетя: мы — две женщины — и совсем одни в лесу.

— Ну, ну, уж ты расскажешь, — сдерживая в себе чувство внезапной жуты, проговорила профессорша.

А у самой посинели губы.

40

Среди ночи, когда лежавшая рядом с профессоршей Нона хотела вставить новую свечу вместо сгоревшей (они не решились спать в темноте), в окно их спальни раздался стук.

— О, тетечка, что это?.. Кто? — вся задрожав, крикнула Нона и бросилась к профессорше в одной сорочке. — Неужели воры?

— Ну, уж сейчас и воры! — задремавшая профессорша еще не разобралась со сна. — Какая ты, Ноночка, нервная. Это просто птица ударилась или ветер чем-нибудь хлопнул. Кто там? — крикнула она. Никто не отзывался.

— Я говорила тебе, тетя, что нельзя жить одним нам в деревне, — плачущим голосом прибавила Нона. — Ну, представь себе, что сейчас влезут к нам разбойники, — что тогда...

— Ну, ну! — Голос профессорши, окончательно проснувшейся, осекся. — Еще что?.. Вот уж городская жительница! Я все детство в селе провела, — я не боюсь. А где мой топорик?

— Под подушкой, — ответила Нона и пошарила рукой. Там, действительно, лежал топорик, вернее, молоток с острым лезвием, — с ним тетка всегда спала в городе.

— Да, Ноночка, я деревенская, — начала было Анна Петровна, но стук в окне повторился, и профессорша сжалась. — Что еще? — еле внятно шепнула она.

Стук раздался еще раз и затем за окном загромыхал чей-то голос. Застучали по раме кулаком.

— Да что это, ангелы-хранители! — уже испуганно крикнула тетка, совсем забыв, что она — деревенская. — Воры лезут! Спасите! Караул!

И тут случилось то, что так было бы необычайно во всякой девушке и что оказалось свойственным природе

Ноны. Бледная, совершенно спокойная, она спустилась с кровати и быстро направилась к окну.

— Что такое? Что ты хочешь делать? — пискнула помещица и зарылась в подушки.

— Открыть ставень и посмотреть, — спокойно ответила Нона.

Профессорша только взвизгнула, но бледной девичьей рукой Нона уже отомкнула засов ставня, раскрыла его и спокойно приникла к темному стеклу.

— Что вам? Кого надо? — медленно спросила она.

— О-о-о! Бу-бу... — бурчали снаружи.

— Подойдите к двери и скажите! — снова крикнула Нона и направилась к выходу.

Но тут с своей постели сорвалась Анна Петровна.

— Ты безрассудна! Ты хочешь и меня и себя погубить! Это, конечно, жулики с ножами, и ты...

— Пустите, тетя, — тем же металлическим голосом проговорила Нона и сбросила крючок с двери спальни.

— Ах, ах, — стонала профессорша, натянув одеяло себе на макушку. Она и молилась и кляла себя за безрассудство, а Нона тем временем, все в одной сорочке, шла к парадной двери и быстрым движением распахнула ее.

— Входите, — ну?

Она немного попятилась, когда в сени с криком ворвался лохматый мужик в овчинном полушубке, но сейчас же сделала над собой усилие и осталась неподвижной. Только подсвечник заколебался в ее тоненькой, как ветка березки, руке.

— Кого тебе? — громко спросила она и подняла свечу.

Пьяные, воспаленные глаза мужика уставились на нее, и было что-то жутко-прекрасное и грозное в этом неподвижном стоянии юной, почти обнаженной девушки перед пьяным, не соображающим, оборванным человеком. Как белая птица стояла она перед ним — маленькая, слабая, и в то же время гневная, грозная и спокойная, словно недоступная насилию и страху.

— Да я... я... — смутившись, забормотал пьяный и пошатнулся. — Должен я хозяйское добро блюсти, а? — сейчас же крикнул он и замахал руками. — По какому... полному праву? Кто смел? Я должен своего хозяина уважать. Сейчас же дам телеграф!

— Не кричи и не махай руками! — властно остановила его Нона и тут же, как и вчера, выпрямила руку и толкну-

ла пьяного в грудь. Он пошатнулся, стукнулся затылком о стену и на мгновение онемел. В это время на крыльце раздался топот босых ног и в прихожую вбежала растрепанная старуха, подававшая им вечером самовар.

— Ах, ты, антихрист! Ах, сила нечистая! — завопила она и стала бить сучкастой палкой мужика по плечам. — Налил себе зенки, анафемец, и господ беспокоишь!.. Да я тебя... Вот, всегда напьется этак, паршивый, и житья никому от него нету... Да чтоб тебе сдохнуть!.. Да чтоб ты...

— Уведи его! — негромко сказала старухе Нона и, еще раз толкнув пьяного сторожа в спину, накинула на двери крючок. Пьяный что-то бормотал, и мягко стучала за окнами палка, а Нона медленно вернулась в спальню и медленно заперла за собою дверь.

— Ведь это сторож пьяный!.. Сторож пьяный!.. — вздыхала несколько успокоившаяся профессорша, а Нона молча шла к своей постели, но едва успела дойти, как вихрем напрягшиеся силы оставили ее, и с слабым, детски-беспомощным вздохом она упала поперек постели на одеяло.

— Козочка! — закричала старуха и бросилась к ее кровати. — Ноночка! Да что такое, что ты? Да прости меня, сумасшедшую! Никогда больше так не поеду!.. Для тебя же выехала в деревню, Ноночка, только для тебя!

Трясушимися руками она наливала в стакан воду и лила ее на грудь и на лоб Ноне и все всхлипывала и клялась никогда больше не ездить в деревню, а та лежала, все это слышала, но не могла двинуться, не могла сказать.

— Завтра же выпишу сюда Льва Григорьевича! — твердила Анна Петровна, когда Нона очнулась.

41

Потрясенные волнениями ночи, они обе спали, хотя был яркий полдень, а возле дома уже давно прохаживался маленький, седой, курносый человечек с охотничьими усами и ружьем за спиной. При нем и котомка была с ситцевым одеялом, и ружье, и плетеный сундучок, и чучело старой совы выглядывало из мешка, по соседству с медным рогом, болтавшимся у бедер.

Проспавшемуся, наконец, под влиянием материнских палок, буяну-сторожу пришедший долго не мог втолковать, почему именно он пришел и кто он такой.

— Дурак я тебе, Иван Иванович, — непонятно говорил он сторожу, и тот недоуменно встряхивал серыми волосами. — Говорят тебе, что профессорша меня пригласила на житье, — вот я и пришел.

— Но ведь имение-то не профессорши... — пробовал возражать сторож.

Седой человечек только размахивал руками.

— Знаю, что не профессорши, а ведь она дом сняла?

— Дом она сняла, — это точно... Только нам барин того... ничего не приказывал насчет, чтобы вас...

В это время в одном из окон растворилась половинка рамы, и тоненькая, смуглая женская рука выглянула на весеннее солнце.

— Боже мой! Лев Григорьевич приехал! — крикнула Нона и, как бы не веря глазам, выдвинулась из окна, выставив солнцу и смуглую, полюбнаженную грудь. — Неужели это вы, Лев Григорьевич?

Вместо ответа Балычков рассмеялся своим блеющим смехом.

— Хе-е-е... — Сняв с головы кепку, он элегантно расшаркался. — Да ведь меня сама профессорша пригласила! Я и поторопился...

— Да, да, конечно, — вспыхнув, проговорила Нона и потупилась. — Я не забыла, — это верно... — Она подумала, что говорит неделикатно, и снова вспыхнула... — Но я очень рада, очень рада, — сейчас мы откроем вам дверь!

Она захлопнула окно и, накинув на плечи капот, побежала в прихожую. Хотела было сказать о приезде Балыčkова тетке, да раздумала: так сладко она спала, притом же приятнее сделать профессорше сюрприз.

— Входите, Лев Григорьевич! — приветливо обратилась она к Балычкову, и все лицо ее озарилось радостью. — Мы, действительно, рады вас видеть и даже сегодня собирались за вами послать. — Вы только громко не говорите! — останавливала она. — А то тетя проснется, — а я хочу ей сделать сюрприз!

По-видимому, приезжий был согласен на всякие сюрпризы.

— Ну, а где же ваши вещи, — с чем вы приехали? — недоуменно осмотрела Нона еще раз мешок, плетенку и плешивую птицу. — Разве это — все?

— Все! — с готовностью подтвердил Балычков и не-принужденно рассмеялся.

— Человек я холостой, одинокий, — много ли вещей мне нужно!.. — Он подумал, возвел пестрые глаза к потолку и, как бы прочитав на нем нечто солидное, ответил без важности:

— Омниа мѐа мѐкум пѐрто! ¹

Весело и громко рассмеялась Нона. Хотя она и не понимала по-латыни, но так красноречиво разъяснил мудрую фразу Лев Григорьевич жестами, что стало все понятно. Так просто и радостно было ей с этим седеньким человечком с самой первой встречи!

— Теперь бы нам надо и самовар устроить! — добавила она.

— А вот этим уж займусь я по специальности! — подмигнув Ноне, сказал Лев Григорьевич.

— Как? Вы умеете и самовары ставить?..

— И самовары ставить, и на керосинке жарить, и платье шить, и посуду бить! Я все умею!

— Ну, какой же вы милый, Лев Григорьевич! — крикнула Нона и вдруг, бросившись к нему на шею, расцеловала его в обе сморщенные щеки.

Опешил даже много видавший Балычков.

— Что? Этого не следовало делать? — спросила Нона и ласково рассмеялась. Положительно, с этим курносым старичком не могло быть невесело на душе. И сердце все раскрывалось, точно крылья распластывало, и хотелось дышать безудержу, во всю грудь, и смеяться, и танцевать, и плакать.

— Однако самовар!.. Мы забыли!.. — крикнула Нона, и оба побежали за самоваром. Бегал Лев Григорьевич как-то уморительно: широко расставлял ноги, размахивая руками и свесив голову; отчего виднелась впадина на шее у его жесткого и худого затылка.

Разыскали вчерашний самовар и со смехом начали его ставить. Нона не умела этого делать. Зато Лев Григорьевич исполнял все «артикулы» в таком совершенстве, что все еще невыспавшийся сторож только крутил головой. Увидев, что у крышки самовара нет гаечки, Балычков сейчас же побежал в свою комнату и принес кожаную охотничью сумку. Высыпав оттуда какие-то железки, винтики и крючочки, он живо нашел гайку для самовара и прикрепил ее.

¹ Все свое ношу с собой (лат.)

— У вас и шишечка есть самоварная? — спросила Нона в восхищении.

— И шишечка, и шурупчики, и всякая штукенция! Чего только у меня нет! — с оттенком хвастливости подтвердил Лев Григорьевич. — Вот это, например! — Он показал медную трубочку.

— Что же это?

— А это пфевка... и кислота есть в скляночке, ежели что запаять, дырку какую, и паяльничек, и буравчик, и клей для стекла, и лобзик, если что выпилить велите...

Со смешливой солнечной радостью рассматривала Нона все эти чудные, старенькие вещицы и переводила взгляд на сидевшего на корточках Льва Григорьевича, дувшего в самоварную трубу.

«Ну, какой же он славный, какой чудесенький! Вот с таким и в самом деле жить легко».

Они нарочно притихли за столом подле самовара, когда послышались шаркающие шаги профессорши.

— Козочка, а ты уже проснулась? — заговорила она и сейчас же, подняв брови, отступила. — Кто это здесь? Лев Григорьевич?

— Хе-е-е! — задрезжал в ответ Балычков и бросился к ручке. — А мы уж тут с Козочкой чайком балуемся.

Он говорил так спокойно, уверенно и дружелюбно, точно сидел здесь уже целые годы, и вопрос «как же это вы так быстро...» сам собой растаял на языке профессорши: у этого человека было все быстро... и понятно. Он и Нону называл уже совсем попросту — Козочкой, и таким светом рдело ее счастливое лицо, точно были ее именины, точно и в душе ее цвела весна.

— Ах, тетя Аничка! — крикнула она и бросилась тетке на шею. — Мы так подружались со Львом Григорьевичем! Вообрази, он умеет играть на балалайке!

— Да-с, и на балалайке и даже на кобызе! — подтвердил Балычков и расшаркался перед Анной Петровной. — В степях научился.

— А что это за кобыза? — спросила Нона.

— Это такой башкирский инструмент, — объяснил Лев Григорьевич, и по лицу Ноны пробежала мгновенная тень. — Он, знаете ли, Козочка, вкладывается в рот, и по медной пластинке надо этак, знаете, пальцем, пальцем... Дурак я, что ли, Иван Иванович?

Так уморительно он рассказывал, что Нона рассмеялась.

— Покорнейше прошу на председательское место! — возгласил Балычков и придвинул профессорше стул.

Сели за чай.

В окно гляделись ветви жасмина. Звенело солнце. Кричали в роще грачи. Бежали тучки, похожие на белых лебедей.

— Ведь эти жасмины сажал покойничек! — растроганным голосом сказала Анна Петровна. Но грусть не ложилась на сердце: она бежала, она улетала вместе с тучками, похожими на лебедей.

— Как кричат эти птицы! — проговорила Нона. — Такие они милые, хотя и черные. А как они называются?

— Грачи. А вот на озере гагары бывают.

Помолчали. Слушали. Сладко веяло дыханием весны и весеннего солнца. Алмазинками струилась в окнах воздушная пыль.

«Сидеть бы так вечно, вечно, — подумала Нона, — и никогда не умирать!»

Она поглядела в окно на небо, где все летели белокрылые лебеди.

«Вы, птицы! Птицы вы белые! Дайте мне крылья, чтобы я могла полететь».

Очнулась от своей задумчивости Нона. Палит солнце ясное, солнце вечное, солнце золотое. Распахнуто окно. И грачи почему-то стихли. И сидят подле нее, юной, эти двое, — старенькие!.. И оба задумались. И оба стихли. О чем они думают? О том, что когда-то и они были юные, как Нона? Что когда-то и они сидели перед окном распахнутым и смотрели на небесных лебедей, и каждому было по шестнадцать лет, а подле них сидели их матери? Куда убежало время, где сгнило? Отчего солнце все такое же звенящее, и лебеди все белые, и жасмины цветущие, а их лица увяли и пожелтели, и глаза погасли, и померкли сердца?

«Вы, птицы! Птицы вы белые! Скажите мне: зачем не остаются вечно юными сердца!»

42

Озарилась и наполнилась жизнь Ноны, и все это сделал старый, курносый, седенький человечек, влюбленный в жизнь.

«Ведь вот он — старый; сколько пришлось ему всего перенести и переиспытать, — а как любит он жизнь, какой он жизнью захваченный!.. Стало быть, жизнь есть радость», — думала Нона, неприметно подглядывая за вечно суевившимся, вечно спешившим, вечно что-либо делавшим Львом Григорьевичем.

Сразу какой-то уют жизни вдохнулся в мрачные, строгие комнаты с приходом Балычкова. Он всегда был весел, всегда ровен и ясен, всегда что-нибудь приспособливал для спокойствия профессорши, починял стулья, обстругивал двери, исправлял замки, мастерил для Ноны бумажные змеи с музыкой, чинил обувь, изобретал дудки для перепелов, мастерил солнечные часы, волшебный фонарь, телескоп, — и всегда был весел, — это как-то особенно согревало душу, — а в свободное от своих бесчисленных дел время садился у ног Ноны на табурете и, дергая на балалайке тоненьким, сухим, острым пальцем, напевал, по своему обыкновению, сразу двумя голосами — и дискантом и басом:

Проторила я дорожку через яр,
Через гору, мой любезный, на базар.

«Через гору» он забирал высоко-высоко, точно и в самом деле перелезал через гору, а слова «на базар» исполнял басом, и потом следовал его неизменный дребезжащий, жестяной смех.

Он знал также и множество историй, и их заслушивалась Нона. Любил он охоту и рыбную ловлю, ловлю раков и перепелов; любил леса, горы, степи; любил спать, обедать, смеяться, работать, — словом, любил все, что от жизни, и об этом так вдохновенно-радостно всегда говорили его маленькие пестрые глаза.

Не бывало у него печального лица даже тогда, когда болели зубы. И с подвязанной щекой он улыбался, хотя и криво; но и зубам он не давал надолго власти над собой: он сам выдергивал себе зубы, употребляя для этого старьярные плоскозубцы; сам же он лечил себя от лихорадки — лимоном, от головной боли — какой-то седенькой травой.

— Я, брат-Козочка, — теперь он стал называть ее «братом», — за свою скитальческую жизнь всему научился, можно сказать, сам — университет. Я приспособился к жизни: она мне щелчок, а я ей — два, она мне два, — я ей дюжину... Я, брат-Козочка, никогда не умру! Хе-е-е!

Но особенно радостной явилась для Ноны его безумная страсть к передвижениям: не мог он сидеть на одном месте. Это он первый предложил и повывдумывал разные поездки и пикники. Нона, конечно, думала о поездках в степи, но сама бы не привела их в осуществление так скоро, если бы не было под рукою неугомонного Балычкова.

— Таких делов вам, брат-Козочка, покажу, что пальчики оближете! — хвастался он. — И в Башкирию, и в горы, и по кутему, и по малину с медом, — все увидите! Дурак я вам, что ли, Иван Иванович!

И уже на третий день по его прибытии к профессорше была снаряжена «первая экспедиция».

С раннего утра все тот же неизменный ямщик Антимон подал к крыльцу парную бричку, и Лев Григорьевич самично уложил туда все профессоршины чайники и узелки, примостил к дрожинам рачни и удилица и, сидя на облучке с Антимоном, курил свою коротенькую «трубку-молдаванку». За плечами его болталось огромное ржавое шомпольное ружье, из которого Балычков стрелял поразительно метко, а сбоку висел медный рог, всем уже известный. Курносое лицо охотника выражало такое торжество, что вышедшая на крыльцо Нона рассмеялась.

— Зачем же вы на козлы сели, Лев Григорьевич? — спросила она.

— Непременно на козлы! Обязательно на козлы! — объяснил Балычков. — Я, брат-Козочка, должен за всем сверху наблюдать. Беспорядок какой или что, — одним словом, доктор. Со мной не пропадете!

Вышла на крыльцо и улыбавшаяся профессорша. Ради жары она изменила своему излюбленному горностаю и в белом фуляровом платочке на голове походила более на богаделку, чем на особу высокого звания.

— Куда же это мы поедем, Лев Григорьевич? — спросила она.

— Прежде всего — в самое сердце Башкирии! — немного витиевато ответил Балычков.

— А не опасно? В горы-то? Давно уж я не ездила...

— Гарантирую вам полную безопасность! — гаркнул Лев Григорьевич и шутливо потряс ружьем.

Выбрались из имения; поехали равниной по направлению к селу, через которое лежала дорога в Башкирию. Село раскинулось при взгорье, и красиво белели его дома на си-

неватом фоне лесов. Вдоль бортов брички извивалась пыль, отвыкшая от нее Анна Петровна чихала, поджимая губы. Нона сидела с ней рядом и смотрела на сутулую спину в затертой кожаной куртке; на старый охотничий рог, в который Балычков так великолепно трубил в их первую встречу на пароме; на изрезанную складками худую шею, на которой сидела, сверкая седыми косицами, старческая, крохотная, как репка, голова.

— Ну, милый же, милый! — с нежностью, похожей на влюбленность, шептала она, и почему-то хотелось ей неслышно-осторожно потрогать эти белые косички.

Проехала мимо телега с двумя мужиками. Лев Григорьевич затрубил в рог, испуганная чалая кляча, вытаращив глаза, шарахнулась в сторону и сама свернула перед бричкой. Стало Ноне немного стыдно, немного смешно. — «Какой чудной он! Какой чудной! — еще подумала она. — Что за люди ветхозаветные». И увидела, как, снимая картузы, кланяются им крестьяне. «И это тоже ветхозаветные! — сказала она себе. — Это тоже патриархальность, которой уже не встретишь более нигде, как в этих углах, которая исчезает и исчезнет скоро». И тут же она увидела еще телегу с молодыми крестьянами; эти уже не кланялись проезжающим, а сидели ровно, словно их не замечая. «Да, вот уже и исчезает, да, да», — опять подумала Нона.

43

Приблизились «горженики» — гумна с ометами старой соломы и сена. Солома была почерневшая от прошлой зимы, и изгороди были старые, плохо державшиеся, еле подвязанные лычинками. «Бедно живут, ах, бедно!» — с надвигавшейся на душу тоской шептала Нона.

Тучи домашних и диких голубей-вяхирей, горлиц, клинтухов взвивались перед бряцающей бричкой, но тут же непугливо садились на жерди. Потянулись кузницы, пышащие красными жерлами печей, бедные, еле живые крытые лубками каморки-кузницы, в которых оглушительно били железо кузнецы без рубах. Около кузниц стояли врытые в землю столбы с перекладинами «дляковки лошадей», объяснил Антимон. Въехали на мост, поставленный над мутной, дурно пахнувшей рекой, у которой стояли кожевенные заводы; лошади повлекли тарантас по рытвинам широкой и грязной «Башмачной улицы»; там у изб на зава-

линках сидели лыбые старики; они усердно кланялись профессорше, встряхивая волосами, и тут же сидели неподвижно-спокойно и, как показалось Ноне, враждебно, более молодые мужики и парни.

— Тоже, два поколения! — с странным смехом, в котором словно звенело недоброжелательство, — сказал, обернувшись к профессорше, Балычков, и лицо его впервые показалось Ноне неприятным. — Сидят, как истуканы, и шапки не гнут!

«Да, два мира... два мира на переломе!» — подумала и Нона.

Бричка между тем пробиралась по улице в гору мимо базара, ряда каменных лавок и полотняных палаток. На прилавках сидели хозяева с приказчиками и, за отсутствием покупателей, играли в шашки, попивая чай. За лавками тянулись крытые хорошим железом просторные дома и тут же рвано и разбросанно ютились кривые, однооконные избы.

— Все здешние торговцы настроили! — объяснил Лев Григорьевич, указывая на крытые железом дома. — Вот хоромы Бузанчикова, — вашего дедушки свинопасом был. — Чахлый, кособокий урядник прошел мимо брички по улице, придерживая рыжую саблю, и отдал профессорше честь. Калека-нищий, без рук и без ног, проехал мимо них в ящике, везомый старухой.

— С войны, — сказал профессорше Балычков. — Вишь, как на войне Игната обработали: без рук и без ног! А это его мать Прасковья Кукина! — Он не успел договорить, как на всю улицу раздался истерический крик Ноны:

— Дайте им десять рублей, тетя Аня!.. Дайте десять рублей!

И у обоих — у профессорши и у Балычкова — сделались изумленными равнодушные лица. Антимон остановил лошадей и тоже с изумлением глядел на барышню.

— Вот она, юность и молодость! — покачивая головой, сказала профессорша, а Нона вновь остановила ее тонким жалобным криком:

— Дайте денег или я... не поеду с вами!

Она крикнула то первое, что пришло в голову, и, однако, оба старых испуганно переглянулись, точно и в самом деле Нона сейчас уйдет, а без Ноны все изменялось и становилось для них ненужным. И сейчас же сморщенные руки профессорши завозились в сумочке и, вздыхая, она достала

свой кошелек и вынула какую-то бумажку, — какую, Нона сквозь слезы не видела, но, вероятно, крупную, потому что Антимон укоризненно-завистливо покрутил головой.

— Подойди, подойди сюда, старуха! — визгливо закричала профессорша, и когда та захотела подвезти и калеку-сына, добавила, закрывая руками глаза. — Без него!.. Без него!..

Она отдала деньги, и пораженная старуха вдруг бросилась перед бричкой на колени, а Лев Григорьевич уже гнал лошадей, забрав у Антимона вожжи, и сам Антимон, вымещая гнев на кореннике, хлестал его кнутовищем.

— Да, служба! — проговорил Лев Григорьевич и дернул себя за усы. — Калечат людей — и бросают, — ворчал он, встряхивая головою; но едва экипаж отъехал от нищих, как морщины на лице Балычкова, мгновенно собравшиеся из-за волнения за Нону, так же мгновенно растаяли.

— Хе-хе-е! Воздух-то, воздух! — уже смеялся он и свистел куличком. — А это, Ноночка, церковь во имя преподобных Козьмы и Дамиана! — наставительно сказал Балычков.

— Целители! И ты, Нона, непременно перекрестись! — добавила профессорша.

Рассеянно смотрела Нона на церковь. Нет, не хотелось креститься. Эта высокая нарядная церковь смотрела выше людей. Она сияла свежей краской и позолотой; горделиво высился на ней серебряный крест; ему было не видно, как там, внизу, по пыльной улице, скрипела тележка с обручком человека, и что везла искалеченного сына старуха-мать.

«Какой ужас!.. И как равнодушны все».

44

От церкви, подле которой стоял такой же нарядный, пышущий довольством и сытостью розовый дом священника, экипаж начал спускаться к кладбищу. Было разительно, что обглоданные червями и сыростью поломанные кресты кладбища стояли совсем рядом с домом священника, и дом нарядно улыбался на эту смерть, тление и нищету. — «Нет, действительно люди живут неправильно и бездумно...» — Нона вспомнила институтского священника, розового, сытого и нарядного, как этот поповский дом. — Мимо людей! Дальше от них!

— «Без людей тише», — почти вслух сказала она, и профессорша, вздыхая, вероятно, над внезапной потратой денег, задвигалась в тарантасе.

— Тебе хочется конфетку, Ноночка?

— Нет, тетя, совсем нет, — сурово ответила Нона.

Лошади взбирались на пригорок, весь зеленый и радостный, покрытый молодой, сочной травой, и колеса брички слегка поскрипывали на горных камешках пути. Ехали шагом, и Лев Григорьевич на ходу соскочил с экипажа, приник к земле и сейчас же, подбежав к Ноне, подал ей какую-то серо-желтую твердую вещицу, похожую на брошь.

— Это что же такое? — спросила Нона.

Лев Григорьевич объяснил:

— Это горные цветы. — Он назвал их, но как — Нона сейчас же забыла. — Они растут здесь на горах, и мы их много потом наберем с вами, брат-Козочка. Они могут расти в банках... А вот и еще.

Снова припал седой человечек к земле и снова подал Ноне странное растение, похожее и на звездочку и на твердый, точно окаменевший, серый бутон камелии. С горы открывались два вида: назад — на приникшее к ложбине село, и вперед — на зеленые равнины, перемежавшиеся с лесами, а за лесами голубели четкие цепи гор.

— Ведь это и есть Башкирия! — громко крикнул Ба-лычков.

— Как хорошо! — крикнула и Нона и порывисто осмотрелась. Грудь ее дышала часто и неровно, порозовели щеки, блестели глаза.

«Вот она, наконец, и Башкирия, милая родина, милые степи и села! — говорил ее сияющий взгляд. — Наконец-то я с вами, я с вами!»

С горки лошади побежали быстрее, но дорога сделалась не такой ровной, как за селом. Причудливо сплетаясь, словно в хороводе, бежали по небу серые облачка, то застилая солнце, то вновь его открывая. Птицы, острокрылые, невиданные, висели над экипажем, распластав неподвижные крылья у самых облаков.

— Это орлы и беркуты! — объяснил Лев Григорьевич... Вот если бы только достало ружье...

— Нет! — вдруг быстро сказала Нона и добавила еще стремительнее: — Нет, нет! Вы не стреляйте!

«Это ведь Башкирия, это наше!» — хотела еще добавить она, но поглядела на обоих стариков и смолкла. «Это милое, родное, башкирское... Здесь ничего нельзя убивать».

Странно, совсем странно, точно подвешенные на невидимой ниточке черные пряники, висели над ними птицы. Потом кто-то пронесся с хриплым клекотом, вырвавшись из камышей болотца.

— Утка! Кряковая! — радостно крикнул Балычков и схватился за ружье.

И снова на его плечо легла маленькая рука Ноны и снова раздался суровый и в то же время словно страстный степной голос:

— Не надо, не убивайте!

Даже пылинки степи, даже трава очаровывала и манила: ведь это все — родина; милая, никогда не виданная родина, с которой увезли, от которой хотели отвлечь, а она взмыла в сердце свободными крыльями, взмыла, распростерлась и полетела, свободная и радостная, как птица.

«Я на родине, я среди степи, и все здесь родное! — пел кто-то внутри Ноны. — Я не Козочка, не Нона, я — прежняя Амеля, и кругом все башкирское — утки, беркуты, травы, камни, горы, леса. Все родное, все необходимое, близкое, без чего нельзя жить».

«Ну как я могла забыть все это», — продолжает думать Нона и все смотрит вокруг и не наглядится. Крошечная река бежит в траве, такая мелкая, но бойкая; бежит безудержно, шевеля на дне камешки и песок, а они в своем тарантасе остановились над нею и почему-то думают: можно ли ее переезжать? Безопасно ли?

— Ну, конечно, можно! Конечно, безопасно. Ведь это — родная речка! — говорит Амеля и смеется. — «Разве она обманет? Разве родина обманывает? Нет, родина — святая!» — добавляет она себе.

— Тут бывают трясины, затянуть может, — озабоченно шепчет Лев Григорьевич. — Осторожнее с пристяжной! Ты!

Милый, смешной Лев Григорьевич: он не знает! Он не знает, что родина — не трясина; она не затягивает. Родина — это счастье, весенняя песнь, радость, и не знать родины — радости не знать.

Осторожно и недоверчиво ступают лошади по мелкому дну речонки. «Это все потому, что они — русские, — смешливо уверенно шепчет Нона, поднимаясь над подушками.

— Правее, правее ты! — тревожно кричит на Антимо-на Балычков. — Застрыла коренная, говорил: правее!

И странно видеть Ноне, как вдруг останавливается и беспомощно мнетя на месте лошадь. Неужели в самом деле трясина? — Не может быть! Уже все начинают чувствовать, что бричка вязнет в тине.

— Кнутом ее, кнутом — гаркает позеленевший Лев Григорьевич и вдруг, скользнув по оглобле коренника, садится верхом на пристяжную и бьет ее по бокам ногами и яростно кричит:

— Гей, гей!

Тарантас дергается в это время раз и два, визжит профессорша, трещат дрожки, шатаются, напрягаясь, лошади, гикает и машет кнутом Антимон, — наконец бричка трогается, и покрытые липкой грязью лошади выбираются на противоположный берег.

— Ну, ну, наша взяла! — радостно говорит вспотевший Балычков и беззаботно смеется. — Такие эти речонки под-лые!

— Неужели мы обратно через нее же поедем? — спрашивает струхнувшая Анна Петровна.

— Нет, не через нее... На мост поедем; хотел поближе, а вышла катавасия...

Снова трещит его радостный жестяной смех, а Ноне вдруг стало грустно. Точно родина обманула ее, посадив в трясину, покрытую зеленью цветущей; точно лицо обернула перед ней родина, и показалась изнанка — серая, за-ношенная, — суровое, немилующее, скорбное лицо.

— О, о! — бледными губами шепчет Нона и растеряно смотрит по сторонам.

И, как бы в жуткое предостережение, скрипит угрюмый голос Антимоны.

— Намедни башкира одного... трясинной затынуло.

45

Едут дальше, въезжают в лесок, и с изумлением смотрит Нона, как там и сям торчат мертвые черные пни.

— Это что же, Лев Григорьевич? — в недоумении спрашивает она. — Кто эти рощи вырубил?

— Кто? Конечно, башкиры, брат-Козочка, — отвечает Балычков. — Лентяев много среди них. В лесах столько сухостоя, — так нет: далеко ехать... Вот и рубают поближе к домовьям...

И, как бы по слову черного волшебника, вдруг предстают перед изумленно-печальным взглядом Ноны «домовья» башкир. Кривые, одноглазые избы, словно закут для скота, одиноко и разбросанно притаились за лесом. При избах нет ни заборов, ни плетней; точно на пожарище стоит среди груд навоза и бревен крытая соломой изба; а вот другая, и на ней совсем уж нет крыши, навалена сверху земля, и лебеда набрала на ней свой серый противный цвет, и окна без стекол,— лишь торчит обрывок промасленной бумаги.

«Так они и живут? — бледно спрашивает Амея и жжится, словно от холода.— Так живут они, братья и сестры! Так?»

Кривая, одноглазая коза с ошпаренной спиной поднимает голову, когда бричка сползает в ложбину. Двое черных узкогрудых голых мальчишек возятся в канаве, посыпая друг друга сухой грязью; валяется старый улей, в беспорядке разбросаны обрубленные ветки деревьев с увядшими, свернувшимися листьями; женщина в зеленом кафтане, накинутом на голову, проходит, закрывая лицо. Лошади въехали уж на улицу, и тихо стучат по мягкой пыли их твердые копыта. Улица мертва. Что это за жизнь, на смерть похожая? На широкой площади — ни души; два гуся, козленок, еле живая костлявая собака,— вот все. Где же люди, где братья и сестры? Спят или умерли? Отчего ни шума, ни смеха, ни говора? Отчего безгласно и бездыханно в башкирской деревне? Где жизнь, о которой рассказывали книги? Почему вместо жизни — смерть? Кто велел?

Проезжают в конце улицы мимо высокой мечети. Какой странной и чужой кажется она среди общей бедности и черной нищеты своим высоким, нарядным шпилем, ярко блестящим полумесяцем, яркой окраской стен! Как походит она на высокую церковь села, из которого они выехали; как похож дом муллы при мечети своим нарядом на дом священника; как спокойны и сыты оба дома перед темными развалинами лачуг! Точно переглядываясь, протягивая друг другу руки, высятся над нищетою два священных дома, и два бога — крест и полумесяц,— улыбаются друг другу согласно. «Русский бог и башкирский бог! — сурово думает Нона.— Два бога,— и ни от одного не тепло». Неизгладимый рубец наносит сердцу Ноны эта первая встреча.

Вот речка, быстро бегущая, шумливая, мелкая; серые камни мокнут на ее дне; в стороне у берега машут седьми ветвями древние ветлы, и на некоторых — улы; плетень покосившийся тянется по другому берегу реки, — старый рваный плетень, местами увитый опаленной жаром зеленью... Как бедно на родине, как глухо и уныло, какое темное безъязычие на равнинах ее!.. Вот, однако, шум, — со скрипом выезжает телега; косматая, вислоухая, беззубая лошадь выносит длинные дроги, и на спине лошади сидит верхом крошечный башкиренок в тюбетейке, — а в дрогах, на охалке соломы, — угрюмый черный башкир с хворостинной. Как сурово его лицо, как угрюм он, — а ведь за его спиной — молодая женщина с ребенком, должно быть, жена: это едет семья, — вся семья едет вместе! Почему же нет радости, нет смеха, нет даже улыбки? Почему так сурово?.. И так красива, так обаятельно красива эта женщина, обнявшая ребенка, что все — и Нона, и Анна Петровна, и седенький Балычков, и даже угрюмый, давно заржавевший Антимон, — все разом поворачивают к ней головы и все смотрят на нее, проезжая, в радостном удивлении, пока не раздастся подле них сурово-запрещающий голос:

— Чужую жену нельзя смотреть!

Это сказал башкир. Все недоверчиво переглянулись; больше же всех смущена Нона; она побледнела и растерялась: башкир не узнал в ней родную, он не признал в ней сестру. Обидчиво и грустно оглядывается Амеля; долгожданная родина отказалась от нее; но ведь и она изменила родине, изменив веру.

— Да ведь вы, Козочка, на родине! — вдруг восклицает радостно Балычков и обращает к ней сияющее, расщепленное морщинами лицо.

Но сейчас раздражение охватывает сердце Ноны. Как он не понимает! Как не может понять! Сдерживая себя, хочет сложить губы в улыбку, не может и отворачивается.

«Да, родина».

Оборачивается на ярко блещущий полумесяц мечети; не оттого ли, что изменила Нона этому полумесяцу, старой вере степной, и отказываются от нее степи? — Равнодушно и горделиво смотрит полумесяц куда-то выше Ноны.

— Где же мы остановимся, Лев Григорьевич? — спрашивает профессорша.

— В это село не заедем, дальше гораздо интереснее, — отвечает Балычков и хитро подмигивает Ноне. — Дальше

будет уж настоящая Башкирия, и мы заедем к моему другу, башкирскому мулле.

Дорога становится все более живописной; вдоль крутого, отвесно падающего в воду берега бривка взбирается вверх, а справа серой стеною вздымается гора, — святая гора Кульяна башкирского, — снизу обросшая диким вишеником, сверху покрытая бурыми камнями и громадными лесами.

— Смотрите, Козочка, — там видите кустарник? — спрашивает Балычков, указывая вверх. — А ведь это — леса, леса пятисаженные!

— В былое время зверья здесь, зверья! — бурчит и Антимон.

— И грифы, и беркуты водились! — подхватывает Балычков. — Раз при мне гриф подстреленный так вцепился в ногу башкира, что пришлось ногу отпилить!

— Кому ногу? Башкиру? — испуганно спрашивает Нона.

— Зачем башкиру, Козочка: птичью ногу пилили, чтоб когти вынуть! Хе-хе... А и вишни здесь! А малины! А клубники степной! Страсть!.. Все объездим, все обсмотрим, — дурак я тебе, Иван Иванович!..

Все больше и крепче дичает путь. Суровее смотрит степное солнце. Широкой серебряной полосой убегает вдаль за гору плененная камышами река. Мельницы и запруды, плотины и мельницы тянутся вдоль нее и неслышно шумят своими поставами; кучи возов с зерном расположились подле мельниц в ожидании помола; с поросших кустарником берегов с кряканьем поднимаются утки, и Лев Григорьевич то и дело хватается за свою «шомполку», выкрикивая со смехом:

— Эка! Семипудовая!

Однако он не стреляет, — только посмеивается: желает ли он угодить Ноне или боится пальбой испугать лошадей, — только утки улетают все в добром здоровье, а Нона уже не думает о том, что убивать нельзя, что утки — башкирские: родина ее отвергла, — теперь все равно.

Два башкира попадаютя навстречу. Оба сидят верхом на спине одной лошади, оба черные, костлявые, худые, как черна и костлява их лошадь; и уши у лошади безобразно разрезаны, и хвост точно выщипанный, и ноги в шишках и желваках.

И жутко, и смешно, и уныло смотреть на все это Амеле.
— Этак они часто ездят на одной лошади! — говорит Балычков. — Случается, что впереди посадят еще на шею мальчишку. А что уши у нее сверху надрезаны, так это — метка...

Странно и горько почему-то от всего этого Ноне. Почему — не знает.

46

Башкирская деревня выказывается из ложбинки. Всего третий день живет Нона на родине, а кажется ей, что она перевидела все села ее бесчисленно: до того они однообразны, до того одно схоже с другим.

Такие же, словно даже те же кривые коробочки на одно окно; также вместо крыш цветет наверху лебеда или полынь; также нет изгороди, и словно совсем те же бродят по пустой улице гуси, и черномазые дети возятся в пыли.

«Какое запустение! Какое запустение! — жалобно твердит Нона. — Значит, обманывал дед, говоря про кажбовы, калябаш!.. или все это было и ушло и сгинуло, — и прав только суровый Искак?»

Нищета и сон, равнодушие и запустение... Но вот перед глазами Ноны вырастает просторное здание с зелеными ставнями, с зеленой крышей, с красными воротами и каменной палаткой. Вот не все нищета: вот и привольная жизнь. Значит, не все — бедные братья: вот и богатый «брат», и так радостно высится его просторный бревенчатый дом над черной, вросшей в землю хижинкой, похожей на хлев.

— Чей это дом, Лев Григорьевич? — встрепенувшись, спрашивает Амеля.

— Дом Юсупа, почтенного человека. Мы заедем к нему.

— Башкира?

— Башкира.

— А это землянка?

— Его родного брата Шарипа.

— Брата? Родного брата?

— Родного, Козочка! По-разному живут братья. Хе-хе!

Балычков хочет стучать в ворота, и снова раздаётся словно раненый крик Амели:

— Я не хочу сюда, Лев Григорьевич! Тетечка, я не хочу сюда!

Уставшая, изнемогшая от жары профессорша переглядывается с Балычковым.

— Можно будет тогда заехать к мулле. Он — мой приятель,— говорит Лев Григорьевич.— Я сначала и хотел туда, только здесь башкир живет, на горле играет.

— Нет, поедemте к вашему мулле, Лев Григорьевич,— холодно замечает Амеля.

Недовольные на отмену отдыха трогаются лошади. Помахивает головою совсем неодобрительно коренник. Уже выбежала за ворота старая башкирка, чтоб встретить гостей, но Лев Григорьевич бесцеремонно машет на нее рукой:

— Потом, потом!

Снова на пути встает старая мечеть. Враждебно смотрит на полумесяц Амеля. «Стало быть, и под тобою такое же... Стало быть, и здесь одинаковое, всегдашнее... Тогда разве не все равно?»

Милый, ко всему привыкший, ничему на этой земле не удивляющийся Лев Григорьевич стучит в ворота дома муллы. Вот и у муллы дом просторный. Отчего же у тех... у бедных?

— Да не может быть?!— говорит у ворот, словно впервые удивленный Балычков, и отходит к Анне Петровне с опрокинутым лицом.

— Представьте, какая штука: у жены мулловой сибирская язва,— стало быть, нельзя.

— Ах, боже мой, неужели? — испуганно говорит профессорша и отшатывается в тарантасе.— Надо скорей! Скорей!

Точно сами собою заворачивают лошади.

— Сибирская язва? Это опасно? — спрашивает Нона.

— Коли не заговорят — смерть,— коротко отвечает Балычков.— А ведь придется, брат-Козочка, назад к хорунжему.— Ничего не поделаешь.

— А ее, по крайней мере, вылечат? — Хотя и оскорблено и опутано вязкою паутиною сердце, но все же жалость к родному вступает в него.

— Знахари еще водятся, что умеют заговаривать,— Лев Григорьевич раскуривает трубку.— Только мало их, способных-то...

— А докторов?

— Чего — докторов?

— Докторов разве нет?

— Хе-хе! брат-Козочка,— чего захотела! Хе-хе! Докторов!

47

Скрипят высокие тесовые ворота, погромыхивая бубенцами, лошади въезжают во двор зауряд-хорунжего Юсупа, и прежде всего бросается в глаза Ноне несчетное число детей, высыпавших на крылечко.

— Ишь, ишь, целое войско развел! — говорит профессорше Лев Григорьевич и сейчас же, притворно-гневно топая на ребят ногами, кричит на них по-башкирски: — Кит! Кит-кит! ¹

Дети, среди которых больше всего девочек от пяти до четырнадцатилетнего возраста, разом поворачивают к гостям свои одетые в кумачи спины и, звеня монетками на черных косичках, с визгом уносятся в дом. Вместо детей появляется на пороге избы старая башкирка и устало улыбается Балычкову и Анне Петровне.

— Лев Григорьевич пришел! Профессорша привел! Якши! ² — говорит она.

— Салям-алейкум! Салям-алейкум, Зюгра! — небрежно отвечает ей Балычков и помогает вылезти из тарантаса профессорше.

А Нона вглядывается в лицо старухи. Какое лицо у нее — усталое да милое. Волосы черные, с проседью, увешаны медными монетками; на груди тоже монетки нанизаны; на руках — медные браслеты; платок на голове надет не по-русскому — треугольником, а завязан двумя концами и лежит сзади квадратом. Платье кумачовое обильное, высоко подобранное, обнаруживающее ноги в зеленых сапогах; но лицо... лицо ее кроткое! Почему больше всего хочется смотреть в ее лицо?

— Здравствуй, баришня! — ласково говорит она Ноне, а та все смотрит, как зачарованная, в это старое лицо. Что в нем особенного: лицо — обыкновенное, смуглое, сморщенное, и глаза обычные, черные, окруженные морщинами; нос прямой и тонкий, орлиный, старуха, должно быть, была красива в юности, но все же это обыкновенно. Отчего же все хочется глядеть в лицо это старое, отчего кажется оно милым, близким, даже более того — родным?

¹ Уходите прочь.

² Хорошо.

Смотрит Нона и вздрагивает и бледнеет; нашла она: причина в улыбке ее, улыбка кроткой, полной странной, необычной, почти рабской покорности; вот почему так захватило это старое лицо внимание Ноны: это лицо рабыни, кроткой до подвига.

«Неужели это и есть лицо башкирской женщины?» — беззвучно спрашивает кого-то она. Башкирка между тем взяла ее руку в обе свои и зажала ее ладонями и все смотрит в глаза Ноны, не то радостно, не то удивленно. Нона приходит в себя.

— Саям-алейкум! — повторяя приветствие Балычкова, говорит она старухе по-башкирски и сейчас же, точно повинуясь тайному неясному велению, добавляет негромко и сконфуженно: — Я сама — башкирка, только я... крещена!

Ожидает Нона, что старая Зюгра отшатнется от нее или даже уйдет; ничего этого не случается. Лицо башкирки по-прежнему радушно, по-прежнему приветливо.

— Бог один! — говорит она и отходит к зовущему ее Льву Григорьевичу. Так просто встретила она сообщение Амели, и кажется Ноне странным, почему она не удивилась ее сообщению, что перед нею башкирка, почему не осведомилась, кто она и откуда. Ведь это же было бы так естественно... Неужели в тихой фразе ее «бог один!» и в самом деле сказалась та примиренность перед всем в жизни, которой было исполнено ее старое, много выдавшее лицо?

— Да где же, старуха, твой хозяин? — кричит на Зюгру Лев Григорьевич. — Приехала профессорша, а он дрыхнет? Нечего сказать, хорош...

Он не успевает договорить, как на крыльце появляется жирный старый башкир с серыми подстриженными усами, в тюбетейке, в кожаных калошах на босую ногу, в темном бешмете — сам зауряд-хорунжий Юсуп. Заспанные крошечные глаза его щурятся от света.

— Ну, вот и хорунжий наконец пожаловал! — так же бесцеремонно кричит Балычков и смеется своим жестяным смехом — Хе-е-е! Ишь, щеки наел. Не видишь, что привез к тебе самое профессоршу!

— Ай, хороша, ай, хороша! — говорит Юсуп и, забрав в обе руки ручку профессорши, трясет ее с увлечением. — Очень рад, профессорша, очень рад. — И сейчас же лицо его из любезного превращается в суровое. Оборачивается к жене.

— Самовар поставила? Масло? Мед? Молока? Зря чего стоишь?

— Сейчас, сейчас, — опуская голову, негромко отвечает старуха и уходит, шмыгая сапогами.

И все это видит, запоминает все это Нона. — «Глаза ее, покорные, милые... Глаза...»

48

— Да, наконец-то, и я сюда к вам собралась! — говорит профессорша старому башкиру. От непривычки она несколько конфузится и, стараясь попадать в тон Юсупу, сама начинает, вероятно для понятности, коверкать русские слова.

— Вот и дочка ташила. Приемная дочка. Башкирка была Амеля.

В противоположность ей, Лев Григорьевич нисколько не смущается.

— Только уж не ваша, брат, теперь: окрещеная у нас Козочка. Не вашей, брат, веры мухамеданской, — по закону нашему, хе-хе!

— Крещена? — коротко поджимая губы, спрашивает Нону Юсуп.

Внезапный страх падает на душу Ноны: так сурово-странно глядит это старое, жирное, мигом преобразившееся лицо.

— Да, крещена... — еле слышно отвечает она и опускает голову бледнее. И сейчас же башкир отворачивается от нее и обращается к профессорше с каким-то пустым вопросом, и то, что он уже говорит о другом, особенно жутким представляется Ноне. Слово презрением затаенным облил ее взгляд его мутных глаз. Спросил — и отрезано. Больше он ни о чем не говорил с Амелей. Она недостойна, чтоб говорить с нею.

Но тут же взгляд Ноны падает на каменную палатку во дворе Юсупа, замкнутую железными дверями, и взгляд из смущенного делается обвиняющим.

— А рядом ваш брат живет? — колющим голосом спрашивает она.

Выцветшие глаза Юсупа обращаются на нее. Некоторое время оба испытующе смотрят друг другу в глаза. Точно два врага сошлись на одном поле. Один с мутными, заспанными, умеющими, однако, зорко следить, глазами, другой — юный, ничего еще в жизни не знающий, но пол-

ный той упругой, настойчивой страстности, которая рождается только под опаляющим солнцем, только в степях. И не уступает и не прячется теперь взгляд Амели. Старый отводит глаза.

— Да, брат, — коротко говорит он и снова обращается к профессорше. Говорит с нею об ее муже-профессоре, а Нона смотрит на расслоившийся жирный затылок Юсупа и думает про себя: «Мы — враги».

— Однако что же это? — вдруг спохватывается Балычков. — Ведь наша Козочка родилась в этой деревне. Не осталось ли здесь у нее родственников? Родственников Ахмета?

— У нее нет здесь родственников, — коротко и значительно отвечает Юсуп. Только для Ноны ясна затаенная враждебность ответа, — ни профессорша, ни Лев Григорьевич не понимают скрытого смысла слов. Но и Амели не пугается. Она спокойна. В ней сила поднялась. Она готова отвечать на удар.

— А у вас есть родственники? — металлическим голосом спрашивает она, и глаза ее блестят остро и презрительно. — Ваш брат такой бедный! — холодно до пронзительности добавляет она. Ее сердце вздрагивает в остром чувстве скрытого наслаждения. И говорит она так враждебно и оскорбительно, что обращается на нее взглядом даже Анна Петровна.

— Лентяй он, — потому и бедный. Не любит бог лентяев! — Голос Юсупа звучит отдаленно, так как говорит он не глядя на Амелию. — Бог любит тех, кто работает, а Шарипка не работал.

— Но ведь он — брат? — все тем же звенящим, точно медным голосом, раздельно спрашивает Амелия.

— Ленивый брат — не есть брат!..

В поднявшийся спор вмешивается блеющий смех Льва Григорьевича.

— Ну, уж это ты, Юсуп-дружище, хватил! — с чистым сердцем поясняет он и снова смеется. — Брат — завсегда брат, и ты не должен его забывать! Дурак я тебе, Иван Иванович!

Старая Зюгра является с самоваром, за нею юная башкирочка, прелестная, как цветок, несет на подносе пузатенькие зеленые чашки.

— Дочь, что ли? — осведомился Балычков.

— Жена, — третья жена, — коротко отвечает Юсуп, и Нона вздрагивает.

— Когда же еще женился?

— Два месяца женился. Бибик. Зовут: Бибикей, Би-бик.

— Вот она, Анна Петровна, вольность-то магометова. Мало ему, старику, двух жен, — еще третью прихватил.

Изумленный, обострившийся, обесцветившийся взгляд свой переводит Нона с Юсупа на старую Зюгру. Теперь ей стало понятно выражение покорности, залившей лицо старухи. — «Три жены!.. И какое ровное и спокойное лицо у этой третьей, еще ребенка! И как невозможно сидит этот толстый, опухший, с красными ушами... Три женщины — жены одного!.. Родина, родина, какая ты темная!.. Какая у тебя, родина, женщина обиженная!»

49

После чая, кумыса и бишбармака так сморило Анну Петровну, что она выразила желание отдохнуть. Лев Григорьевич устроил профессорше ложе в тарантасе; пошел спать в палатку и наевшийся Юсуп, а Нона осталась одна с Балычковым.

Она хотела было пройти к старой Зюгре, но оказалось, что Зюгра отправилась вместе с другими женами в поле доить кобылиц.

— А вы не ляжете отдохнуть, Лев Григорьевич? — спросила Нона.

— С чего мне отдыхать? Разве я устал? — сейчас же ответил Балычков. Подумал и добавил с ожесточением: — Спать! Терять драгоценное времячко? Мы лучше с вами, брат-Козочка, к речке пройдемся, улы посмотрим. Хорошо?

— Хорошо, — ответила Нона, и новое, внезапно явившееся желание обожгло ум. — Лев Григорьевич, милый, пока тетя спит, давайте сходим к той женщине, которая заболела!

Все лицо, вся фигура Балычкова преобразились в вопросительный знак.

— К мул-ле?.. — протянул он охрипшим от изумления голосом. — К сибирской-то язве?! Да что ты, брат-Козочка? Смеешься надо мною?..

В испуге и изумлении он впервые сказал ей «ты», но и этого не заметил.

— Да разве это можно? Да если что случится? Да профессорша из меня шашлык наделает...

Но так просила Ноночка, так прижималась ласково к острому плечу Льва Григорьевича; наконец даже слезинки умоляющие в глазах заблестели. Не мог отказать седенький, курносый человечек.

— Ведь можно будет только из двери посмотреть! — просила Нона и все гладила Льва Григорьевича по сморщенной щеке. — Всего на минутку, всего-навсего!

— Ну, уж ежели на минутку, так пойдем! — согласился наконец Балычков. — Только смотри, брат-Козочка: узнает профессорша, — достанется нам с тобою на орехи да на грибы.

Теперь он, как бы связанный с Ноночкой общим преступлением, все время уж говорил с нею на «ты» — как это было естественно в «сообщнике и подсобнике», — и с тех пор оно так и осталось.

— Только уж хочешь ты, брат-Козочка, или не хочешь, а я всю тебя после башкирки табачищем обкурю!

— Разве это так заразительно?

— Не знаю, заразительно или нет, только опасность большая, — никак нельзя без табаку обойтись.

С замиранием сердца шла Ноночка к дому муллы. Около нее брел Лев Григорьевич и все поматывал головою. Да, конечно, никак нельзя было соглашаться. Раскис, разжалобился, старый дуралей, надо было твердость характера проявить... и вдруг еще, вдобавок ко всему, заболела Козочка... эта вот самая, черненькая Козочка... эта вот, смугленькая... Что тогда?

— Нет, брат, каюсь и каюсь, — ворчал дорогой Балычков и все дергал себя за седые усы. — Повесить меня, терева, мало: ну, ты, брат, того, ты несмышленная... А я-то, старый лоботряс!

Пришли к воротам дома муллы. У ворот никого не было. Работник встретил вошедших уже во дворе и закивал головою, предупреждая об опасности. Балычков угрюмо махнул рукою: «знаю!» — и прошел дальше к избе.

— Где же тут больная? — спросил он сидевшего на крыльце муллу. Мулла смотрел на него и точно не понимал. Он казался немного бледным. — Где больная! — уже громче, сердито проговорил Лев Григорьевич.

Мулла приподнялся и пошел молча. Это был еще нестарый, остроносый, худощавый человек, с редкой бородою,

висевшей прямо, как нитки. Балычков и Нона двинулись за ним. Он прошел двором, полным жеребят, и провел их к клетки, плетеной из прутьев.

— Здесь лежит, — сказал он глухо и остановился.

— Как? В этом сарае? — спросила Нона, покраснев от волнения.

— Опасно больна, бог наказал; других может заразить, потому — отдельно. — Нона молча продвинулась к двери.

— Э, нет, только до порога! — уже решительно закричал Лев Григорьевич и ухватил Нону поперек талии. — Дурак я тебе, Иван Иванович!

— Пустите, Лев Григорьевич, — сурово сказала Нона и попыталась двинуться. Но маленькие, жилистые ручки Балычкова держали, как железные. Забилась Ноночка, раза два крикнула, толкнула Балычкова, — цепкие не выпускали руки; слезы закапали у нее из глаз, она поникла головой и перестала биться. Лев Григорьевич стоял подле нее, суровый, строгий, точно выросший, точно сделанный из камня, и твердил Ноне сердито:

— Уговор, брат-Ноночка, слаще орехов: уговорились до порога, — вот, и вся дорога. А дальше, брат, ни-ни: дурак я тебе, Иван Иванович?

Поняв, что бороться бесполезно, Нона стихла и стала напряженно вглядываться в сумрак клетки.

«Лежит брошенная, беспомощная, как собака...» — снова в голову заползали горькие мысли о башкирской женщине, и перед глазами стояло покорное лицо старой Зюгры.

В сумраке сарая, подле громадной щели, изображавшей окно, лежала на куче тряпья бледная, еще молодая женщина и тихо чуть внятно стонала. Все это не казалось таким страшным, как рисовало картину болезни воображение: Нона думала, что увидит покрытую пятнами больную, которая будет метаться по постели, биться и кричать. Ничего этого не было: женщина лежала спокойно и даже не повернула к Ноне лица. — «Неужели они и умирают так же неслышно? Так же покорно, как живут? — подумала Нона. — Неужели эта вот, вот эта бледная женщина с прямым, заострившимся носом, которая лежит так спокойно и просто на груди тряпок, должна умереть и умереть, — может быть, еще теперь, прежде чем они доедут до дома?»

— Я хочу домой, Лев Григорьевич, — устало проговорила Нона. — Неужели ее не спасут?

Она сказала это Балычкову, а ответил мулла.

— От смерти никто не спасет. — Голос его звучал фатально-равнодушно. — Одни бог спасает, а бог ее наказал.

— Чем же наказал? — спросила Нона с тайной дрожью в голосе.

— Раз захворала, — значит, наказал бог, — невозмутимо ответил башкир и погладил бороду. — Бог без дела не наказывает: он знает грехи и хорошие дела.

— Я же хочу домой, Лев Григорьевич! — крикнула Нона. — «Боже мой, боже мой, какие странные люди, какая странная земля... Моя родина — земля эта фатальная; моя родина — эта земля».

Поникнув головой, она шла к дому Юсупа, а Лев Григорьевич, забегаая перед Ноной то справа, то слева, пускал ей в лицо клубы табачного дыма из трубки.

— Ах, оставьте же меня, Лев Григорьевич, — крикнула еще раз ему Нона. — Ну, что за глупости!

— Тсс... тс... — зашикал на нее Балычков. — Идет профессорша.

Навстречу им шла, действительно, отлично выспавшаяся, но еще сонная Анна Петровна.

— Куда это вы уходили? — спросила она, подвязывая платочек.

— А мы... прогуливались! — растерянно брякнул Балычков и задергал усами. — Мы, Анна Петровна, с Ночкой прогуливались по малину... По малину прогуливались!..

Не вполне еще проснувшаяся профессорша пропустила мимой ушей неудачную выдумку Балыčkова: весной — по малину.

— Пора домой, — сказала она.

Ехали башкирскими горами, степями, болотцами, а Нона теперь уж ни на что не смотрела. Она ушла в себя. Два женских лица стояли перед ней неотступно; молчаливые лица двух женщин: одной — неслышно и покорно живущей, другой — так же покорно и неслышно умирающей.

Суровое предостережение дала ей родная степь, в первое же явление на родину; точно остерегала степь ее: «со мною осторожнее!..» И притихла и молча слушала в себе внутреннее биение души придавленной растерянная Амеля.

Дальнейшие поездки постепенно сглаживали остроту первых впечатлений и всего более потому, что был подле неумолимый, вечно суетившийся, вечно радостный Балычков.

Без этого седенького человечка все казалось бы неизменяющимся: все те же были и люди, и разоренные деревни, и опустошающий душу уклад вымирающей жизни, но суетливый гомон, переполнявший все его существо, неизменная жизнерадостность невольно возбуждали улыбку; то он сети вязал, то мастерил лодку с парусом, чтоб катать Нону по озеру; то звал ее в поле ловить перепелов на изобретенную им дудочку, то увозил Нону на ловлю раков, а раз откуда-то достал живого волчонка и смастерил ему дом на колесах — громадный ящик, который перекатывал с места на место по мере надобности. Верх же ящика был затянут для безопасности проволочной сеткой.

«Опасности», впрочем, от волчонка и не было. Это был маленький, облезлый, серо-желтый дичок с словно выщипанным хвостом, который он постоянно поджигал, и волчьего в нем было всего — угрюмые глаза да острые зубы, — их он иногда ощеривал и почему-то больше всего на профессоршу.

Шумно и суетливо катили дни, и неслышные ложились летние ласковые ночи. Они приходили вкрадчиво и неприметно и так же неслышно уходили, и опять начиналось утро, и опять что-то придумывал неумолимый Балычков, и радостно было подчиняться его причудам, потому что они наполняли жизнь веселой суетою, трезвоном, смехом, движением, после которых так было приятно спать.

Изведала Нона и ловлю раков рачнями, и ловлю пеструшки-кутемы, и езду по клубнику и по малину в горы, когда на стан профессорши со всех сторон сходились башкирки и башкирята с ягодами, приносимыми в больших круглых берестянках — «чиляках».

Все это было родное, — правда, как-то затенившееся в сознании, но все же близкое, — и поэтому временами сердце болезненно настораживалось. Но так весел, так забавен бывал в это время неугомонный Балычков, что невольно улыбка сменяла морщинку над бровями: ведь Ноне всего-навсего шестнадцать лет!

Еще только показывались на взгорьях продавщицы, а Балычков уже трубил, для осведомления Ноны, в свой охот-

ничий рог. Нона смотрела на спускавшиеся с гор живописные группы женщин в ярких рубахах, с медными монетами на груди и в косах; смуглые руки держали полные ягод чиялки, и тут же у женщин висели гроздьями ребята, а девушки так невинно улыбались белозубой улыбкой, когда Лев Григорьевич спрашивал деловито: «Зиляк бар?»¹ и заглядывал во все чиялки. Балычков перетряхивал в них душистую ягоду, — не насыпано ли крупной лишь сверху, для виду («знаю я вас, шельмецов!»), — и потом начинал жестоко торговаться, постоянно путая все эти цены «унбиш-тин» и «зигирма-биш-тин» и пересыпая фразы уккоризненным «ай-хай-хай!»

Все смеялись.

Уходили продавщицы, и начиналась чистка ягод для варенья. На курносом лице Балычкова появлялись стальные очки с давно треснутыми стеклами, которые все «некогда было» новыми заменить; надевала очки и профессорша, и оба старые чистили ягоды так степенно, сосредоточенно и строго, точно совершали дело громадной важности. Иногда в чистке ягод принимала участие и Нона; чаще же она в такое время ложилась на ковре и молча глядела на бездонное, опрокинувшееся над взгорьями небо, изредка переводя взгляд на двух занятых стариков.

Размягчилось и цвело сердце; истлевала в глубинах души печаль, и грусть, иная, особенная, редкая, сладкой и жгучей истомой охватывала сердце.

Но прислаивалось к настроению Ноны и еще что-то особенное, специально относившееся к этим двум старикам: их стародавняя библейская идиличность, их простодушие, прекраснородушие, наивное приятие жизни, уже исчезающие из мира. Разве Нона родилась такую? Разве не размышляла она о жизни и в десять и в четырнадцать лет, тогда как эти не размышляли над жизнью до шестидесяти и до семидесяти, принимая ее такую, как она текла? Может быть, пройдет всего еще десяток лет — и эти старые навсегда исчезнут, истлеют, уйдут из жизни без возможности в ней когда-либо повториться; ведь Нона, сделавшись старой, будет совсем другая, гораздо более сложная и — менее примечательная. И чувствует Нона, что на все это надо смотреть зорко, запоминать; со всем этим так не хочется расставаться, ибо уходит оно навсегда.

¹ Ягоды есть.

Думает, думает Нона и то смеется, то взгляд увлажняется, смотрит она, как варит в тазу варенье Лев Григорьевич, как встряхивает над жаровней ягоды, ожесточенно выпячивая губы и бормоча, по-видимому, что-то гневное; от духоты он стащил с себя свою вечную кожаную куртку и остался в одной пестрой рубашке с диковинными по ней огурчиками и разводами; весь взмок от его усердия коленкор рубахи, и волосы его разметались по шее мокрыми косичками, а лицо такое благодное, несмотря на воркотню, такое умиленное, такое курносое...

«Ведь это же никогда более в жизни не повторится!» — опечаленно говорит себе Нона. — И этот рог охотничий, и усы седые, и смех жестяной, блеющий, и эта влюбленность в жизнь, эта яркая жизнерадостность, какой нет в душе шестнадцатилетней Ноны и не будет никогда.

«Все уходит это, все сменяется, проходит, надо смотреть без конца».

51

Бежали дни лета, и сдвигались месяцы, направляясь к осени: похолодала вода, — «олень искупался», — говорил Лев Григорьевич; зажелтели березки, цветы поотцвели, перестали петь птицы, и солнце мягче делалось, не так жгло, — словно устало за лето; а дни поднимались совсем необычные: ровные, безмятежные, исполненные спокойствия, от которого хотелось плакать.

И в девять утра, и в двенадцать, и в три температура стояла словно одинаковая; зато с сумерками сразу свежело, так быстро, что едва успевала Нона накинуть пальто.

Стали дни счетом отмериваться, — точно скупой лавочник конфеты отпускал, — близко было время, когда следовало начинать думать о городе, о жизни институтской; подступала пора, когда каждый день надлежало использовать весь, до донышка.

С августовской свежестью словно помолодела и профессорша. Притерпелась ли она к частым поездкам и тряске в экипажах, потянуло ли ее в степь забытыми за городскую жизнь желаниями или хотела она вдосталь «ублагодотворить напоследок» Ноночку, — только поездки стали чуть ли не ежедневными.

Причиной этому отчасти явилось и охватившее Нону пристрастие к рыбной ловле. Сначала она не уразумела в этом вкуса, найдя, по живости своей натуры, занятие это

скучным и неподвижным, затем как-то сразу втянулась; правда, на озерах и в речках было в те годы особенно много рыбы — карасей, окуней и ершей; в затоках Балычков и щук ловил, — только Ноне и Антимону, который был завзятым рыбаком, нравилось всего более удить ершей.

С раннего утра становилась подле Антимона со своей удочкой Нона, и начинался полдень, а она все стояла и наблюдала за поплавком неотступно, не слушая вздохов профессорши и приглашений Льва Григорьевича «покушать шашлычку».

Река, на которой она особенно любила ловить рыбу, была глубокая и быстрая; обрывистые берега хмурились над омутами, в которых водились ерши, и Анна Петровна сначала беспокоилась, как бы Нона не утонула.

Но бывали всегда при Ноне и Балычков и Антимон; не давалась ловля, — Лев Григорьевич принимался резать дудки из особой травы, которую он именовал «щевровкой»; вырезал дудки и свистел, свесив ноги на обрыве, а под обрывом у коряжки стояла Нона с удочкой и иногда напевала в такт балычовской свирели, к большому неудовольствию «серьезного рыбака» Антимона.

— Запела, вишь ты; запела... — ворчал он на Ноночку. — Поешь-то ты, поешь хорошо, да вот всю рыбу распугала: вон круги пошли. Не любит рыба пенья-то, совсем не любит. Попался однако-ти, — ершак здоровый, не хворый... Гы-ы-ы!

За суетливое лето изменилась до неузнаваемости Нона; и всегда-то она была смуглая, а теперь лицо, шея и руки у нее обгорели и стали коричневыми, точно из старой бронзы, в такой суете некогда по утрам и причесываться; разметались у Ноны ее волнистые волосы и висели беспкойными прядями вокруг всего лица, о городской шляпке она еще в мае забыла и теперь бегала в алом ситцевом платке, словно вновь преобразившаяся из институтки в простую башкирочку, словно только что вывезли ее из степей.

— То-то, Козочка, тебе товарки удивятся! — любила говорить профессорша на их пикниках. — Совсем ты стала башкирочкой, — и смуглая ты и чумазенькая, — зато кашель перестал.

Обыкновенно, когда выезжали они за ершами, профессоршу устраивали под деревьями, на ковре с подушками, а трое охотников, сведя в тень лошадей, спускались по об-

рывистому берегу к воде и там усаживались со своими удочками. Профессорша, однако, укладывалась так, чтобы всегда можно было, подняв голову, увидеть питомицу; для этого приходилось постоянно выбирать такие места, где деревья росли возле самого берега, чтобы лежавшей в тени профессорше было возможно легче следить за Ноной.

— Ах, тетя Аня, тетя Аничка! — говорила по возвращении домой с пикников Ноночка. — Так мне здесь радостно и так тебя я люблю. Только степи наши люблю еще больше, немного больше, — ты не сердись.

Один день в середине августа был особенно удачен для ловли: ершей набралось в том месте, где они удили, видимо-невидимо, и Нона еле успевала снимать с крючка покрытых слизью, ошетиленных, словно злых рыбок. Детская степная душа ее еще не ведала жалости; спокойно она снимала с крючка ершей, разрывая им рты, и спокойно насаживала на удочку извивающихся червей; она не думала, что это жестоко, — может быть, потому, что рыбы не кричали, и не думала над всем этим степная Амея.

Лев Григорьевич раз объяснил ей, что рыбы, вынутые из воды, «засыпают», и это сразу успокоило Ноночку. И теперь, глядя на полное ведерко наловленных ершей, где одни еще плавали в воде боком или вверх брюшком, а другие уже «уснули», она испытывала радостное чувство ловца, которому повезло на охоте.

— Смотри, сколько ершей, тетя Аничка! Какая будет уха... — крикнула она, поднимаясь по обрыву к прикурнувшей на подушках профессорше, но вздрогнула и чуть не сорвалась с берега в воду: в лесу грянул выстрел, и сейчас же промок затявкала собака.

— О! — крикнула и струхнувшая профессорша.

До этого времени еще ни разу не случалось, чтобы возле них стреляли, и обе перепугались.

— Лев Григорьевич! Лев Григорьевич!

Но и Балычков выглядел изумленным. Он только что показал над обрывом свой нос, как ухнул еще выстрел, — и он поспешил спрятать голову.

— Не стреляйте, здесь люди! — взвизгнул он, а Нона уже выскочила с обрыва на берег и снова закричала, всплеснув руками: прямо на нее, к берегу, катился серый живой комочек, катился, подпрыгивая и подскакивая, жалобно, словно по-детски, пища, — подкатился и упал Ноночке в ноги и перевернулся на спину и задрыгал лаяками.

— Зайчик!.. — Ночка залилась слезами. Она увидела на спине дергавшегося зайца кровь и крикнула еще раз: — О! О! — и склонилась над подстреленным зайцем, желая взять его на руки, и сейчас же умирающий зверек раскрыл рот и больно впился Ночке в палец.

— Ай! Ай! — вскрикнула Нона и присела. Светлые слезинки брызнули из ее глаз, и такие же слезинки текли по глазам умирающего зайца, челюсти его были судорожно сомкнуты, так что Нона не могла высвободить пальца.

— Лев Григорьевич! Лев Григорьевич! — беспомощно звала она. Но вместо сморщенного, старческого личика склонилось над нею молодое, розовое лицо с светло-серыми испуганными глазами. Двумя быстрыми движениями молодой человек сдавил зайцу челюсти, рот зайца раскрылся, и палец Ноны получил, наконец, свободу.

— О! О! Что же это?.. — обиженно закричала еще раз Нона, ощущая в пальце сильную боль.

— Я глубоко извиняюсь перед вами, сударыня, в своей невольной вине! — услышала она над собою голос.

52

Подняла голову. Прямо перед нею стояли: тетка Анна, Лев Григорьевич и незнакомый молодой человек, и у всех были сконфуженно-растроганные тревожные лица.

— Право, я никак не ожидал, что послужу причиной несчастья! — сказал молодой человек. — Этот противный заяц...

— Противный не заяц, а вы противный! — вдруг крикнула Нона то, что сидело у нее в душе, и, подняв палец вверх, помахала им и жалобно заплакала. — Как вам не совестно было зайчика убивать!

— Нона! — крикнула опаматовшаяся наконец профессорша. Лев Григорьевич был тоже смущен фразой Ноны, но он не нашел ничего лучшего, как загладить происшествие смехом.

— Хе-хе-хе! — забарабанил он.

— Я тысячи раз извиняюсь! — говорил меж тем молодой человек. — Уверяю вас, mademoiselle, я — в отчаяньи... Но прежде всего, — простите меня, — надо ранку перевязать...

— Да, да, да... — подтвердил Балычков и даже по лбу себя хлопнул. — Прежде всего надо ранку. Как не догадался я, старый дуралей. Но где взять спирту и ваты?

— Если позволите... — поспешно сказал молодой человек и раскрыв свой ягдташ... — У меня найдется все подходящее... Если разрешите...

— Конечно, конечно, давайте его сюда! — затараторил Лев Григорьевич. — Что это? Коньяк? Отлично, очень хорошо... А это — вата? Чудесно, восхитительно! Сейчас мы нашу бедненькую Козочку и забинтуем, — хе-хе! Дурак я, что ли, Иван Иванович?

Кубарем он скатился вниз с кофейником, вымыл руки и с живостью мальчика предстал перед Ноной на положении медика.

— Давай, давай, брат-Козочка! Время не терпит. — С удовольствием принялся он за свою операцию. Пока он промывал рану и выдавливал кровь, Нона искоса, рассерженным взглядом посматривала на незнакомца, явившегося причиной ее несчастья. И по мере того, как взгляд ее переходил на свернувшегося в неподвижный комок убитого зайца, в глазах ее все больше засвечивались гневные огоньки.

— Неужели вам не жалко было убить зайчика? — спросила она.

Молодой человек снял шляпу, обнаружив светлые, расчесанные на пробор волосы, снова улыбнулся через залившую лицо смущенность и ответил:

— Мне крайне совестно, что я так вас беспокоил, mademoiselle!

Слово «mademoiselle!» вдруг напомнило Ноне об институте и, попутно, о приличиях. Она вспыхнула, лицо ее затмилось, она опустила глаза и, вспомнив, что сейчас она растрепанная, инстинктивно подняла свободную руку к голове, чтобы поправить волосы. Еще поглядела Нона на молодого человека. Был он свежий, розовый, элегантный, в шведских перчатках, в сером охотничьем новеньком костюме с бесчисленным множеством карманов, в коротких брюках и желтых новеньких сапогах. — «Франт! — неприязненно окрестила его Нона и снова подумала: — А я-то здесь — вся загорелая, растрепалась...»

Когда немного поулеглись общие неловкость и смущение, молодой человек снял и перед профессоршей шляпу.

— Простите меня, madam, за причиненную беду вашей дочери, — сказал он, извинился еще раз и добавил: — Позвольте также назвать себя: Дорнбильд, Александр Евгеньевич! Дорнбильд, здешний помещик.

И сейчас же расцвело перепуганное лицо профессорши.

— Если вы сын Евгения Андреевича, то мой муж, профессор Захаров, имел честь...

— Евгений Андреевич — мой отец, — быстро сказал молодой человек и почему-то перевел глаза на Ноночку. — А род Захаровых нам, несомненно, известен очень хорошо.

Известность рода очень польстила профессорше.

— Хотя мы и не имели доселе удовольствия знать друг друга, — проговорила она по-французски, — но несчастная случайность... сведшая нас... — Она сконфузилась. — Одним словом, меня зовут Анной Петровной, а это — Ноночка, моя приемная дочь.

Внезапно в разговор вмешался Балычков.

— Башкирочка Козочка, крещеная башкирочка. Хе-хе! — брякнул он, и молодой человек мягко поднял брови, а Нона вспыхнула, и впервые ей почему-то показалось, что быть башкиркой — стыдно. Но сейчас же она, точно устыдившись своей мысли, гордо подняла голову и бросила дерзко:

— Да, башкирка, дочь простого башкира, принятая на воспитание.

— Ноночка! — вскрикнула ошалевшая профессорша. — Зачем ты так говоришь? Разве ты мне не дочь? Разве я не веду дело о твоём удочерении и передаче фамилии?.. Разве я...

— Я пойду удить! — прервала ее Нона и поднялась. Поднялся и молодой человек.

— Во всяком случае, прошу вас позволить мне иметь честь приехать к вам, осведомиться о вашем здоровье! — мягко сказал он и повернулся к Анне Петровне. — Считаю себя глубоко виновным...

— Да, пожалуйста, заезжайте. Мы живем в именье... — Конца речи профессорши Нона не дослушала. Она спускалась по обрыву вниз к реке, цепляясь за кустики, потом вспомнила про убитого зайца, повернулась к берегу, и полный презрения взгляд ее встретился со взглядом Дорнбильда.

— Вы, mademoiselle, упрекнули меня за этого зверька! — мягко сказал он и улыбнулся. Он улыбнулся вдумчиво, осторожно и привлекательно, — это заметила даже рассерженная Ноночка. — А ведь рыбная ловля... если позволите сказать... ведь она ничуть не менее жестока, чем охота!

— Что за глупости! — крикнула вспыхнувшая Нона и стала спускаться. В душе, однако, она впервые почувствовала смущение. Словно был прав этот молодой человек, так некстати явившийся... улыбавшийся так привлекательно и мягко.

А наверху профессорша говорила по-французски:

— Она немного дика и своеобразна, но это — золотое дитя. И вас я прошу заглянуть к нам, monsieur Дорнбильд.

53

Нона кормила своего волчонка, когда в воротах их дома зазвенели колокольцы. Она инстинктом догадалась, что это приехал «вчерашний» молодой человек и, пролив в поспешности на голову волчонка все молоко, опрометью бросилась в свою комнату. Сейчас же она заперлась на ключ и присела в уголке, осторожно, как зверек, поводя глазами.

Как думала Нона, так и оказалось: приехал в самом деле Дорнбильд. Он шел по двору в отличном сером визитном костюме и нес в руке, конечно, для тетки, большой букет чайных роз. Нона увидела все это из своего углового окна и задохнулась. Как обрадуется тетка розам! Да, как обрадуется... Она так любит цветы. Молодой человек ей не нравился. «В деревне — и так франтит. Шут накрахмаленный!» — решила она.

В дверь ее комнаты стучались.

— Кто там? — свежий ее голос прозвучал сердито.

— Выйди же, Козочка: приехал Александр Евгеньевич! — говорила профессорша, стуча в дверь.

— Я не выйду, тетя: он приехал к тебе.

— Но я прошу тебя, Нона...

— Не выйду.

— Mais c'est... Это же невозможно, Ноночка! Что он подумает?..

Молчание.

— Он приехал осведомиться о твоём здоровье и привез так много цветов, а ты...

Молчание.

Вздыхает за дверью профессорша. Ворчит и вздыхает. — «Вот упрямец!» — Стучит кулаками в дверь. Наконец, шаркающие шаги стихли. Ушла.

«Так я и не выйду! — говорит Ноночка. — И сегодня не выйду, и завтра... пока не уедет».

Появляется другой парламентар. Как и надо от него ожидать, он является не через дверь, а в окно. Неслышно открывает он раму и садится верхом на подоконнике. Ухмыляется седая, курносая рожица с охотничьими усами.

— Каков букет, Козочка! Рублей пятьдесят! Из собственной оранжереи, кучер сказывал.

Нельзя не улыбнуться на эту утлую фигурку. Как всегда, Лев Григорьевич говорит не о главном, а о второстепенном, и, однако, второстепенное выходит главным.

— Красивые розы? — с интересом осведомляется Ноночка.

— Красивые!

— Какие? Желтые? Пунцовые?

— Все белые, как гагачий пух!

— Коли белые, — не выйду.

— Да там, может, еще и зеленые, и фиолетовые, — объясняет Балычков и хитро смеется. — Может, и бриллиантовые: надо посмотреть. Я тебя, брат-Козочка, так проведу, что они и не заметят: они сидят за чаем в столовой, а розы — в гостиной. Посмотришь — и дергача к себе задашь, хе-хе... Вместе удерем!

— А вы не обманываете?

— Дурак я тебе, Иван Иванович!

— В таком случае, я посмотрю... — Нона тоже вылезает через окно и, взявшись за руки, они осторожно крадутся к гостиной, где перед ними внезапно вырастают две улыбающиеся, притаившиеся у стенки фигуры: тетка и Дорнбильт.

— Хе-е-е! — дребезжит балычковский смех.

Назад нельзя. Нона угрюмо сдвигает брови, но остается и здоровается.

— Бе-е! — козлит появившийся в окне Лев Григорьевич.

Морщинка над бровями Ноны разглаживается.

— Вот сумасшедший!

— Поправилась ли ваша рука, mademoiselle? — мягко спрашивает Дорнбильт.

— Поправилась! — сердито отвечает Нона.

— Тебе сколько кусков сахара, Ноночка!

— Три!

— Какая дивная погода, mademoiselle!

— Да.

— Вы любите гулять? Или кататься?

— Нет.

— Может быть, вы скучаете по институту?

— Не скучаю.

Постепенно затягивается Нона сетью маленьких, несложных, но хитрых вопросов в разговор.

— Бе-е! — блеет, подмигивая, во дворе Балычков.

— Надеюсь, вы извините мое появление, mademoiselle? — негромко говорит Дорнбильд и ласково улыбается. — Но я серьезно обеспокоен своей невольной виной... Притом же, вы так приковываете внимание...

— Это я приковываю внимание? — переспрашивает Нона угрюмо.

— Да, вы, — просто подтверждает Дорнбильд. — Именно вы, и своим своеобразием.

— Это я-то своеобразием? — Нона сердито краснеет и взглядывает на профессоршу.

— Каким своеобразием?

— Вы совсем не похожи на обычных наших девушек и барышень... — Его низкий голос звучит искренне и просто, и как-то становится нестыдно и непротивно слушать его прямые, мерно идущие слова.

— Потому непохожа, что я — башкирка... простая башкирка! — еще с оттенком недоброжелательства в голосе говорит Нона, но в дело снова вмешивается профессорша:

— Козочка! Побойся бога! — вздыхает она. — Ну, какая ты башкирка, когда окрещена и воспитана мною, и будешь мною удочерена, и...

— И все-таки я башкирка!

— Бе-бе-бек! — блеет, проходя мимо окна, курносый человек. Бебекает он чуть слышно, так, чтобы заметила это одна лишь Ноночка, а другие чтоб не слышали; когда же он видит, что профессорша и Дорнбильд смотрят на него, то не издает никаких звуков и только шлепает губами. И это так смешно!..

Смотрит Нона: какое солнце ясное! Как дрожит где-то за окном пение золотого птичьего голоска! Как пахнут розы, и Балычков там ходит, милый и старенький, и в светлых глазах этого молодого так смутно тлеют искорки вездесущего солнца.

— Ах! — радостно говорит Нона и вдруг заливается слезами, ясными, как солнце и день осенний вызолоченный, чистыми, как чист незатейливый мотив поющей в небе птицы.

— Что такое? Что с тобою, Козочка! — Над ее головой склоняется сморщенное лицо с лучеобразными морщинками около глаз, и тут же рядом — лицо свежее, как ветер лета.

— Это ничего! Это я с ничего! — счастливо объясняет она и вдруг, застав себя на том, что радостно улыбается, вскакивает и убегает из комнаты.

Ничего больше в том дне не помнит Нона.

Внезапно ночью просыпается и думает. Да вот, был белокурый человек с светло-серыми глазами. Зачем он был? К кому приехал? — Ну, конечно, к тетке, к профессорше, — не к ней. Он такой воспитанный, такой элегантный, что в сравнении с ним все они — деревенские, даже тетка Анна Петровна, — не то что уж Балычков.

Когда он сделал, во время его визита, за окном, «бе-бег», стало Ноне немного совестно за этого курносого, седого человечка. Он хороший, он славный, но он такой смешной! Он какой-то, когда сидит этот Дорнбильд, словно... неподходящий!

И сейчас же вновь краснеет Нона уже за себя. Совестно, что она так отказывается от милого, милого Льва Григорьевича только потому, что приехал накрахмаленный фронт.

— Он славный, он чудесный, он — седеенький! — восхищенно твердит она себе и садится на постели. — У него золотое сердце, он...

— О ком это ты говоришь, Ноночка? — сонным голосом спрашивает профессорша, и Нона вспыхивает: она, значит, громко рассуждала во сне.

— Кто это такой славный и чудесный! — В заспанный голос профессорши прокрадывается игривость. — Ох, молодость, молодость, — вздыхает она.

— Да я, тетечка, вовсе не... — обиженно вскрикивает Нона и даже поднимается с постели. — Ты не думай, тетя Аничка. Я...

— Да завтра уж разберем, — засыпая, бормочет Анна Петровна, — а теперь ты — спи!

«Во все же я не о нем: я о Льве Григорьевиче! — с азартом уверяет себя Нона — Очень мне этого нужно. Я о Балычкове говорю».

Ложится и продолжает думать о странном, смешном человеке с охотничьими усами.

«Такой он старенький, такой седенький. Вот у тетки Ани есть дом, красивые вещи, друзья... А что есть у этого Льва Григорьевича? Он один, как... камешек в траве, как крохотный в траве, старенький камешек. Никому не нужный, он скоро умрет, и его все забудут, а такой он милый, такой незаменяемый в этой жизни, такой приспособленный».

«Жалко будет, если он умрет... — продолжает раздумывать Нона и качает головою. — Ему трудно будет уходить из жизни: он так влюблен в нее, так влюблен. Но отчего думается все о смерти? Разве то, что он — седенький, — есть конец? Отчего так жалко его, точно никогда больше она его не увидит; точно кончится лето и Бальчков кончится; точно живет он, как бабочка седая, усатенькая — лето и день, — а там его не увидишь более никогда».

«Отчего мне так жалко его, точно я его больше никогда не увижу?»

Но увидела его Нона, когда стала вновь — Амея.

54

А время все бежит, все бежит. Вот и каникулы кончились, и снова к крыльцу деревенского дома подан тарантас, и Антимон, подвыпивший, сидит на козлах, — точно и не была Нона с профессоршей в деревне, точно только что вышли они на крыльцо городского дома, чтобы уехать в степи.

Но есть и непохожее на прежнее: тогда не было ни того седого курносого человечка с охотничьими усами, ни этого светловолосого, элегантного, почтительного, чьи глаза смотрят так осторожно и тонко. Собственно говоря, он — чужой, и ему незачем быть здесь при отъезде, но улыбается он так вдумчиво и привлекательно, что Нона не сердится.

— Надеюсь, вы позволите мне иметь честь сделать вам визит и в городе? — говорит он Анне Петровне, но неприметно взглядывает на Нону.

— Конечно, конечно, я буду очень рада, — отвечает профессорша и тоже почему-то взглядывает на Нону. — А вы долго еще пробудете в деревне? Ведь вы предполагали...

Непонятно Ноночке, почему вдруг покраснел этот спокойный, благовоспитанный человек.

— Да, я предполагал пробыть еще две недели, — отвечает он, — но, вероятно, придется прожить здесь месяц... —

Он чувствует, что говорит неверно, и смущается еще больше, и Нона тоже сознает, что он для чего-то солгал, и ей кажется, что лицо Дорнбильда увяло и постарело. И день серый, и облака серые, и все.

— А может быть, я приеду и очень скоро! — объясняет Дорнбильд тут же и, склонившись, целует руку профессорши. — Я вас, mademoiselle, очень прошу не помнить о несчастном случае, который...

— Вот уж не вспомню! — уверенно говорит Ноночка и обращается к Балычкову: — А без вас, Лев Григорьевич, мне будет скучно! Поедемте с нами, милый, милый старичок!

— Нет, нет! — Балычков хмурится и дергает себя за седые усы. — Оно, конечно, жить у вас мне приятнее... Приятнее! — повторяет он, и губы уже складываются в знакомую улыбку, за которой должен бы последовать смех, но лицо остается суровым и озабоченным. — Никак нельзя, брат-Козочка: я обещал приятелю осенью на Кавказе побывать. Хотим, друг мой, кукурузу сеять. Кукуруза — это, брат-Козочка, моя давнишняя мечта!

Теперь ясно становится Ноночке, почему день серый: она расстается с милым, чудесным Львом Григорьевичем. Еще и раньше, среди поездок и пикников, проскальзывали в разговорах у Балычкова мимолетные фразы, что «с осени на Кавказ», но так не думалось о предстоящей разлуке, — и вот время пришло.

«Милый мой, милый, милый и старенький!» — шепчет Нона чуть слышно.

Еще утром были увязаны узелки и сумочки неугомонного охотника. И ворчал он, и усами дергал, и словно впервые был за все время не в духе, — однако, когда прочистил свое неподражаемое ружье, на губах завертелась песенка: проснулась бродячая натура, как ни жалко было оставлять «двух славненьких», — все же свобода звала ошутимее; вспомнились скитания охотничьи, бездомные, жары и холода, и голод, и опасности, — расцвела душа курносого человечка, влюбленного в жизнь.

— И не знаю, брат-Козочка, с чего это меня всюду тянет, — сказал он Ноне за чаем. — Уж и житье спокойное, и обе вы пречудесные, — да вот — прошло три месяца, — и снова старого черта по омутьям потянуло...

Всплакнула даже Нона: до того было жалко, что Балычков уходит.

— Теперь и время вам учебное! — проговорил еще Лев Григорьевич. — Летом еще туда-сюда, а осенью и зимой что вам со старым цыганом валандаться: в городе и люди ученые, и обхождение благородное, и все...

— Ну как же вам не стыдно! — гневно упрекнула его Нона. — Как вам не стыдно! Да чтобы... я... Вас! На кого другого!..

— Весною, дружок, снова увидимся! — примирительно объяснил Балычков. — Приезжайте-ка сюда на следующую весну: мигнуть не успеете, как я к вам заявлюсь. А теперь, ласточка, забота: на Кавказ надо, — ничего не поделаешь.

— Но ведь и на Кавказ вам надобно через город! — попыталась еще сказать Нона, но Лев Григорьевич сощурил глаза и замахал руками.

— Чтоб я стал вашими чугунами пользоваться! — закричал он презрительно, и лицо его побурело от негодования. — Костоломками?.. Паровозками? — Нет, дурак я, что ли, Иван Иванович. Чай, у меня ноги-то свои, — на ногах и дойду.

— Так на Кавказ и пойдете?

— На ногах, — хе-хе... И попутчик у меня тут наклеывается. Полячок, старенький, неугомонный такой. Все меня он-то и подбивает: «пойдем, да пойдем скорее». Теперь, друг-Козочка, осенью в степи — лафа. Не жарко, не валко, дичи — прорва, оглянуться не успеешь, как на Кавказе будем. Погибельный Кавказ, это не фунт стерлингов, — хе-хе!

Тем и кончились уговоры Ноны. Поехали они, а через час со своим «полячком» отправился на «погибельный» и Лев Григорьевич.

55

Первые городские дни протекли смутно и отдаленно. Ненастоящей показалась городская жизнь. Жизнь многокрасочная, жизнь многогранная вдруг обернулась изнанкой — серой, чужой и стертой.

Городской дом был удобнее деревенского, но казался теперь заставленным глупыми вещами и скучными. Нона ходила по комнатам, не узнавала ничего, хотя все было зна-

комое, и с печалью думала о том, что здесь нет степного приволья, что облетают и блекнут листья в яблоневом саду, — да и сам сад после гор и степей казался таким куцым и маленьким.

Уходили в прошлое бескрайные, степные просторы, приближался снова казенный институт.

А в институт пришлось отправляться скоро — уж на четвертый день. И без того Нона опоздала на две недели; профессорша думала, что ее встретят выговором, но тамап почти и внимания не обратила на Нону. Не то болели у начальницы зубы, не то случилось еще что-то, более неприятное, — только брови ее не были так поразительно черны, как раньше, и шелковые юбки шуршали не так величественно.

— А, вы уже приехали, — апатично сказала она Ноне, точно та явилась даже ранее срока, и сейчас же ушла к себе. Что-то равнодушное примечалось даже в поступи тамап; Нона поглядела ей в спину с острым вниманием.

Как после узнала Нона, с таким же равнодушием относились и вообще ко всем вырастающим питомцам, достигавшим возраста невесты. Стукнуло шестнадцать лет, приближалось время замужества, — и основная цель институтского воспитания завершалась благополучно: благородная девушка пристраивалась — выходила замуж.

Сейчас же по приезде обступили Нону прежние, теперь уже хорошо знакомые подруги, и среди них была все такая же сонная киргизка Хуршит. Краснощекая толстушка Носильчикова стала за лето еще толще и встретила Нону вопросом: завела ли она себе жениха?

— Ты теперь совсем уж невеста! — ответила она на изумленный взгляд Ноны. — Каждая порядочная девица должна иметь свой «предмет», по котором надо вздыхать. А я так завела себе за лето сразу троих, и все подпоручики, — а один — в золотых очках!

— Я вот степи люблю! — печально и отдельно проговорила Нона и опять так же, как раньше, Носильчикова рассмеялась и повторила:

— Степи! Какие у тебя желания глупые!

— Нет, в степях хорошо: там просторно! — заступилась за степи Нона, и щеки ее опалило жаром. — Там и люди иные, Носильчикова, — простые, сердечные. Я так полюбила одного... его звали Лев Григорьевич.

— А сколько ему лет?

— Лет пятьдесят, а то семьдесят...

Ответ Ноны потонул в презрительном смехе подруги.

— Нет, ты же сумасшедшая! — хохоча во все горло, кричала она. — Семьдесят лет! Из этих семидесяти можно отлично выкроить троих.

— Скажи, а ты тоже видела степи? — среди ночи спросила Нона спавшую с ней рядом Хуршит Шолдиярову.

Долго не могла понять вопроса заспавшаяся киргизка, — наконец ответила:

— Нет, не ездила. Отец болен, мать на работе, некому было приехать, поэтому.

— Где же ты провела лето?

— Да тут же, в институте.

— В городе?

— Конечно, в городе. Почему не в городе? Еды здесь больше, чем дома, — была довольна. Поэтому никто не мешал, — и жила. А в степях — бедно.

— Нет, ты говоришь неверно! — как раньше, закричала Нона и отошла. — Ты лжешь: степи прекрасны, они вольны и бесконечны, и так в них хорошо.

— Влюбилась ты, — поэтому, — проговорила киргизка, а Нона от этих незначительных, коротких и сонных слов вдруг вспыхнула и смешалась, и почему-то сейчас же на холодной стене дортуара нарисовались спокойные светло-серые глаза.

— Что это? Что? — беспомощно шептала она и растерянно оглядывалась по сторонам. — Почему влюбилась? В кого? Кто сказал? Точно искра мелькнула в этих серых глазах, — мелькнула и погасла.

Стояло серое ночное молчание. Слабо вздыхали во сне сонные институтки. Вот кто-то поднялся и пошел. Кто? — Нона всматривается: Носильчикова? Куда это она пошла? Куда идет так осторожно, крадучись?.. Иона, Нона, «влюблена?» В этого, — Дорнбильда?.. Нет, нет, она любит только одного Льва Григорьевича, да еще тетку Аню. Больше никого. Исяна еще любит и Искака... Искака? — этого сурового, рябого, угрюмого, который всегда указывал черным пальцем — в степи! Который раз отозвался о ней презрительно? Который забыл ее? Почему в голову пришла мысль об Искаке? — «Да, ты убежала от степи, — а степь найдет. Она найдет тебя, строгая, немилующая; не отпускает она тех, кто раз ее увидал. Тебя увезли от степи, а ты при-

бежала к ней; ты вновь вдохнула в себя голоса ее трав и дыхание гор; вновь, уже возросшая, обвеялась ее солнцем, звенящим, гремучим, немилостивым; и снова степь позовет тебя к себе, как бы ты ни бежала от нее, как ни стремилась бы скрыться.

«Позовет снова, — и — и ты придешь».

Стоит огромное немое подтверждающее молчание.

«Стрела батыра поражала в небе орла, конь джигита обгонял бег лисицы. Где орлы, где лисы, дарившие шкуры на зимний бешмет? Почему даже беркуты скрылись в небе, и один филин плачет в вырубленных лесах?»

«Как жили, какие стада водили! — угрюмо рвет молчание ночи железный голос Искака. — Все было наше в степи, все было! Где вы, батыры, где батыры? — Ушли все, все до единого! И все уходят, все!.. Все бегут?..» — Жалобно, точно плача, реет перед глазами бледный степной ковыль.

«Я же приду к вам, непременно приду!» — всхлипывая, шепчет во сне Нона. — «Я всех брошу: и тетю Аню, и Льва Григорьевича, и его... всех брошу — и к вам приду».

56

В одно из воскресений, во время завтрака, в столовую неожиданно заявила сама начальница и прямо подошла к Ноне.

— К вам тетушка пришла, mademoiselle, — особенным, озабоченным голосом сказала она и для чего-то оправила Ноне пелерину. — И внезапно тайное, неясное смущение захватило душу Ноны. Стало страшно. Отчего — она не знала. Но привступало в жизнь что-то новое, еще не бывшее никогда; и не знала она, что это, и не догадывалась, но сердце ее вдруг дрогнуло и сжалось, и когда вновь подошла к ней начальница и проговорила:

— Вы что же? К вам тетя пришла, идите! — Жалобно вздохнула Нона и вспыхнула, и вокруг нее двинулись изумившиеся, настороженные лица. Поднялась Нона, — и вслед ей раздался сдержанный смех; побежала — и смех сделался громче, и самое странное было в том, что никто ничего никому не объяснял, и было все, по видимости, заурядное, — а вдруг без слов стало всем ясно новое, отныне определявшее жизнь Ноны.

С пылающими щеками она шла по коридору и все еще не понимала вполне совершившегося; но дрожала в ней душа предчувствующая, что-то осознавшая,— должна была жизнь прежняя сломиться,— начиналась новая, неизвестная жизнь.

— Я же говорю вам: справьтесь! — раздалось за ней шипение начальницы.

Чуть было не крикнула ей Нона в лицо что-то дерзкое, но раскрылась дверь,— и сразу ей стали ясны тревога и страх, что вдруг зародились в сердце в момент появления начальницы: в приемной, подле улыбающейся Анны Петровны, стоял Дорнбильд.

Кровь мгновенно схлынула с лица Ноны. Она вздохнула, пошатнулась, взмахнула беспомощно левой рукой, глаза сощурились и выражение внезапного бешенства вспыхнуло в зрачках.

— А-а,— протяжно сказала она и вдруг засмеялась.— Ты, тетя, пришла... и он...— Нона огляделась, увидела, что лица тетки, начальницы и Дорнбильда тоже побледнели, и бешенство еще больше сдавило грудь.— И он пришел?.. Зачем... Он?..

— Я, я думал...— растерянно проговорил Дорнбильд, и в руках его Нона увидела громадную коробку с конфетами.

— А! — крикнула она уже дико и пронзительно и, прежде чем Дорнбильд успел опомниться, выхватила из его рук коробку, швырнула ее на пол и стала топтать ногами.

— Я не звала вас! Я никого не хочу! Убирайтесь! — закричала она, еще слыша взвизгивания старой профессорши, еще видя, как беспомощно скатились с носа начальницы очки. И сейчас же она с обиженным рыданием побежала по коридору вверх, забилась в угол дортуара, сорвала, с какой-то постели подушку и, уткнувшись в нее, начала плакать сдавленными, горькими, оскорбленными слезами.

А внизу, в приемной, бедную тетю Аню оттирали одеколоном, и окаменевшая Мапап стояла с разбитыми очками в руках, а Дорнбильд говорил дамам, стараясь их успокоить:

— Да ничего же, ничего... Я сам понимаю, что мое появление в институте бестактно... Это же совсем иная натура, ее надо понимать.

— А по-моему, — просто дикая девчонка! — заговорила, наконец, опамятававшаяся начальница. — Вот что значит степная природа и неученье — тьма... Я предлагаю в виде меры исправления лишить ее отпуска на рождество.

— Ах, ах! — вздыхала и растерянная профессорша. — Нет, как же это можно, как можно! Уж вы простите ее... и вы тоже... — Она теребила сконфуженного Дорнбильда за рукав и гладила его по ладони и, поглядывая на бесформенное шоколадное месиво на полу, шептала:

— Совсем она еще дикая, совсем дикарка! Вы ее простите.

57

О «прискорбном случае» говорили мало, потому что никто не был свидетелем его, кроме начальницы, а Шапап очень берегла репутацию своего заведения.

— Я вас прежде всего приглашаю к молчанию! — строго говорила она Ноне на другой день после инцидента. — Вы оскорбили своей бестактностью весьма уважаемое в городе лицо, сына весьма почтенного, хотя и покойного, администратора, и самое лучшее, если вы постараетесь хранить о своем подвиге молчание. — Оно, конечно, и для вас безвыгодно разглашать сведения о вашей некорректности, — внушала она Ноне на третий день. — Согласитесь, что так оскорбить молодого человека из хорошей семьи, в реванш за его любезность, может только девица с весьма грубыми чувствами, и я предложила бы даже покинуть мое заведение, если б ваша родственница меня не умолила.

Нона слушала и молчала. Прошло уже три дня со времени несчастного визита, и она все думала об этом, но не могла выяснить себе, почему так поступила, почему ей показалось обидным и оскорбительным, что в институт явился чужой мужчина. Если бы явился Лев Григорьевич, — как бы она отнеслась к нему? Сомнения не было: она бросилась бы к нему на шею, целовала бы его, смеялась бы или плакала, но радовалась бы — это несомненно. Стало быть, дело было не в том, что пришел мужчина, а в том, что пришел мужчина чужой. — Впрочем, и Балычков ведь тоже не родственник и был известен Ноне всего три месяца. Все было в том, что пришел молодой мужчина, и не только молодой, но такой... которого... Сдавливает Нона себе холодными пальцами виски и напряженно думает, сидя среди ночи на кровати. — Который... которого все счи-

тают ее женихом. Женихом!.. Вот в чем отгадка! Оскорбило ее то, что Дорнбильд явился к ней как бы женихом; все жила она, как раньше, со своими мыслями; и вдруг эти мысли кто-то захотел опрокинуть; попытался кто-то повернуть эти мысли туда, куда раньше они совсем не шли, — совсем в обратную сторону, совсем в иную... Обо всем этом никогда раньше и не думала она.

«Разве я говорила ему, что он — мой жених? Кто дал ему право? Как смел?» — уже громче спрашивает Нона.

Болят голова. Новые мысли плывут и ширятся, и от этого кажется, что в голове пересыпаются камни... Ляжет на левый бок, — начинает болеть сердце; лечь на спину, — ломит затылок; самое лучшее — улечься на живот, но так становится душно, так трудно переводить дыхание, и грудь согревается, покрываясь испариной. — «Нет, как смел он подумать, что он — мой жених!»

«Жених? Что это такое? — продолжает раздумывать Нона и сердится, что занята глупостями и не может заснуть. — Жених — это тот, который женится, который женится на женщине и который любит. Как женится и как любит — это непонятно, но несомненно: который любит. Этак все говорят: жених — это мужчина, который попросил руки у девушки. Потом жених делается мужем, а девушка женою. Потом у них родятся дети...» — Начинает краснеть Нона, и самой не ясно, почему. Сердится, вспоминает. — Хорош, явился с конфетами! Как она топтала их! Она, может быть, так растоптала бы и его самого, если б он в это время лежал на полу. Тоже, принес конфет! Как смел? Кто просил? Оттого, что она летом иногда с ним разговаривала? Дурак! Накрахмаленный шут!

Нет, совсем нельзя лежать под этим одеялом: оно колет, и от него чешется тело. Как сердце вздрагивает! Какая горячая стала грудь! И до шеи нельзя дотронуться, и бьется на виске жилка, и губы... Странно, отчего губы чешутся? Ведь их не касалось одеяло? — Нона трет губы пальцами, а они еще более разгораются, точно сейчас вскочит на губе прыщик, как бывало иногда при лихорадке... Какая лихорадка? С чего? С того, что Дорнбильд приехал с конфетами? Вообразить только, какую кашу сделали в его коробке Ночникины баишаки! И однако ламповщик это месиво съел. Ел да похваливал! Ха-ха-ха!

Нет, что он в самом деле думал? На что рассчитывал, являясь с теткой в институт? Что Нона ему обрадуется?

Что будет есть его конфеты? Как бы не так. Если его увижу,— непременно скажу: ваши конфеты съел буфетчик Трифон. Так ему и написать: «Ваш шоколад съел буфетчик Трифон!» Ха-ха-ха!

Однако не смешно. Скорее — досадно. Четыре часа,— и все о шоколаде, о Трифоне, о нем... Зачем о нем? Разве он нужен? Он, этот накрахмаленный? Ей, Ночке?..

Брезжится утро. Все спят. Вдыхает кто-то в конце дортуара. Вот заговорили... Ну еще... Что видят во сне они? Неужели этакое? Тоже женихов? Да, вероятно. А вот Ноне женихов не нужно.

Медленно встает с постели и идет к зеркалу Нона. Со стекла при свете угасающей лампы глядит на нее матово-бледное лицо, с глазами черными, волшебными, пугливыми, сказочными, опущенными тенью ресниц. Алый, свежий, немного капризный рот улыбается, блистая мелкими зубами; темные, как крыло степного ворона, волосы; темные брови сдвинулись, словно в истоме; тмится отсветами живая бронза лица. Выпуклая округлость груди тлеет под ночью сорочкой; стыдливым жестом скрадывает ее смуглая, тронутая мускулами рука... Неужели это Нона? Когда она выросла? Неужели вырасти,— это судьба всех?

— Дурочка ты, дурочка, дурочка! — вдруг раздается над нею.— Да, ты выросла, ты большая! Хочешь, я задущу тебя?

Пугливо отходит к своей кровати Нона; смеющееся лицо Носильчиковой придвигается к ней, блистая влажными от сна глазами, горячие руки сплетают ее шею и талию.

— Пусти же, ты с ума сошла, ты!..

— Ах, я так бы хотела выйти замуж! — шепчет Носильчикова и отходит.

«Я же хочу любить тебя, я хочу любить тебя! — говорит над ухом Ноны мягкий, взволнованный голос. Светлые глаза искрятся притаенно, улыбается чужой, непохожий, усталый и торжествующий рот. Мягкие усы темнеют, как завитые шелковинки.— Я хотел видеть тебя, а ты не взглянула; хотел любить тебя, а ты прогнала меня. Но я возьму тебя силою,— вот, вот!»

— Пусти же, пустите меня! — кричит Нона беспомощно.— Носильчикова, зачем ты здесь? Отойди!

— Я так хотела бы выйти замуж! — говорит Носильчикова и отходит.

Засиял огнями давно затихший старый дом.

Словно былым блеском зажегся в декабрьские праздники уединенный особняк профессорши: с мебели сдернуты чехлы, в рамках вымыли стекла, полотеры начистили паркет, как зеркало, и запылали в старых бронзовых люстрах столетние вызолоченные свечи.

Молодая жизнь заменяла стихшую старую; вместо старческого шепота зазвенел в домѣ смех весенний; и все это сначала было сделано против воли Ноночки, а потом затянуло своею большущею радостью и ее.

Как ни неудачен был институтский визит Дорнбильда, все же он заставил профессоршу задуматься. Подросла Нона, становилась невестой,— из песни слова не выкинешь, судьбы не переспоришь,— следовало только встретить судьбу так, чтобы обернулась она своею золотой стороной.

Понемногу начала заговаривать Анна Петровна о подругах Ноны.

— Вот, ты никого не зовешь к себе, Ноночка, а ведь иные — бедные,— хитро говорила она.— Иным негде и повеселиться на праздниках, а у нас просторно.

Неохотно, но согласилась Нона пригласить на рождество к себе в гости подруг. Радостно позвала она только одну — киргизку Хуршит, а там пришлось пригласить и Брыкину, и от Носильчиковой нельзя было отвязаться,— в конце концов на первый же день праздников вместе с Ноной прибыло в дом профессорши еще шестеро, и Анна Петровна была довольна.

Всех устроили по паре в комнате, и профессорша с большой радостью вытаскивала из сундуков подушки и одеяла, вынимала из комода слежавшееся белье и давала каждой гостье по свечке и коробку спичек, убедительно прося «пожара не причинить».

Вместе с молодыми влетели в дом и шум, и суетня. Многие умели играть на рояле, и пришлось пригласить настройщика; иные пели, а уж танцевали, разумеется, решительно все.

Улыбалась профессорша своей маленькой хитрости; конечно, хлопотно было с «оравой молодежи», но ведь все делалось для Ноны, которая стала невестой. Теперь можно было пригласить и офицеров, и чиновников, можно было устроить и танцевальный вечерок, а то и настоящий бал, на который следовало созвать и давно забытых друзей.

«Лучше Дорнбильда, конечно, и не найти,— рассуждала наедине профессорша и поматывала головою.— Конечно, Нона с характером, но с его тактом и воспитанностью вышла бы чудесная пара... Ведь он тогда не обиделся, он понял».

Запел и завертелся старый оглохший дом. Днем в нем спали до сумерек, а с сумерками поднимались; зажигали свечи в старинных бра, гремела музыка, и на старом паркете, слыхавшем менуэты и полонезы, танцевали веселые пары новейшие вальсы.

Танцы снова захватили Нону. Нужды не было, что приходилось танцевать с мужчинами: если закрыть глаза, можно было думать, что танцуешь одна, а музыка веяла над всем, как степь беспредельная, как степь властная, как степь неотразимая.

Еще в институте безудержно отдавалась танцам страстная степная натура Ноны; теперь же в центре всего была она; ей все говорили, что она красивая; она знала, что все вокруг — эти стены, портреты, вещи, даже музыканты и танцоры,— как бы принадлежит ей, то есть тете Аничке и ей, Ноне, ей, шестнадцатилетней темноглазой Ноне, у которой губы красны, как вишни ее далеких гор.

— Тетечка, как хорошо жить! — бледная от усталости, от музыки, от заливавшего всю ее счастья, шептала она, падая в кресло подле улыбавшейся старухи.— Как хорошо жить на свете!

— То ли еще будет! — вздыхая от воспоминаний прошлого, перемещаясь душою в настоящее, отвечала профессорша.

— Неужели может быть еще лучше? — спрашивала Нона.

— Да, может...— Тихо веет в молчании ночи дрожащий старческий голос...— Так может, Козочка, быть в жизни хорошо!— Они уже одни, танцы кончились, гости ушли, и со стен глядят дивные портреты улыбающихся женщин.— Так было всегда и будет.

Смотрит на портреты смеющаяся Ноночка и радуется и не чувствует боли. Ведь и те, нарисованные, когда-то жили, когда-то радовались и ждали счастья! Не больно и от того, что подле — сморщенная, с отжившим личиком старуха. Она такая примиренная, она вся в настоящем, а сейчас — только радость, только очарование, только восторг.

Чуть улыбается во сне Нона. Радость жизни переполняет ее.

59

На одном из балов было в особенности весело. Тетка нарочно не предупредила Нону, что приедут ряженые, и когда среди гостей вдруг завертелись черкесы, турки, испанцы, гренадеры,— радости Ноны не было конца. Она уже не разбирала с кем танцует; она клала свою руку одинаково охотно и на плечо страшного турка, и стройного испанца, и одинаково радостно кружилась в вальсе как с черным Мефистофелем, так и с изящным Фаустом.

Но случилось и неожиданное: среди гостей оказался Дорнбильд.

Он не танцевал и выглядел смущенным; впрочем, Нона в своей радости приняла его так весело, так непринужденно, что неловкость рассеялась.

— Как жаль, что вы не танцуете! — сказала она ему.

— А я бы сказал,— жаль, что вы танцуете! — ответил Дорнбильд. Нона вскинула голову.

— Это почему?

— Посмотрите только, как было бы некрасиво, если бы музыка смолкла, а люди продолжали бы вертеться.

— Я знаю только одно: было бы скучно! — ответила Нона, вспыхнув, и отошла. Дорнбильд и в самом деле показался ей скучным.

«Никому не нужны его лекции, мог бы остаться дома!» — сердито подумала она и, танцуя, старалась нарочно пронестись мимо сидевшего в стороне от всех Дорнбильда, чтобы показать ему: «смотри, я танцую!»

Однако сухие слова, им сказанные, почему-то не выходили из головы. В самом деле, если бы прекратилась музыка... Она смотрела, как притоптывал сапогами, кружа даму в мазурке, плотный краснолицый офицер, как на затылке его тряслись смешные кисточки волос и капли пота блестели на носу. «Если бы прекратилась музыка, а он все притоптывал бы ногами и с таким серьезным лицом... ведь это было бы смешно... Пожалуй, смешно... в самом деле, смешно. Вот у женщин выходит это красиво, и у детей красиво... а у мужчин — нет».

«Да, нет,— просто он злой! — обрывала свои мысли Нона и вновь начинала кружиться.— Он злой, злючка, и явился меня посердить за конфеты!»

— Знаете, ваши конфеты съел буфетчик Трифон! — не сдержавшись, с пышущим злобою лицом вдруг сказала ему Ноночка и громко рассмеялась. Она как-то сразу решила обидеть чем-нибудь Дорнбильда и в порыве своем не нашла ничего лучшего, как упомянуть о шоколаде.

И тут же, едва лишь она сказала, лицо Дорнбильда покрылось матовой бледностью, и дрогнули веки глаз, и губы двинулись робко, почти простительно.

— Я, конечно, был тогда бестактен, но за что вы хотите... оскорбить меня?

Краска бросилась в лицо Ноны. Так жалко ей стало вдруг этого молодого человека со светлыми глазами; таким близким и обиженным показался он ей, что, если б они были одни, она прильнула бы к его плечу и заплакала. Но вокруг них вертелись танцующие.

— Подите, подите сюда! — шепнула Ноночка Дорнбильду и повлекла его за рукав в переднюю. Там кучкой висели на вешалке пальто и шляпки.

— Я вас обидела,— порывисто сказала она и, прежде чем Дорнбильд успел прийти в себя, вдруг положила на его плечи руки и два раза поцеловала его в губы, укальываясь об усы.

— Это вам за обиду. Это я так! — просто сказала она и выпорхнула в залу.

Но на не успела вспомнить о сделанном, как душа ее захватилась новыми настроениями. В зале в это время зазвенел рояль, и чей-то мужской, высокий и сильный голос издал страстный, неожиданный, леденящий душу крик.

Только крик разобрала в первые мгновения Но на,— она не поняла ни слов, ни мотива,— только крик уловил ее пораженный слух, вопль души разбитой, смятенной, умирающей.

«Что это? Что?» — испуганно шепнула она и двинулась к стене и схватилась за чью-то горячую, дрогнувшую руку, которая оказалась рукой Дорнбильда, и сжала ее в тревожном изумлении.— Что это?

«Я из дома бедных Азра!
Полюбив, мы умираем!» —

услышала она и прислонилась в волнении к стене и уронила голову. В это время в зале гремели аплодисменты, и смуглый человек в восточном тюрбане поднялся от рояля

и неподвижно стоял, прямой, тонкий, высокий, каменный, в темной полумаске.

— Да что это? — уже грубо крикнула Нона на Дорнбильда и двинулась. — Кто пел?

— Это, вероятно, Заревич, опереточный певец, — глухо ответил Дорнбильд и опустил голову.

Подняла на него гневные глаза Нона.

— Причем здесь: «опереточный», — снова крикнула она. — Вы слышали, как он пел?

— Да, это, может быть, хорошо... — так же глухо и печально проговорил Дорнбильд. — Но... я хотел спросить Вас... — Он покосился на прихожую. — Там...

— Там не было ничего! — холодно, блестя посветлевшими, злыми глазами, ответила Нона. — Понимаете: ничего. Я извинилась перед вами, — только всего.

И, точно загнипнотизированная стоном умирающего, подалась вперед к роялю, где стоял темный человек в восточном плаще.

— Да, через все это непременно надо пройти! — со вздохом сказал Дорнбильд.

60

Фамилия его была не Заревич, а Зайчиков, и он, действительно, пел в оперетте, — все это рассказала Носильчикова. Она же познакомила Ноночку с певцом в тот вечер, и это было так просто. Может быть, даже именно она и пригласила певца на бал.

— В него все влюбляются, и ты влюбишься, — уверенно сказала она Ноне. — Ты посмотри только, какие у него усы... Снимите маску, г. Заревич! Это — хозяйка дома.

Без маски певец показался менее красивым. У него был круглый нос с широкими ноздрями, дряблые щеки, двойной подбородок, и, когда он пел, рот его несколько кривился в сторону... Но он пел так чудесно, — и все мелочи забывались.

— Имею радость представиться: — Заревич! — развязно сказал он и прищелкнул каблуками, точно на ногах у него были рыцарские ботфорты. — Простите, что, не имея счастья быть вам представленным, решил посетить ваш бал в числе других маскированных.

— Вы так чудесно пели! Так необычайно! — в искреннем восхищении проговорила Ноночка и благоговейно по-

жала руку актера.— Тетя Аничка, это господин Заревич, который только что пел!

К удивлению Ноны, старенькая тетя Аничка не обнаружила никакого восторга перед певцом. Она сухо подала ему руку и сейчас же отошла.— «Но ведь она же старенькая! — решила Нона.— Она ничего не понимает».

— Милости прошу на мой бенефис! — пригласил Нону Заревич и снова поклонился, щелкнув каблуками.— Бенефис мой в воскресенье, я ставлю «Мартина-Рудокопа» при новой оригинальной обстановке с новыми куплетами.

Ноночку несколько покоробили базарно-громкие слова певца, но в душе все еще звенела фраза о смерти влюбленного, и она ответила с тем же искренним чувством:

— Конечно, мы придем! Я еще не бывала здесь в театре, но мы придем непременно.

Она остановилась, и недовольная складка появилась меж ее бровями: подле нее стояли тетя Аня и Дорнбильд.

— Куда это ты придешь, Козочка? — спросила профессорша.

Злые огоньки запылали в глазах Ноны. Презрительным взглядом окинула она красивое лицо Дорнбильда и ответила грубо и вызывающе, смотря в его светлые и покорные глаза, точно он был виною всего, точно это он подслушивал:

— Я непременно, тетя Аня, поеду в театр.

Дорнбильд почтительно наклонил голову и отошел; отошел, что-то напевая, и Заревич, и Ноночка осталась с теткой наедине.

— Не надо, Козочка, так себя афишировать,— смущенно сказала ей профессорша.— Все-таки... эти... люди... эти неизвестные комедианты... бог весть, какой они народ; а ты обижаешь человека благородного!

И снова вспыхнула безудержная натура башкирочки. Она затопала ногами, заплакала, глаза ее сделались светлыми и острыми, как сталь.

— «Комедианты! Неизвестный!» — закричала она на старуху.— Ах, какие же вы все!.. Я сама неизвестная!.. А теперь я выросла и непременно поеду в театр!..

— Да я же тебе ничего не говорю, поезжай,— бормотала растерянная профессорша.— Конечно, ты выросла, ты можешь поступать как знаешь,— только я говорю: не надо обижать...

— И никого я не обижаю, только вы оставьте меня, пожалуйста! — закричала Нона и выбежала из залы.

— Вы же видите, какая она безудержная! — говорила профессорша Дорнбильту. — Она дичок, она степная, с ней трудно совладать... Но сердце у нее золотое, необыкновенное сердце, я знаю...

— Я тоже знаю это, Анна Петровна... — Дорнбильт тихо поцеловал ее руку. — Я тоже знаю... и поэтому не отступлюсь от нее и не отойду от нее ни на шаг.

— Бог вам поможет! — со вздохом пробормотала тетка, и в это время им обоим показалось, что они отныне связаны жизнью Ноночки вместе, что странная жизнь маленького своеобразного человечка их сроднила навсегда.

— Точно родной вы мне, — усталым голосом проговорила еще профессорша и снова завздохала. — Я старая, с ней мне трудно; а вот вы молодой, вы сильный, вы остережете ее, когда она начнет как-либо сбиваться; вы понимаете, она юная, она все видит в ином свете, она во многом обманется, а вот вы, милый, тогда-то и поддержите ее.

— Клянусь вам, я буду при ней неотлучно! — растроганно сказал Дорнбильт и вновь поцеловал руку старухи. — И не заметит она, как я буду следить за нею, — поспешил он прибавить на ее предупреждающий жест, — но я не выпущу вашу Козочку из вида, потому что она и мне так же дорога, потому что я... люблю ее... — добавил он, побледнев.

— Вы ее любите!.. — повторила Анна Петровна и залилась слезами. Она сказала свою фразу не вопросом, а утверждением, потому что сама уже все знала, и все-таки услышать признание было так страшно и радостно, и печально, что слезы потекли из ее затмившихся глаз.

— Я полюбил ее с первого взгляда! — громче сказал Дорнбильт и отвернулся. Мысленно он звал ее, ту, маленькую, капризную, странную, которая в это время, вероятно, сидела в смешной злости на постели и рвала на кусочки платок, — он звал ее, он убеждал ее прийти и услышать: если не ответить, то, по крайней мере, выслушать его признание, и повторял негромко, точно совершал заклинание: — Я люблю вас, люблю вас, я полюбил вас с первого взгляда на всю жизнь! Я прошу вашей руки, — вы слышите?

Но ее не было, — перед ним была только старая, счастливая и печальная в одно и то же время старуха, и хотя бы ей следовало сказать, хотя бы ей, чтобы хоть таким

путем узнал про это странный, сотканный из противоречий и настроений, крайней нежности и страстности степной зверек, которого никогда, никогда было нельзя приручить:

— Я люблю вашу дочь, Анна Петровна, люблю на всю жизнь и прошу ее руки!

— Да... да!..— только сказала профессорша и снова залилась слезами.— Дай вам бог ее любви и счастья,— дай вам бог! Дай вам бог!

61

Когда на следующий день Дорнбильд приехал к Анне Петровне, Нона все еще дулась.

— Эти цветы вы привезли, конечно, тете,— вы их ей и отдайте, а книжек мне не надо: книжки я не буду читать.

Разговор шел о «Первой любви» Тургенева, которую давно было решено прочесть вместе, но сегодня все намеченные ранее планы были отменены.

— Да и вообще я не буду читать никаких книжек! — добавила Нона, и лицо ее порозовело от злости.— Больше я не буду ничего читать: это скучно. И для чего только пишут эти книжки — совсем не понимаю. Вот чепуха!

Смущенно настроенный вначале Дорнбильд невольно улыбнулся, до того забавно прозвенел в воздухе ее детский голосок.

— Значит, вы полагаете, что мир устроен очень хорошо и его не надо поправлять? — спросил он.

— Мне нет дела ни до какого мира! — отрезала Ночка.

Снова поглядел на нее Дорнбильд: она походила на дикую рассерженную лисичку.

— Но вы не хотите устроить его даже в своей собственной душе?

— Это как еще так? — крикнула Нона, уже совсем красная от гнева.

— Я хочу сказать,— примирительно заметил Дорнбильд,— что люди живут еще далеко не прекрасно и всякий должен пытаться по мере сил устраивать жизнь людей.

Отвернувшись, сев на подоконник, Нона водила пальцами по стеклу.

«Такая фигурка у нее хрупкая, хрупкая и обиженная, и глазок блестит агатовый,— взять бы и поцеловать этот глаз сердитый, капризный, насторожившийся...»

— Вы посмотрите только: выстроен дом, но что будет делать человек в доме роскошном, если внутренний дом его — душа его не устроена и пуста? Нет, безмерно в мире значение слова о душе человека, бесценно-важна человеческая жизнь, бесконечно нужно устройство жизни, удаление из нее всего темного, оскорбительного и жестокого... Разве жизнь еще не груба, не жестока? Разве мы думаем о том, что мир полон зла? Разве вы сами, Нона, не видите, как упорно надо еще работать над жизнью, чтобы было радостно жить.

— Да... да... — сказала Нона и сама побледнела. Осматривается, осторожно и хрупко, видит, что тетя Аня блаженно дремлет в кресле, поводя закрытыми глазами, точно видя новые миры, и поднимается с подоконника и подходит и кладет на шею Дорнбильда свои смуглые, поцарапанные еще с лета руки. — Вы... вы... Я не знала... вот вам!

Точно лепестки цветка солнечного коснулись висков Дорнбильда. Благоуханием веет весенним, горячим, кружится в безмерной радости голова. — Ноночка! — в едва слышном изумлении говорит он.

И вот лицо Ноны — снова отдаленное, глаза холодны и спокойны. Так странно просветлели эти глаза.

— Это я так, ни с чего! — говорит она и отходит. — Я ни с чего! — добавляет она неуверенно на пороге комнаты и уходит, бледнея.

— Ждите, милый! — говорит растроганно тетя Аня.

— И буду ждать! — покорно отвечает Дорнбильд и касается висков пальцами благоговейно: ведь эти виски поцеловала она.

62

На бенефис Заревича Нона все же собралась, и в литерной ложе, купленной для нее профессоршей, сидела, кроме Ноночкиных подруг, и сама Анна Петровна, которой показалось неудобным отпускать девиц на оперетку «без старших».

Странно, что Нона до шестнадцати лет ни разу не бывала в театре. Профессорше по смерти мужа было не до того, а келейная тишина дома и вообще не располагала к выездам. Театр... Это слово казалось Анне Петровне и докучливым, и отчасти неприличным, и лишним. Теперь же, видя, как радостно-восхищенно оглядывала Нона немудрую обстановку старого театра, переделанного при одном

из губернаторов из манежа, смутно чувствовала профессорша, что напрасно не показала всего этого своей питомице раньше, что предоставила все переживать ей впервые в возрасте, когда переживания и без того были особенно напряженны и чутки.

Она не сомневалась, что, если бы Нона уже бывала ранее в театре, не стала бы она так искренно и полно восхищаться каждой его мелочью, не стоившей внимания.

Теперь же Нона бегала по старым низким коридорам, радостная и возбужденная, и ко всему присматривалась, и все разглядывала с таким восторгом и восхищением, что тетка не успевала отвечать.

— Это что? Пожарный? Зачем пожарный? Зачем он в каске? Зачем здесь вешалки? Как люди находят свои пальто? Это что за ложи? А там кто сидит — вон там, наверху? И эта комната — фойе? И здесь пьют кофе? Идем пить кофе, тетечка, и смотри: пирожки! Я непременно съем сразу пять пирожков!

— Сумасшедшая ты! Совсем сумасшедшая! — останавливала ее Носильчикова, которая уже много раз бывала в театре. — Ты посмотри только, какие военные! Это брандмейстер, — какой красавец! В него влюблена жена инспектора. А это Павел Петрович, чиновник особых поручений. Как поет он цыганские романсы, как поет!

Театральная зала была старая, облезлая, с протертыми стульями, с керосиновыми лампами, от которых пахло, а Нона смотрела на все в прежнем неугасимом восторге.

Особенно понравилась ей рампа, представлявшая из себя длинную доску с прикрепленным на ней рядом керосиновых ламп. Когда надо было сделать темноту, все эти лампы опустили вниз, и Нона в восхищении захлопала в ладоши.

— Милая тетя Аничка, как это хорошо!

Тетя Аничка сдержанно улыбнулась. Ее забавляли наивные восторги Ноны, но и пугали мысли о том, что все, представляющееся ей взгляду ныне впервые, может показаться ей чрезмерно красивым. Она видела пытливые взгляды сидевшего в партере Дорнбильда, которые он бросал на не замечавшую его Нону, и чувство жалости к нему, соединенное с тревожным предвиденьем какой-то опасности, захватило ее старое сердце.

«Отчего он не войдет, не скажет? — думала она. — Как тревожно с такой башкирочкой, как трудно с ней управлять»

ся... Впрочем, он, конечно, зайдет в одном из антрактов в ложу, непременно зайдет».

Поднялся занавес, и Нона притихла. Она ждала чего-то другого, более красивого, более подходившего к недавней песне умирающего Азра; вместо этого приходилось слышать обыкновенные разговоры, видеть поцелуи, которым и вообще Ноночка уделяла мало внимания в жизни, слышать пошлые куплеты развязно-глупого старика. С радостью наблюдала за отускнением ее восторгов старая профессорша, она видела, что инстинкт дикой Козочки верен и чуток, что его нельзя было обольстить мишурой... Но вот на сцене раздались оживленные крики рабочих, и на руках, при общих аплодисментах зала, вынесли бенефицианта Заревича — «Мартина-Рудокопа».

Уже сразу показалось, что все блеснит: блестела огнями сцена, блестели кирки рудокопов, платья дам, и особенно блестел золотыми позументами наряд Мартина. С первых мгновений Нона не разобрала, что костюм Заревича смешон и вычурен: актер изображал рудокопа, а был в каком-то не то гусарском, не то камергерском мундире, весь завешанный и обвитый галунами, в нелепой, не по размеру головы, ухарски заломленной на маковке шапке, в лакированных сапогах со шпорами, с хлыстом в руках... Она заметила все это позже, теперь же ее буквально оглушили аплодисменты и поднявшийся в зале шум. Громадные корзины цветов потянулись на сцену к ногам улыбавшегося бенефицианта; к авансцене бежали нарядно одетые дамы и девушки и махали платками, некрасиво раскрывая рты и пуча глаза.

— Заревича, Заревича! — кричали женщины, надрываясь, и внезапно перед восхищенным взором Ноны стали в упор смотревшие на нее светлые холодные глаза Дорнбильда, поднявшегося в своем кресле первого ряда, повернувшегося к сцене спиной и обратившегося лицом к ложе Ноночки.

63

Готовый сорваться крик восхищения замер на ее губах. Этот высокий, спокойный человек вдруг показался ей самым высоким во всем театре. Лицо его не улыбалось, оно было спокойно и бесстрастно, и руки опустил он за спиною на барьер оркестра и только смотрел в лицо Ноны ровно и внимательно.

Точно холодная игла мгновенно пронизала ее сердце. «Что-то не так!» — жалобно, еще растерянно сказала она себе и повернулась к Носильчиковой и услышала, как иступленно кричала она: «Заревича, Заревича», до того иступленно, что капли пота стекали по ее щекам с висков. «В самом деле, это некрасиво», — подумала Нона, но тут же чувство мгновенной острой злобы на этого спокойно-презрительного, одного оставшегося в неподвижности, захватило ее, и, чтобы отомстить ему за это, чтобы показать ему свое пренебрежение, она сама захлопала в ладоши и закричала:

— Заревича! Bravo! Bis!

Она видела, как Дорнбильд поклонился и сел в свое кресло. Ее собственный крик больно и раздерганно прозвучал в ее ухе, точно оцарапав слух. Но сейчас же она сказала себе: «тоже,— всех учит!..» — и снова закричала так, что всполохнулась тетка:

— Заревича! Bravo! Bis!

Теперь она смотрела и видела: рудокоп был одет клоунски — не то генерал, не то средневековый паж, не то венгерец; он улыбался горделиво и самовлюбленно и махал хлыстиком, двигая ногою, одетой в чересчур тонкое трико, и кисточка болталась на лакированном сапоге так же глупо, как болтался хлыстик в руке. От всего этого хорошо спетая ария как-то затонула, и остались только бессмысленно-нацепленные на лубочные рифмы стихи, да вздорный смех.

«Да, это не так!» — с острой грустью сказала себе Нона. Все, что было услышано, так бесконечно разлилось от недавней трогательно-чистой песни влюбленного, что с тревогою думалось: искусство шло не на то, что было истинным: направлялось оно в слепую мишурную пустоту.

Так была она принижена происшедшим, что рассеянно, не вникая, просмотрела какие-то пестрые картины, и пришла в себя только тогда, когда наступил антракт, и раскрасневшаяся Носильчикова объявила Ноне, что пригласила Заревича в ложу.

— Ну, вот это напрасно! — строго сказала случайно подслушавшая разговор профессорша, и Ноночка внутренне согласилась с теткой, но опять, из неясного стремления противоречить, прервала Анну Петровну быстрым замечанием:

— Нет, это хорошо, тетечка, это очень хорошо!

Она не успела договорить своей фразы, как дверь в

смежную комнату ложи распахнулась, и в ней показался во всем сценическом параде Заревич, несущий в руках связку роз.

На несколько мгновений он опешил, увидев перед собою сморщенно-кислое личико профессорши; очевидно, он не ожидал, что встретит здесь «взрослых», но сейчас же оправился и поцеловал у профессорши руку.

— Здравствуй, голубчик! — сказала ему Анна Петровна совсем нелюбезно и сейчас же отвернулась.

Но, должно быть, опьяненный успехом встречи, Заревич не заметил сухого тона профессорши. Он сейчас же прошел к Ноне и подал ей розы с той же фальшивой сценической улыбкой.

— Прекраснейшей! — объявил он с театральным поклоном и звякнул шпорами.

Стало немного стыдно и Ноне: она вскинула взгляд и увидела у стенки ложи спокойное, вежливое, не улыбающееся лицо Дорнбильда.

64

Он видел, как певец передал Ноне цветы, но не двинулся, а только взял одну кисть руки в другую, и сейчас же медленно опустил обе руки.

Но даже не то, что внезапно появился Дорнбильд, сразу так поразило Нону. Она увидела другое, чего, очевидно, никто не замечал и менее всего — сам Заревич. Она увидела на его лице грубые краски грима; увидела, что щеки его были розовы, как у дешевой куклы, что глаза зачерчены черным карандашом и в устьях век для чего-то лежало по куску розовой краски, а на самых веках были начерчены лучеобразно полосы, изображавшие ресницы.

— Как грубо! Как это грубо! — в приступе внезапной боли прошептала Нона и отодвинулась от развязно улыбавшегося актера вместе с своим креслом и тут же, отодвинувшись, вдруг увидела фольгу на его костюме, от которого пахло скипидаром, и увидела на кисти руки браслет с фальшивым камнем, а на пальцах — плоские, некрасивые ногти. Какой-то изнанкой обернулась внезапно дотоле так блестящая театральность; показалась исподняя сторона кулисы, уже явно представилось, что истинное искусство скромнее, что оно чуждается фольги, дешевой раскраски, шпор, хлыстов, фантастических шапок и поддельных перстней; истинное было в самой жизни, — это же было грубой

подделкой под жизнь, грубой и недалекой и поэтому смешной.

— В первом антракте мне было поднесено восемь корзин и четырнадцать букетов, — с деланой небрежностью сказал Заревич Ноне, и той стало еще более стыдно, а Заревич по-прежнему блестел глазами, как фольгой, когда в наступившем молчании внезапно прозвенел мерный и спокойный, изысканно-вежливый голос Дорнбильда.

— Я бесконечно вам благодарен, господин Заревич, за приношение цветов моей невесте.

Точно потолок треснул над старой ложей, — все вскинули головы. И сейчас же еще более беспокойно взоры всех обратились на побледневшую Ноночку, так побледневшую, что на белом фоне стены, к которой она прислонилась, точно и не было тени. Ее глаза были плотно закрыты ресницами.

Даже профессорша опешила от страха, — а уж она, кажется, была к этому подготовлена. Носильчикова, Брыкина и другие барышни взвизгнули и бросились в аванложу. Но больше всех смутился Заревич. Он побледнел даже под гримом.

— Да, вот как... — начал было он растерянно, но тут отделилась от своей стены Нона.

— Что... вы... сказали?... — спросила она беззвучно и, поднявшись, сделала к Дорнбильду два шага. Вместо ответа Дорнбильд указал глазами на профессоршу, и та вдруг нашлась и пискнула: «Да», — и это короткое, бледное слово, прозвучавшее так беспомощно-одиноко, вдруг по странной мгновенной своей уместности, — потому ли, что было молчание и раздался звук, или по другой причине, — представилось надломленному сознанию Ноны таким решающим и властным, что готовый сорваться с губ крик негодования внезапно замер, и бурная натура, ранее прорвавшаяся бы резким сопротивлением, оказалась стихшей и подчиненной.

Она еще раз взглянула в неподвижно-бледное лицо Дорнбильда, перевела взгляд на лицо профессорши и вдруг, опустившись на виду всей публики театра головою на барьер ложи, стала плакать неслышно и покорно.

— Козочка! — оторопевшим голосом крикнула профессорша, но Дорнбильд поднес палец к губам, и она не двинулась, и все выжидали, пока стихнет порыв Ноны, и в

молчании ожидания только скрипели сапоги, да звякали шпоры растерянно уходившего Заревича.

Слышала Нона этот удалявшийся звон шпор; душа ее дрогнула, и плечи двинулись от рыданий; она прощалась с мечтой, однажды загоровшейся и разбитой тут же... Вместо мечты оказалась мишура.

И он ушел. «Трус, трус... Трус!» — прошептала она судорожно отвердевшими губами и ощутила на губах солоноватый вкус безудержно лившихся девичьих слез, и сама не понимала, чего она ждала от Заревича. Ведь не жениться же на ней он собирался? Что же он должен был сделать: вызвать Дорнбильда на дуэль, ударить его хлыстом? Нет, конечно, он ничего этого не мог сделать, но он и не должен был уходить и отдать ее Дорнбильду, этому суровому, каменно-спокойному, уверенному человеку, а теперь он отдал... Он отдал... Отдал навсегда.

— Я хочу домой, тетя Аня,— тихо и жалобно сказала Нона и, не взглянув ни на кого, вышла из ложи.

65

«Отчего жизнь так безрадостна? Отчего нет в ней мечты? Отчего всякая мечта всегда разбивается? Всегда? Всегда?»

Думает, думает Нона, думает без конца, сидя в полутемной гостиной, думает больно, рассеянно и жутко, и что-то вздрагивает в самой глубине сердца,— отчего нет в жизни мечты?

«Невеста. Моя невеста» — это сказал он. Он назвал ее невестой, они порешили насчет нее с старой теткой, порешили между собой, и Нона должна этому подчиниться. Но она не хочет. Она хочет жить самостоятельно. Ведь невеста — это то, что затем становится женою; Ноночкина жизнь переходит в другую плоскость,— да, да, именно плоскость, в плоскую безрадостную равнину существования, у которого впереди одна радость — смерть.

Была мечта о степи,— мечта эта обесцветилась; да, степи хороши, но они все же — сказка, а в натуре они грубее, они в жизни темны, как и все, что живет. Разве она не встретила в степи, на первом же пути своем, трясины, в которой чуть было на завяз экипаж? Разве потом степи не отказались от нее? А она их так жаждала, так ждала!.. Разве не видела она лицо женщины башкирской, покорное лицо матери и жены, лицо бессловесное, неропщущее, молчащее жутко-покорно.

Вспыхнула раз на несколько мгновений и мечта о красоте; так красиво прозвенела в шумной зале песня влюбленного до смерти; показалось в плоской жизни что-то красивое; но красивое это было лишь под маской; а снялась маска — и открылось простое, обыкновенное человеческое лицо, и как-то не верилось, что это человеческое могло быть прекрасным, и человек, носивший в себе искру подлинного вдохновения, в обыденной жизни был пустым и мелким; как улыбался он, рассказывая о подношениях; как нарядился шутовски-базарно, как ушел растерянно и трусливо, лишь появился этот строгий, спокойный, уверенный в себе.

«Моя невеста...» — властно сказал он. «Моя» — точно Ноночка вещь, принадлежность, имеющая отойти в чью-то собственность. «Моя» — стала она без спроса, простым соглашением с воспитавшей ее старухой. Ну, отчего в жизни все так просто... и плоско? Отчего так безрадостно? А раньше было лучше... В институте?

Печальными, растерянными глазами скользит по комнате Нона. Притаенно смотрят старые-престарые вещи; они видели много этаких превращений: из ребенка в девушку, из девушки — в невесту; из невесты — в жену... Из жены — в мать и затем в старуху... Да, вот и все, вот и «волшебный» круг жизни; вот он и замыкается перед Ноночкой, замыкается круто, почти бессловесно и кратко:

«Моя невеста».

Со стен смотрят на Нону улыбающиеся портреты — красавицы-девушки в блондах и париках. Как улыбаются они мудро и спокойно! Они видели круговращение жизни; были детьми, девушками и невестами; были женами, матерями и тихими старицами; но что-то вечное отразилось в этих улыбках; — вечное, мудрое, говорящее о том, что не все проходит... Красота остается: разве не запечатлелась она в этих дивных сочетаниях красок?.. А ведь это сочетание и есть искусство, и оно одно вечно в жизни, надо постичь только тайну достижения, и тогда, может быть, ты, — ты, постигший, — останешься в жизни.

Над старым камином блистает драгоценная рама. Из рамы смотрит кроткое, улыбающееся личико; Мадонна, Магдалина, лицо ли мученицы священной, изображенное великим магом искусства; отчего раньше словно не замечалось присутствие этого необычайного портрета? Ходила-

ходила Нона по этой гостиной, а над камином висело дивное творение гения. Улыбка эта милая, — улыбка кроткая... Кто мог так улыбаться, как не Мадонна итальянская? У кого лицо могло быть такое тонкое и священно-кроткое, и лоб выпуклый, и глаза всепрощающие, и пальцы такие хрупкие, так божественно разделенные? Кого, как не Джисконду, изобразил старинный чародей, волшебник отошедший, тайною владеющий? Кто изображен здесь этой кистью чарующей? Как не заметила Нона, как могла не заметить?

Встает и смущенно-взволнованно идет к камину Ноночка. Ну, конечно, картина давнего искусника, волшебника южного, выдавшего лазурь моря неомрачаемую, перенесшего эту лазурь в глаза Мадонны? Чей лик этот кроткий, лик всерадостный?.. — И отшатывается Ноночка и вскрикивает беспомощно: не Мадонна это, не Джисконда, не творение зачарованное ушедшего мага, — это портрет ее тетки, портрет Анны Петровны; вот и надпись на дощечке, прибитой к раме: «Annette Zakharoff 17 ans», и год старинный, и подпись мастера. Это тетка нарисована, тетка в юности, — портрет профессорши... Сбитая, перепуганная, словно оскорбленная, останавливается перед портретом Нона. «Как надсмеялась над нею судьба, как надсмеялась». Она думала, что это Мадонна, а это лицо девушки, обыкновенной, заурядной, вышедшей замуж и под конец ставшей старухой...

«Но что же, что же?.. — вдруг откуда-то западает в голову. — Не то ли, что каждая девушка и есть Мадонна; что неразвернувшаяся сущность ее и есть тот идеал, который освящен великими духовидцами...» «Неразвернувшаяся сущность», — повторяет Нона предостерегающим голосом. — «Неразвернувшаяся»... — то есть, девушка дотолы Мадонна, пока она девушка. А дальше следуют невесты и жены, и профессорши, и старухи; дальше следует все то, что исключает мечту.

«Нет, так и я останусь девушкой, так и останусь ею», — решает Нона.

66

Утомленные глаза ее обращаются к двери. Кто-то стоит. «Боже мой, ведь это же тетка стоит, тетя Аничка, — та, с которой был некогда облик Мадонны нарисован. О, какая она сейчас жалкая! — Сердце Ноны внезапно смягчается. — И тихая она, и неслышная, покорная, милая».

— Это твой портрет, тетя Аничка? — растроганно и мягко спрашивает Нона.

— Да, мой, — приветливо и в то же время смущенно отвечает профессорша, видимо, не ожидавшая ласки. Она подается от двери, и изумленному взгляду Ноны рисуется другое лицо — молодое, светлоглазое, смотрящее просительно-робко. Так устала Ноночка, что нет сил рассердиться; что же, пусть входит, пусть... устала я... все равно...

— Вон и Александр Евгеньевич пришел... — пряча глаза, объясняет профессорша и, как нашалившая маленькая девочка, смущенно перебирает сухонькими пальцами оборку платья.

«Пальцы ее милые... — вдруг жалостно кто-то выкрикивает в душе Ноны. — Пальцы ее сухие, сморщенные; пальцы с резко означенными изношенными косточками... Пальцы, пальцы».

— Милая моя, милая тетечка, милая, милая! — всхлипывая, твердит Нона, бросаясь к Анне Петровне и целуя ее тонкие пальчики. — Ты никогда не умирай, тетечка, никогда не умирай!

— Ох, ох! — растроганная внезапной нежностью, вздыхает профессорша и крестит Ноночку, и встает. — Я пойду, пойду к себе, милые, а вы побудьте.

Молчание стоит между молодыми долгое время, — молчание зоркое, настороженное, когда от одного лишнего звука может быть ссора, могут быть слезы, может быть все.

— Простите, простите меня, — негромко и невнятно шепчет Дорнбильд и внезапно опускается перед сидящей в кресле Ноночкой на колени. — Я был дерзок и груб; я позволил себе сказать лишнее; но я так вас люблю, так люблю!

67

Теперь, когда по праздникам является к профессорше Дорнбильд, прислуга в доме благодушно улыбается и спешит всячески услужить «молодому барину». Дорнбильд приходит каждое воскресенье, и Нону аккуратно берет в эти дни Анна Петровна домой, и не протестует начальница института, потому что все видят: совершается в жизни Ноны что-то важное, — более важное, чем алгебра, законы и естественная история.

Совершается, однако, именно «естественная история», и именно «по закону», раз навсегда от века установленному,

от века заведенному на многие будущие времена. Таким простым и естественным все это представляется старой профессорше: так жили и ее прадеды, и отцы, и сама она, так будет жить и Ноночка, — так было, так будет.

Но не странным кажется это и Ноне. Она, собственно, не вникает в то, что происходит вокруг. Покорилась она или примирилась и ничем не протестует, и спокойно присматривается к немому круговращению жизни. «Любви нет, — стало быть, любви не надо, стало быть, благополучно все».

В доме уютно, тепло, светло, профессорша ласковая, Дорнбильд ласковый, привозит конфеты и красивые вещицы, говорит так умно, благородно, учтиво, — чего же ей, Ноночке, еще желать? Разве в институте лучше? — Пусть так.

Старая тетка, видимо, благоприятствует сближению. Когда Дорнбильда нет, она расхваливает его так усердно, что Нона на несколько мгновений выходит из состояния покоя, к которому стремится: «Зачем так угождает, зачем старается?..» — но скоро говорит своему сердцу: «Тише!» — и слушает уже ровно, спокойно, невозмущенно.

— Семья его отличная, — в великом, почти библейском простодушии говорит Анна Петровна. — Именье у него отличное, средства отличные, человек отличный. Чего же больше?

«Да, чего больше? — апатично повторяет про себя Нона и взглядывает на портрет, висящий над камином. — Неужели эта, эта вот, сморщенная, была тою? Неужели это у нее глаза такие божественные, и лоб выпуклый, и руки, как у богини, и улыбка непорочная? Неужели все это было у нее?»

Всматривается Ноночка и видит: «Да, было». И нос еще сохранил характерную прямоту; и лоб выпуклый даже под морщинами, и в глазах, ныне выцветших, то же море лазурное, — собственно, не в глазах, а зарисовке глаз; и руки — эти пальцы, ныне сморщенные, — разве они не так же восхитительно разделяются, когда старенькая профессорша хочет взять что-нибудь со стола?..

— Что ты смотришь на меня, Ноночка, что, милая? — спрашивает она и смущенно улыбается.

— Ничего, ничего, тетечка, я так, — смотрю.

— Уж не сравниваешь ли ты меня с тою, — с прежнему?

— Ничего, милая тетечка, я так, — смотрю.

Анна Петровна всегда уединяется, когда приходит Дорнбильд. Повернется подле, поговорит немного — и сейчас же к сторонке, в неприметный уголок. Она знает свое место, может быть, раньше отъединялись так перед ней мамушки и тетушки, а теперь она мудро уступает дорогу: она знает — таков закон. Покойно надо все делать, прежде всего покой.

Раз вечером, когда было подряд два праздника, профессорша начала возиться в сундуке и достала шуршащее, пахнувшее нафталином платье, на котором были нашиты драгоценные брюссельские кружева.

— Куда это ты, тетя Аничка? — спросила Нона.

Спрятала глаза старенькая профессорша.

— Да вот, Ноночка, к начальнице.

— Какая у тебя, тетя, завелась начальница?

— Не у меня завелась: к твоей начальнице.

— Зачем же тебе понадобилась моя начальница?

— Ах, ах, — говорит Анна Петровна. — Какая ты, Ноночка, любопытная, давно я у ней не бывала, — надо поговорить, — добавляет она пугливо, — о том и о сем... И насчет тебя, Ноночка... То есть, конечно, не насчет тебя, а вообще, давненько я не проветривалась, надо подышать.

— Я только потому, что сегодня ведь придет Александр Евгеньевич...

— Ну вот, Александр Евгеньевич, — немного ворчливо возражает тетка. — И что ж такое, что Александр Евгеньевич? Ты теперь большая, сама можешь принять как хозяйка... Ты что?

— Я ничего, тетя Аня.

— А мне показалось, будто ты сказала, Ноночка.

— Нет, я ничего не сказала, я молчу.

— Ты теперь хозяйка, Козочка, — вот чай, вот сахарница, вот ключи от буфета. Ты прими его, я скоро приду.

Шуршит старое, пахнувшее нафталином, шелковое платье. «О, моя старенькая, о, моя жалкая! — растроганно думает Нона. — Как уходит она из жизни неслышно и скромно. Как умеют они уходить, эти старые, мудрые! Как умеют!»

Остается одна Ноночка. Зажжены все свечи, все лампы. Торжественно и парадно. Кончается февраль, и через не-

сколько дней по календарю весна, но снегу еще масса. Днем, когда в глубоком, высоком февральском небе катится солнце, снег безмолвно и покойно уступает, и капель алмазная тянется с крыш, и по стеклам плывут слезинки зимы умирающей, а вечером зима снова ободряется и гудит за окнами: «мало ли что — календарь».

За стенами холодно, а в столовой тепло и спокойно. Лампа горит старая-престарая; самовар на столе — серебряный, торжественный и надутый; почему-то тетка велела поставить серебряный самовар, и вазы вынула серебряные — лохматых юношей и пастушек с цветами; тепло в столовой, тетка ушла и беседует теперь, вероятно, с начальницей на хорошую тему, что «неученье — тьма», а шестнадцатилетняя Нона сидит одна, как хозяйка, за столом, и ключи лежат подле нее на шелковой вязочке, и Аннушка благожелательно улыбается у двери, все прислушиваясь, словно к звонку; ушла тетка, а Ноночка не печалится; так покойно и ровно вокруг, так печи натоплены и пышут; и вещи вокруг все знакомые, уютные, и шестнадцать лет наполняют душу радостью. «Ши-ши-ши» — говорит пузатый самовар, потом звонок в передней говорит: «динь», и Аннушка ласточкой уносится к парадному. — Конечно, это Дорнбильд, но как тепло и покойно: не помешает и он.

Дорнбильд появляется; он в красивом темном жакете, в лакированных башмаках с перламутровыми пуговицами и замшей. Одевается он красиво, и это идет к его правильному, розовому лицу. И духи у него такие отличные, и запонки бриллиантовые, и галстук модный. Одевается он, может быть, излишне франтовато, но это к нему подходит. «Быть можно умным человеком и думать о красе ногтей», — где это прочла Ноночка?

— Позвольте вам предложить эту безделку, — улыбаясь, говорит он и ставит перед Ноной что-то большое, завернутое в бумагу. «Неужели снова конфеты? Что же это? Целый пуд?» Она не успевает решить и радостно вскрикивает: два крошечных белых зайчика появляются перед ее глазами, сонно сидящие в клетке...

— Ну, что это за прелесть! Ну, какие они хорошенькие! Откуда вы достали, и неужели — мне?

— Это — кролики, — объясняет Дорнбильд, — конечно, вам.

— Я думаю, надо одного подарить тетечке, — радостно смеясь, предлагает она, и ей хочется подпрыгнуть и поце-

ловать Дорнбильда, как было раз зимой, на балу. Но сейчас же лицо ее омрачается.

— Да ведь они заперты в клетке. Им скучно.

— А весной вы можете их выпустить на волю.

— А-а-а! — вдруг выкрикивает Нона и бросается на шею Дорнбильду и целует его и потом вертит по комнате. — Как это хорошо вы придумали! А-а-а!

Около них стоит улыбающаяся Аннушка и взмахивает руками, умиляясь благостно, покачивая головой.

— Милая вы, милая! — дрогнувшим голосом говорит Дорнбильд.

— Весною мы можем поехать в степи, а там их и выпустим! — кричит в восхищении Нонна. — Ведь выпустим? Ведь вы поедете в степи?

— Я поеду всюду, куда вы пожелаете, — взволнованно отвечает он.

Особенный, едва уловимый оттенок прокрадывается в эту на вид обыкновенную фразу. Взглядывает на него Нона, стихает смущенно и отходит. Садятся. Пьют чай. Как это может обыкновенная фраза таить необычное? Да, да. Как сказал он это: «Я поеду всюду, куда вы пожелаете»... Почему всюду, куда она? Она поедет в степи, — и в степи он; она остановится в деревенском доме, — и он...

— Вам сколько сахара?

— Я люблю вас, люблю безумно.

— Я спрашиваю: вам сколько сахара?

— Я же отвечаю вам: люблю вас безумно.

— Перестаньте говорить этакое. Какой вы смешной!

— Пусть: я люблю вас.

Смотрит Ноночка: так заметно, даже при слабом свете лампы, бледнеет его лицо. Значит, он говорит искренно? Значит, есть же на свете любовь? Но почему ее нет у Ноны? Почему нет! А ведь, видно, она, эта любовь, все же бывает на свете, если взрослый, спокойный, уверенный человек может от нее так бледнеть.

— Вот если бы так... всегда было, — негромко и взволнованно говорит еще Дорнбильд.

— Что — «всегда»?

— То, чтобы вы вот так сидели и чтобы я — около вас; и эти тени тлели бы там в углах старинных, и горела бы лампа, и тишина стояла бы ненарушимая... и за стенами гудел бы ветер, и чтобы свет этот атласный носился бы по комнатам, и прежде всего были бы вы... с этой юностью

невинной, с этими глазами, широкими, залитыми ночью. Вот и хочется, чтобы, пока нет никого, чтобы сказали вы мне... чтоб сказали вы мне... чтоб сказали вы мне...

— Что сказать? — шепчет притихшая, взволнованная Нона.

— Что вы любите меня... — тихо склоняясь, отвечает Дорнбильд, и Нона смотрит: его глаза умоляющие подле ее лица, его руки сжали ее пальцы, и руки его холодны и дрожат, и все лицо полно страха ожидания, страха трепетного, страха единственного в жизни.

— Я не знаю ничего, — мягко и убежденно говорит Нона.

— Вы узнаете... — громче разносится перед нею голос Дорнбильда. — Вы узнаете это, Козочка... Только вы не отгоняйте меня. Дайте мне возможность жить подле вас и ждать, пока вы скажете мне: «знаю»... и я буду ждать месяцы и годы, только сейчас скажите мне: я согласна.

— Что согласна?

— ...Быть моей женой.

Слова так обычны, так ровны и тихи.

«Все они — сначала дети, потом девушки, потом жены... Там, в гостиной, висит портрет девушки, которая сначала была невестой, потом — женой... а затем...»

— Ведь вам же говорила тетя: я согласна, — печальным голосом отвечает Нона, и Дорнбильд приникает к ее руке. — «Да, конечно, никакой любви на свете не бывает. Не надо любви».

— Конечно, согласна, конечно, согласна! — подтверждает и чужой умиленный голос. Поднимает Нона голову: сияющая тетка стоит подле них, проливая слезы. «Как все это просто, обычно, грубо».

— Теперь вам можно бы и поцеловаться, — добавляет она.

Но здесь вмешивается Дорнбильд.

— Нет, нет! — говорит он и встает. — Я поклялся, что не сделаю ничего против воли Ноны.

Разглаживается морщинка над упрямыми бровями. Немного яснится захмуренное личико. Все-таки хорошо, что он так сказал. Но как тетя не понимает? Как все это печально в жизни: печально и просто, и обыкновенно. И отлетела тишина волшебная, и все — так, как в жизни.

— Пусть господь вас благословит, дети мои. Растите и множьтесь и населяйте землю.

Робко взглядывает Дорнбильд в глаза Ноночки. Хорошо еще, что он чуток и понимает... Но тетя... тетка... О, как в жизни все просто и грубо! О, жизнь, древняя, сказка тысячелетняя!

69

Опрокинулось над городом небо апрельское, словно проснувшиеся и умытые стоят вдоль улиц дома, и березки распустили клейкие листки, и тополем запахло, и бегут по улицам ручьи, и снег кое-где у заборов доживает свои последние дни.

Большая улица запружена гуляющими; офицеры и чиновники, купцы и рабочие, штатские люди и разряженные барыни нестройными рядами проходят по тротуару, сталкиваясь друг с другом и беспричинно улыбаясь. Беспричинно ли? — Весна, и воздух весенний, утомляюще-сладкий; воздух оживляющий, возбуждающий какие-то весенние мысли; радующийся, струящийся по лицам воздух, которым хочется дышать во всю ширь груди, — дышать и не надышаться.

Изменчивый ветер бегаёт по улице; то жаром повеет от раскалившихся стен, то вдруг взмоет холодом: это струя пронеслась с бульваров, где под акациями лежат ещё белые снега; пансионеры выходят из своего казенного дома с расцветшими лицами; идут парами, все выстроенные по росту, под предводительством двух дядек и воспитателя.

«Бараны, баранов выгнали», — говорят про них вольные гимназисты, одетые не как пансионеры в издревле заплатанное, а во все новенькое, щегольское: страстная суббота, сегодня ночью встречать пасху. Но не от пасхи, а от апреля так разгорелись лица. Вот, все улыбаются, вытягивают шею, поворачивают головы: с боковой линии на главную выбирается цепь институток, также выстроенных парочками, также по росту и также в сопровождении классных дам и пепиньер.

Институтки смущаются, пансионеры смеются; слышатся шутки, негромкий смех, мимолетные разговоры. Но сурово начальство: сейчас же дается сигнал к отступлению, и две цепи молодых разводятся в разные стороны.

А солнце все катится по небу, и по улице катятся щегольские экипажи, запряженные рысаками; местное купечество выехало показаться; развеваются аршинные перья

на дамских шляпах, блестят цилиндры на стриженных за-тылках. «Эта Красовская, это Тушканчикова, это фон-Земмерлинг», — рассказывают про барынь пансионеры; и все улыбаются: и проезжающие, и проходящие, и молодые, и старые, — заставляет улыбаться апрельское солнце.

Голуби слетаются кучками и бродят по краям тротуаров, наскакивая друг на друга; у театрального входа старичок-еврей расклеивает афиши с упоминанием о «Лисе Патрикеевне»; древний священник высунулся из окошка низенького дома и сыплет на тротуар крошки хлеба для голубей, подслеповато улыбаясь; среди учащихся смятение: проходит окружный инспектор с длинной палкой, похожий на перевозчика Харона; но провалился инспектор, — и опять из-за тучи глянуло апрельское солнце; все снова улыбаются: ведь «Лиса Патрикеевна» такая хорошая оперетка!

Извозчицья пролетка прилепилась к сторонке чахлого бульварчика; седая кляча ее и седой извозчик оба спят, согретые солнцем. Одинокий воробей танцует на спине лошади, насмешливо чирикает; пестрая собака нюхает что-то, лежащее в сером мешке на козлах.

— Мар-рожено великолепно! — гаркает разносчик, облизывая по дороге для чистоты оловянную ложечку, и сам смеется: не на сонную клячу и не тому, что собака поест завтрак извозчика, а только тому, что светит апрельское солнце, — только одному.

«Воздухов благорастворение», — говорит офицеру соборный дьякон и указывает на солнце перстом; часовых дел мастер раскрывает дверь своего чуланчика и вешает над ней новую вывеску: «Починию в рассрочку». Барышня кондитерская, сама похожая на булку с изюминками, выходит на крыльцо булочной в белом фартучке и счастливо жмурится не то на солнце, не то на околоточного надзирателя, полицмейстер с трезвоном проносится по улице на тройке серо-яблочных; а воробьи и пичужки стараются перекричать полицмейстера в березках садика; древний псаломщик чистит разноцветные фонари для предстоящей в ночь иллюминации; почистит один, взглянет на солнце: хорошо ли, и долго потом слезятся его смеющиеся, вылинявшие глаза. И пар всст струями к небу от нагретой земли.

Выходит из своего особнячка на прогулку Нона. Около нее — Дорнбильд в новом весеннем костюме, и сама Ночка новешкая, вся беленькая, как пушинка, белая, как

облако, светлая, как весна, и только две точки черные — глаза — темны, как угольки, и рот алый, капризный, и непокорные волосы все выбиваются из-под шляпки.

Не в институте Нона: она снова у тети Анички; как-то и она словно свыклась с мыслью о скором уходе из института; сегодня она с утра все смеется, сама не зная почему. Тетка так и не дозналась причины, не узнали ее ни Дорнбильд, ни два белых кролика, которых скоро теперь, — очень скоро — следовало выпустить в вольные степи. Все смеялась Нона, сама не зная чему, а потом вдруг поняла: потому смеялась, что солнце — апрельское, и воздух весенний, и надо на воздух выйти и воздухом дышать.

С их окраины до центра путь не близок.

— Может быть, в экипаже доедем? — спрашивает Дорнбильд, указывая на свою новенькую пролетку. Огляделась Нона нерешительно: пролетка такая блестящая, а лошадь вороная, с глазами круглыми, и кучер такой ласковый. Потом отдумала.

— Нет, нет, непременно пешком, и по грязи непременно.

Улыбается Дорнбильд.

— С вами мне везде хорошо, — отвечает он.

— А вот тут, в этой лужице, если в ней лечь?

— Если лечь, вы не будете уж беленькая.

70

Мимо церкви, мимо дряхлого псаломщика, все протирающего «иллюминацию», проходят они в ворота старинного Менowego двора на грязную площадь, плохо замощенную, окруженную древними стенами, с палатками и лавками в разных углах. Громадные бочки и тюки свалены в пирамидальные кучи. — Непременно на Меновой двор, — сказала Нона. — Там верблюды иногда бывают, и бухарцы сидят, и хивинцы. — Но сегодня здесь пусто и нелюдимо; лишь с трудом можно проходить по булыжникам, чтобы не попадать в липкую грязь. — Нет, здесь нехорошо, надо снова на улицу, — решает Ноночка, — пройдемте вот в те боковые ворота. Скорее.

Вдоль ветхих, заколоченных лавок, мимо ржавых вывесок с татарскими надписями, которые Нона пытается разобрать, пробираются они к выходу со двора.

— Ну, совсем я перестала быть башкиркою! — смеется Нона. — Все забыла я, Дорнбильд: не могу даже надписей прочесть.

И внезапно ее смех обрывается, и вздрагивает Нона, и хватается за колонку лавочного крыльца. Телега с углем показывается в воротах, и сидит в ней старый, черный, оборванный башкир; на мгновение телега зацепилась колесом о каменную тумбу, потом лошадь рванула, телега двинулась, и из-под колес ее жидкими струями брызнула грязь в лицо и на белое платье Ноночки.

— О! О! — опечаленно и жалко вскрикивает она и закрывает лицо тонкими пальцами, по которым текут коричневые струйки.

Побледнев, бросается к башкиру Дорнбильд.

— Как ты смел?.. Как ты?.. Ты сошел с ума, оборванец? — Мгновенно напрягшейся рукою схватившись за оглобли, он с силой осаживает телегу назад и с тем же бледным, искаженным лицом ударяет кулаком ни в чем не повинную лошадь в голову.

— Ой, что вы! — вскрикивает Нона, пошатнувшись от страха и изумления. — Что вы делаете? Стойте!

Но тут же она видит, что с телеги соскакивает с побуревшим лицом башкир и бросается на Дорнбильда с кнутом, ощерясь острыми, редкими зубами. Глаз башкира красен, как его бровь, его усмешка страшна, — но видит Нона, что так же вдруг стал страшен и этот красивый, изящный, изысканно вежливый Дорнбильд.

Как ни странно видеть, но он тоже ощерился; лицо его из белого вдруг стало желтым; на виске вспухла жила, все лицо полно того ярого, неукротимого бешенства, которым, должно быть, исполнялись в свое время его деды и отцы.

— Нельзя бить лошадь, — с жесткой усмешкой говорит башкир. — Не знаешь? — И вот его кнут, свистнув в воздухе, взвивается в черной руке, — и новый крик, — одновременно чужой и знакомый, — и тупой звук удара, и еще свист и удар, — и вот оба они у каменной стены лавки, и одна рука Дорнбильда у горла башкира, а другая прижала к стене черную руку с кнутом.

— Оставьте его! Оставьте! — кричит пораженная невиданной сценой Нона, не зная, что делать, и все старается стереть с белого платья безобразные пятна. — Назад, Дорнбильд! — кричит она, как на пса, и истерические рыдания прокрадываются в ее голос. — Назад! Как не стыдно! Оставьте его!

И вот видит она, что, как послушная собака, поворачивается к ней тяжело дышащий Дорнбильд, а садящийся в

телегу башкир обращает на нее свое угрюмое, худое испуганное лицо, и красный глаз его останавливается на Ноне, и губы жестко усмехались, блеснув рядом редких зубов.

— А!.. — во весь голос вскрикивает Нона и, жалко взмахнув руками, бежит из ворот на улицу.

А за ней, не понимая всего, бежит и Дорнбильд.

— Ноночка! Ноночка! — кричит он, стараясь догнать невесту. — Да что с вами? Куда вы?.. Ну, нечаянно он... Ну, платье... Но что же?

Нона все бежит.

Отчего она так испугалась? Отчего щеки ее потускнели, и глаза расширились, и сделались словно мертвыми губы, свежие, как цветы?

На углу площади он настигает ее и словно прижимает к стене, как башкира, не пуская дальше. На его плечах — комья грязи.

— Вы... вы... зверь! — Еле раздвигая губы, она пятится от стены. Она отбрасывает руку Дорнбильда и бежит дальше, бормоча:

— Вы — жестокий, я вас не люблю, вы накинулись, как волк...

Поражен и Дорнбильд.

— Но ведь этот мерзавец...

Истерический крик Ноны разносится на всю площадь. Даже останавливаются прохожие.

— Что? Вы же его — так?.. — И внезапно новая мысль, в тысячу раз более страшная, потрясает все ее существо.

— Вы видели? Видели? Он взглянул на меня... Видели?

— Кто взглянул? Кто, Ноночка?

— Идите назад!

— Зачем назад? — Не понимая, Дорнбильд останавливается.

А Нона, точно притягиваемая чужой, неотразимой силой, молча влечет его к воротам и, задыхаясь, шепчет прерывающимся, ослабленным голосом:

— Он!.. Он! Вы только не подходите! Смотрите сюда!

Остановившись в арке ворот, они смотрят в глубь двора. По-прежнему ничего не понимает Дорнбильд. Так все снова обыкновенно, словно и не было стычки у ворот.

У старой лавки — башкир, и сидит он в своей телеге к ним спиной, и видно только его спину, прямую и костлявую, и малахай на его голове меховой, забрызганный

грязью. Это, конечно, тот же негодяй, но он примерно наказан; он, должно быть, и сам чувствует, что получил поделом, — как получали его деды и прадеды. Он спокоен; вот лицо его поворачивается к Дорнбильду профилем, — он видит красную бровь, изогнутую над глазом, и часть щеки, изрытую оспой, и выдающуюся вперед под стриженным усом губу, и кривой клочок жесткой черной бороды. Типичный башкир.

— Ну, и что же, Ноночка? — все недоумевая, спрашивает Дорнбильд, но тут же говоривший так спокойно башкир вдруг вытягивает, как палку, длинную руку и черным, словно гвоздь, острым пальцем, жутко знакомым для Ноны жестом указывает перед собою: туда!

— А-а-а! — снова вскрикивает Нона, и лицо ее искажается судорогой. — Туда, в степи! А-а-а!

Сейчас же она беззвучно поворачивается и, жалобно поглядев на Дорнбильда, снова бросается бежать прочь в ворота, спотыкаясь на неровных камнях и попадая в грязь.

— Ничего, это ничего, — в странном, все еще необъяснимом, пока еще нелепом и непонятном чувстве жалости к Дорнбильду, всхлипывая, бормочет она и все бежит.

Безобразные пятна и полоски избородили ее белое невестино платье. Точно разодрано оно, невинное; точно засохшие кровавые пятна буреют на нем. Точно пятна эти положили между ней и Дорнбильдом черту разделения и отчеркнули грань между той жизнью и этой.

71

Прибежав домой, она сейчас же запирается в своей спальне и, как была, не раздеваясь, бросается на постель.

«Боже мой, боже мой! Зачем это? — беззвучно рыдает и всхлипывает она. — Зачем он... и в этот день солнечный?.. Он, забытый... зачем приехал он из степей?»

Это был Искак — вне сомнения. Только у него была такая острая, прямая спина, и лицо с красными бровями, оспой изрытое, и черная борода, висевшая клочьями, и бешмет с круглыми пуговицами из меди, и серебряный пояс с татарскими монетами... Но если бы не было всего этого — ни пояса, ни малахая, ни бешмета, — по одному движению пальца железного она узнала бы Искака из тысячи других. Только он мог указывать так сурово и угрюмо: в степи!

«В степи!» — вот куда звал он всегда, звал ожесточенно, настойчиво, бесповоротно, звал, когда Нона была еще маленькой Амелей и когда она, юная, жизнью не тронутая, еще не понимала, как суров и неотменяем был этот зов.

«В степи!» — только и говорил он. Все, о чем он ни говорил, всегда кончалось призывом в степи. Сорок лет, а теперь и полвека, прожил он среди них, и каждого, рожденного степью, звал в степи и за отступничество проклял Амелю, изменившую вере отцовской, ушедшую из степей. Один он лишь умел так говорить о былой жизни, рассказывать об ушедшем, что оно пламенело в сердце и звало к себе. Не только он, но и степи ждали его, и он ждал в степи всякого, кто был вскормлен ими.

«Степи!» — повторяет Нона и, поникнув, сидит на постели, спрятав в ладонях лицо. Как могла она о них забыть, как могла! Как вычеркнулась из души целая полоса жизни, когда к старому деду Ахмету приезжали его степные гости — Исян и Искак, и суровый голос Искака повествовал о былом? Раскладывались тогда на полу ковры, и она, Амеля, выносила из комнаты все русские стулья и табуреты, — чтобы оставалось в ней только башкирское, и расставлялись в деревянных чашках пряники, кишмиш и урюк, а приезжие вынимали привезенное — курт, кумыс и другое, родное.

Все садились, по обычаю, на ковре, поджав под себя ноги, и так вдумчиво сидела среди них, взрослых и старых, семилетняя Амеля.

Она близко садилась тогда к суровому Искаку; с уважением и страхом рассматривала она пуговицы его бешмента и серебряный пояс с татарскими монетами; такой ничтожной считала она себя в сравнении с этим черным суровым человеком, так похожим на былых батыров степи — ушедших богатырей.

«В степи!» — железным жестом указывал его черный палец. Точно громадная птица с опущенными черными крыльями, он сидел неподвижно с этим властным призывом, которого нельзя было послушаться, нельзя позабыть. А вот забыла Нона степи, не пошла в степи Амеля!.. Она больше чем забыла: она изменила степям, изменила суровой вере Искаковой, за удобства жизни она продалась иной вере, иному народу, иному миру, — и вот вспомнилось все.

Полустершиеся картины воспоминаний рисуются перед взором. Вот и ночь, и перед ней с зажженной свечой стоит дедушка Ахмет, башкир старый, не изменявший вере отцов.

— Если ты, Амеля, любишь только степное, то любишь ли ты нашу барыню? — спрашивает он.

Так строго и жутко прозвенел этот вопрос среди ночи, а Нона об этом еще не думала никогда. Она не думала, что можно любить, кроме своих, еще и чужих; она думала, что следует любить только башкирское — то, что от степи, и когда дедушка сурово повторил свой вопрос, ответила искренно:

— Нет, не люблю.

Как обрадовался бы такому ответу суровый Искак, звавший в степи; но здесь случилось обратное: помнит Амеля, как даже при слабом свете свечи заметно побелело лицо Ахмета; так тихо принял он от нее свои руки и, сгорбившись, пошел прочь.

— Тогда я не люблю и тебя, Амеля, — был его ответ.

«Что же это, — с острой болью думает Нона. — Две правды? Две разные правды, и какой послушаться... За что было любить ее, эту чужую, русскую?»

И снова ответил старый Ахмет, и в словах его было видно, что говорил не только башкир: человек говорил в нем, много видевший и много простивший; не в книгах, а издавна изведенным опытом познал он тайну великой всечеловеческой любви: трудно жить без этого и в городе, и в степях.

72

Но сейчас же минуты облегчения застилаются суровыми мыслями; да, дед Ахмет был по-своему прав; но он был старый, он всю жизнь прожил вне степей, долгое житье вдали от степи вытравило из него все степное, — а вот Искак был родной; Ахмет был уже почти что русский, — а вот Искак был настоящий башкир, как и Амеля. Он любил родину суровой любовью, он звал к ней, он говорил, что отступить от родины — грех, а Амеля именно отступилась и предала ее и веру за спокойное житье. Суровый был Искак, а как с приходом его сердце светлело! Значит, он был настоящий, он — батыр степи, ее богатырь.

Дальше и дальше вспоминает Нона.

Вот настали и годы институтского ученья: она уж не была более Амелей: ее крестили...— Даже Ахмет, и тот умер неокрещенным,— упавшим голосом шепчет она и жалобно ежится, как озябший зверек. И была она в институте уж не Амеля, а Нона, и училась русским наукам, и жила жизнью русских, а вот однажды ее вызвали вниз, в прихожую, и там увидела она седого башкира, и башкир этот был Исян, но был он такой странный и пьяненький, и грязный, что она заплакала тогда тихо, горько и жалобно, как раненый зайчик. «Родина — она мать»,— сурово сказал тогда буфетчик, а Исян не говорил таких слов,— он только ухмылялся растерянно, и пахло от него неприятно, и когда она дала ему золотой, схватил его так жадно, что ссадил ей, помнится, грязным ногтем на ладони кожу.

«Вы, степи!» — холодно подумала тогда Амеля; а как плакала она по ночам и извивалась от боли в тоске по степи, никогда в жизни не виданной,— ведь ее увезли от нее чуть не в день рождения,— но такой любимой.

Отчего очарование простора неведомого так больно и сладко сжимало душу? Разве душа эта по степям блуждала? Разве касалась она степных травинок? Или это был только инстинкт степи,— извечной матери ее дедов и отцов? Может быть, души их, степи выдавшие, звенели тогда в душе Амели?

«Как жили, какие стада водили!» — говорит грубый, словно чугунный, голос. Это ничего, что Исян был пьяненький; Искак зато — властный и грозный; это только для Амели плохо, что из-за пьяного Исяна она могла от любви к степям отойти; Исян был слабый и жил, как зверь; чуть не умер от тифа, и заболевший палец на руке был обрублен ему топором,— но все это, наоборот, звало не покидать степи; а идти в них на работу, на жизнь.

Потому и Искак не захотел к ней приехать.— «Сменила веру,— не нашей стала Амеля».

«Вы, степи!» — бледнея, шепчет растерянная Нона.

И снова рисуются степные просторы,— горы, и речки, и безобразные разоренные избы. Как легко ездила она среди них вместе с теткой и Балычковым; как равнодушно приглядывалась к их умершей жизни,— точно не была от этих степей Амеля, точно ездила она среди чужого народа; умирали перед ней братья ее, а она ездила и веселилась, и была радостной, и только мимолетными тучками осеняла ее печаль.

Как могла она, проезжая тихими, бессловесными деревнями, наслаждаться воздухом? Как могла, имея в руках средства, ни разу не попытаться облегчить жизнь погибавших от нищеты? Разве не видала она черных пней от лесов порубленных, детей башкирских в канаве грязной; разве не проезжала мимо землянок, около которых смрадом веяло.

А разве тут же рядом она не видала и дома богатого? Разве не проезжали они мимо землянки Шарипа и богатого дома Юсупа — двух братьев родных? Как тогда сказал Балычков: «По-разному братья живут». Да и сам Юсуп разве не сказал тогда про брата: «ленивый брат не есть брат»?.. — Отчего же это всегда на земле — и богатые и бедные, и отчего жизнь так жутко загадочна, так жутко неразрешима?

«Разве так и надо походить на этого?» — вдруг встает в уме Ноны каменный вопрос. Так он тяжел и неожидан, и весок, что поднимается на своей постели Амеля. — «Так и следовать Юсупу? Так и жить, как Юсуп живет?..» Встает, глаза светлеют пронзительно, и спокойно, и жестко. — «Из-за того, что Юсуп — отступник, забыть своих?..»

Быстрое, как и все в ней, страстное намерение охватывает душу. Необходимо увидеть Искака; необходимо увидеть его и сказать: «Да, она крещена, но она не чужая. Она родная степи, и больше, чем другие, живущие там... Она докажет».

Порывистым движением схватывает она шляпку и пальто. Ведь платье ее в грязи, — пальто необходимо. Да, вон какие пятна, да, да. Их уже не стереть. В дверь ее комнаты, однако, стучат. Это, наверное, тетка Аня, Анна Петровна. Надо быть осторожной... Глаза мгновенно делаются спокойными, углубляется, делаясь холодно-стальным и непроницаемым, взгляд. Надо, чтобы никто не заметил, никто не узнал.

— Да, я немного устала на прогулке и прилягу, — громко и спокойно говорит она вошедшей профессорше. И сама вслушивается в свой голос: «Как умеет она притворяться, как умеет лгать».

73

Спокойная идет по дому, в зале взглядывает на себя в зеркало. Лицо обыкновенное, не бледное, не взволнованное, — так оно и следует быть.

— Был здесь Александр Евгеньевич? — обычным приветливым и ясным голосом спрашивает она, хотя внутри ее еще содрогаются сердце напрягшееся, сердце, порешившее навсегда.

— Как же, были, два часа просидели, — с готовностью объясняет горничная. — Обещались еще к вечеру перед церковной службой заглянуть.

«К вечеру!» Нона смотрит в окно. — День еще долог, — день весенний, ясный, — до вечера далеко... В церковь пойдут все к пасхальной заутрене, страстная суббота... праздник.

— А где тетя?

— Их превосходительство у себя... легли почивать.

Не смешно сегодня Ноночке то, что прислуга профессоршу величает «превосходительством». Не смешно даже и то забавное, что старой тетке это величание льстит, хотя она и брюзжит для виду... Сегодня дума одна, — дума большая, сложная, — все остальное потом.

— Так я пойду сейчас, не надолго... за покупками. Анне Петровне скажите, — скоро приду.

Захлопнулась дверь, — и сразу точно снялась с лица маска.

«Да, да, я что-то решаю, я что-то решила... — Холодеют виски, пальцы похолодели, а кровь беспрестанно приливает к сердцу, и сердце сжимается неровными толчками. — На что я решилась, на что решилась... Тетечка, милая... простите и вы, все вы!»

— Вы, степи!..

Торопливо, чтобы не податься назад, садится Амеля на извозчика. Сурово говорит она адрес: на Меновой двор, а глаза хитро и лукаво подсматривают: не видит ли кто, не заметно ли, что щеки у нее пышут жаром, а сердце бьется, как захваченная птица.

— Скорее! Скорее! — шепчет она, когда извозчик пересекает Большую улицу. «Слава богу, народу немного: все разбрелись по домам, готовятся к празднику, к светлой заутрене, к радостному пасхальному дню».

— К каким воротам, барышня? — спрашивает извозчик.

Бьется сердце, стучит в висках, не понимает Нона.

— Что? что? — растерянно спрашивает она. — Что ты говоришь? Я не понимаю, — что? Ах, да, да, вот рубль. Нет, без сдачи. Ты говоришь, здесь? Спасибо, благодарю.

В воротах сыро и смрадно. Там, за ними,— напоенный апрелем солнечный воздух, а здесь идти всего под сводом минуту, а кажется, идешь час: так сыро и неприветливо. А впрочем, решено, все равно. Вот лавки, вот вывески татарские, вот тюки с хлопком и бочки, вот палатка сторожевая, а вот сюда тогда он с лошастью завернул,— к этой старой лавке. Что же он? Уехал? — На мгновение радостной дрожью захватывает сердце...— О, если бы! Господи, сделай! Сделай, господи!.. Что сделает? Что?.. Да то, чтоб он не был... Чтоб не был, не был... Чтоб здесь не был... Здесь...

Лошади нет; перед лавкой сидит босоногая девчонка-подросток и нянчит слепую, бесхвостую кошку.

— Не знаете ли, тут Искак останавливается... Искак?..

— Башкирин, что ли? Рябой?

— Башкирин, башкирин...— с трудом подтверждает Амеля: так ее оцарапало слово: «рябой».

«Боже мой, он к тому же еще и рябой!— твердит кто-то маленький в глубине раненого сердца.— Ко всему еще он рябой... рябой...»

«Но что же? — вдруг громко и уныло спрашивает себя Нона, спрашивает твердо, решительно, совсем белыми губами.— А разве Исян лишь не случаем спасся от тифа? Разве ему палец заболевший не обрубили топором? И Искак рябой от того, что не было вовремя помощи. Все вот так бегут от беспомощных, а надо помогать.

— Если вы к башкиринам, то они все вон там у старьевщика... Лошадятину лопают,— говорит, осматривая Нону, девчонка.

— Ну, ты! — вдруг с озлоблением выкрикивает Амеля. Что-то острое поднимается в ней со дна души, и глаза щурятся от гнева.— Не смей так, не надо. А, впрочем, вот тебе... вот, возьми.— В грязь подле девочки падает рубль.— Ты говоришь, туда, налево? Туда?

Противный запах чего-то вареного, сального охватывает Нону, когда подходит она к конуре старьевщика. Тошнотно-тяжело пахнет перед дверью помоями. «Уйти бы!»— растерянно поворачивается в мозгу. Но сейчас же она говорит себе: «Так надо!» и, вздрагивая от отвращения, входит в избу.

Несколько черных башкир сидят на войлоке вокруг деревянной чашки с маханом. Оттого, что в комнате сумрачно, лица сидящих кажутся зловещими.

Хотела перевести дух Нона, а в сердце так кольнуло, что вскрикнула она.

— Кто здесь Искак? — громко спросила она, и вышло так резко, что некоторые из сидевших привстали, переглянулись. Беленькая, так не идущая к грязной обстановке барышня стоит перед ними.

— Выйди отсюда, Искак: я хочу с тобой говорить. Кто Искак?

— Я — Искак, — ответил знакомый угрюмый голос.

И повторила Нона, узнав его, съежившись, как под ударом, и жалобно:

— Выйди отсюда: я хочу говорить.

Задохнувшись, она быстро выбежала из клетки на воздух, и обе руки прижала к груди, к одному местечку слева, где было так больно и страшно. Еще никого не было за ее спиной. Искак почему-то медлил выходить. «Еще можно убежать, — мелькнуло в голове. — Убежать к прежней, радостной, светлой жизни, к тете Аничке, к старому богатому дому, к вещам милым и старинным, к портретам красавиц-мадонн, к нему... этому, с золотистыми волосами, который поклялся не быть грубым никогда. Еще можно было убежать...» В искушении она даже двинулась. — «Господи, господи!..» — И остановилась:

— Вы степи!..

Оглянулась, смятенная, уничтоженная: не сразу рассмотрела его лицо. И он не узнавал. Он стоял и щурил на белую нарядную барышню глаза и не понимал: зачем вызвала его эта богатая русская, в таком странном платье. Но его узнала. Она узнала эту редкую бороду, которая так угрюмо двигалась, когда он говорил о степях; узнала воспаленные глаза под изогнутой дугой красной бровью; и лицо рябое узнала, а больше всего этот палец, палец черный, ныне опущенный вниз, который ранее так сурово указывал:

«В степи!»

«Боже мой, боже мой! Все кончено!» — И сказала вслух, желая проговорить по-башкирски, но забывшая разговорную речь:

— Я внучка Ахмета, Амеля.

Медленно вскинулось жесткое лицо Искака. Глаза расширились, рот раскрылся и неровные, редкие, нечистые зубы тускло блеснули среди обветренных губ.

— Амеля, внучка Ахмета? Крещеная Амеля?

— Да, крещеная,— Нона задохнулась.— Но что же... Некоторое время они молчали.

— Что же надо от Искака... крещеной Амеле?

— Искак,— Нона растерянно осмотрелась. На них из дверей лавки глядело несколько темных, застывших в наивном любопытстве лиц.— Отойдем немного.— Искак медленно, словно нехотя, подался за ней и снова остановился, прямой и высокий. Угрюмое, убийственное презрение лилось из его тусклых глаз. Желтое лицо сделалось еще более желтым, словно вся желчь, поднимавшаяся снизу, внезапно затопила его. Красные брови были переплетены седыми прядками, которые резко светлели. Синел рубец на впалой щеке.

— Искак,— еще раз повторила Нона и, словно защищаясь, подняла руку.— Я видела раньше Исяна, а ты не приходил... Мне захотелось увидеть тебя...— Понемногу вспоминались родные башкирские слова, и говорить делалось легче.

— Зачем видеть меня отступнице? — угрюмо и раздельно гудели ожесточенные слова.— Ты изменила нам, ты стала чужая, и мы знать тебя не хотим.— Это говорит Искак.

— Но разве...— Голос Амели перешел в шепот, она двинулась и поникла.— Искак, ты не уходи. Я знаю, все это было нехорошо, но разве и у вас там... там, в степях... разве все живут правильно? Разве я не видела Юсупа и Шарипа, Искак? Юсупа богатого.

— Богатый Юсуп помер.— Как проклятие, прозвучал голос, и, вся вздрогнув, в каком-то исконном страхе, склонила голову Амеля.

— Умер?

— Собаке — собачья смерть,— бог наказал: бог велик, бог не прощает. Заразился Юсуп язвой от жены муллы. Бог нашел. Так все умрут,— все неверные.

— Язвой?.. Юсуп умер? Язвой от жены муллы?

— Бог найдет. Бог видит. Все умрут отступившие, все умрут.

— А-а-а! — вдруг закричала во весь голос Нона и, бросившись к Искаку, схватилась за его руку.— А-а-а! — Ужас нечеловеческий, ужас дикий, может быть, степной, темный ужас, доселе сидевший где-то притаенным в уголке черепа, вдруг вспыхнул в нем и стал шириться в голове,

словно выталкивая оттуда кусочки мозга и все наполняя собой. Так гипнотизировал ее этот ужасный ровный железный голос, так угнетал неподвижный, словно отравляющий, взгляд, что она держалась за руку Искака, вся трепещущая, уничтоженная, и боялась только одного: что Искак отбросит ее от своей руки и оставит одну.

— Я уеду с тобой. Я убегу. Только ты не гони меня.— Она видела, как обступили ее темные, оборванные люди и смотрели загадочно, а один даже трогал для чего-то пальцем ее белое платье.— Я изменила вере, но была я маленькая... а теперь я снова заслужу ее. Опять буду жить среди вас, я — снова Амеля, я бросаю это и это... Она бросила перед собой сумочку и шляпку и тихо дрожала, прижимаясь к каменному плечу Искака.— Я все брошу, я опять найду своего бога, буду среди вас, буду вам помогать... Я сегодня же убегу.

— Если ты хочешь убежать от них,— Искак двинулся, но лицо его было так же бесстрастно и ровно, как раньше, как всегда,— если ты хочешь идти к нам, мы примем тебя. Но войди в дом. Надо все хорошо решить.— Медленно он повернулся и, не взглянув на Нону, пошел к двери; а за ним, точно привязанная невидимой, неразрывной цепью, точно захваченная властью чужой громадной воли, с опущенной головой побрела в темную избу Амеля.

За нею шаркали грубые сапоги и калоши; кто-то икал, кто-то хрипло бормотал короткие загадочные слова... Не видела она, что один из стоявших около нее во время разговора с Искаком отстал перед дверью, склонился к брошенным Ноной вещам... Она не видела ничего, кроме жестких, каменных глаз, и не слышала ничего, кроме слов проклятия неверным.

Войдя в избу, она робко стала к сторонке. Началось совещание, как убежать.

75

Когда, через полчаса, она вновь вышла из лавки старьевщика, лицо ее было бледно, и глаза смотрели погасшие, насторожившиеся. Все было решено. В полночь, когда все уйдут в церковь к пасхальной заутрене, за домом профессорши будет стоять телега Искака, запряженная парой. Вторую лошадь даст хозяин меняльной лавки; Искак сам будет ожидать Амелю. Следовало захватить с собой теплое

платье: ехать придется всю ночь. Не следовало никак брать чужого; но что было Амеле подарено или оставлено дедом, принадлежало ей. Так все было обдуманно. Надлежало еще оставить письмо профессорше, что уходит Амеля по доброй воле; просит не делать попыток ее отыскивать и приводить... — тем более силой. Ушла доброй волею, к своему народу, навсегда.

Когда, пройдя теми же сумрачными воротами, Амеля вновь вышла на залитую погасающим светом солнца широкую площадь Большой улицы, блестящую богатыми домами и нарядными магазинами, полными прекрасных вещей, к которым так привык глаз, то, что происходило в темной лавочке старьевщика, вдруг показалось ей небывшим, невероятным.

«Может быть, это все — сон? Может быть, я брежу? Я больна?» — забрело в голову. И усилием мысли она заставляла себя думать, что она спит, что она еще не проснулась и лежит в своей постели, в чистенькой, нарядной комнате, где у окна копошатся кролики, ожидая свободы. О, если бы в самом деле была это болезнь! Если бы захворать, захворать надолго, опасной смертельной болезнью, а потом очнуться и вдыхать возвращающейся к жизни грудью воздух и потом больше не приходиться ни к чему этому... никогда, никогда!.. О, если бы заболеть!

И с жадностью прикладывала Нона к вискам руки: нет ли жара. Нет: виски холодны, сердце бьется размеренно: ровно и спокойно; она не больна и не дремлет, она идет по улице, идет в последний раз, — она покидает все это, покидает милый город, в котором прожила всю жизнь, покидает навсегда.

Едет извозчик, и извозчик ей кажется милым: ведь она в последний раз видит этого извозчика; чиновник проходит; как мило блестит его кокарда, и какой сам он красивый, хотя и старенький, и согнутый, и седой, и руки у него сморщенные и бесцветные, как резинки. А вот коротенький, весь черный, заросший волосами от самых глаз часовых дел мастер протирает над дверью вывеску «починяю в рассрочку». — Боже, какой он жалкий да милый: ведь видит его Нона в последний раз.

Перед подъездом особнячка профессорши безмолвное рыдание вдруг потрясает грудь Амели. «Я должна его покинуть». Покинуть дом, старую тетку, — все. Да нет же,

это — сказка, это — сон, это болезнь; конечно, она еще не проснулась, и самое лучшее будет просто позвонить в этот звонок, который, конечно, не существует, и ничего за этим не произойдет.

Нажимает кнопку звонка и улыбается. Ну, понятно, сон. Не может быть, чтобы Нюночка, столько лет прожившая под этим небом, в этом доме, вдруг лишилась бы всего и сегодня же ночью... навсегда... Вот, и не идут отворять; разумеется, все это сон. звонка нет,— боже, как немного нужно для счастья: только чтоб не было этой крошечной пуговки звонка!

Однако дверь гремит, дверь растворяется, и на пороге показывается горничная. Смотрит Нона. Да, да, это — горничная. Но, может быть, и это — сон?

— Что вам? — спрашивает Нона упавшим голосом и враждебно отстраняется.— Что вам?

— Извините, барышня,— отвечает горничная, удивленно взглядывая на Нону.— Я замешкалась немного. Засиделась малость на куфне и не слышала.

— Разве я звонила? — враждебно отстраняясь и все еще не входя в дом, говорит Нона. Потом в ухо входит: «на куфне». Как, в самом деле, много может значить в жизни какая-нибудь последняя, ничтожная мелочь; здесь, например, все решает так ужасно и бесповоротно одна коротенькая и глупая буква «ф»; если бы горничная сказала «на кухне», еще можно было бы сомневаться; еще можно было бы думать, что это во сне, но горничная Марфа всегда говорит на «куфне»; этак говорит только Марфа, вторая горничная, живущая в их доме, живая, подлинная Марфа, в которой нельзя сомневаться.

«Да, на «куфне»,— уныло и зловеще повторяет Нона и устало проходит в переднюю.— А Анна Петровна («тетя» уже не выходит) все еще спит? И он не был?.. Как благополучно!» Нона устало улыбается мертвыми губами.— Значит, она еще не так долго пробыла...— «А профессорша спит перед заутреней... Да, спите, спите».— Она поднимается по лестнице к себе наверх.— «А э т о т, наверное, наряжается к церковной службе... чистится... надевает лучший костюм...»

«Да, да... Скоро будет праздник... праздник вам всем...»

Холодными и уверенными словами пишется последнее письмо к тетке. Стоило только засесть за стол и вспомнить о желтом проклинающем лице, как лились с души слова

прощания, точно выученные наизусть, точно вбитые в мозг железной волей.— «Юсуп умер,— бог его покарал: так умрут все, от веры отступившие».

В самом деле, все благоприятствует ее уходу: одна она в доме, и его нет, и тетка заснула. Значит, так велит бог суровый. Суровый, карающий отступников, так велит. Теперь надо быть осторожной только до заутрени. Только несколько часов быть хитрой и лукавой, а там — конец.

Старательно собирает она в узелок то немногое, что — «свое». Надо взять лишь вещи от дедушки, а своих не брать: они чужие. В крошечном сундучке лежит все от Ахмета: вот старенький черный галстук, милый и смешной, такой древненький и потертый; вот его мешочек и в нем четыреста рублей,— то, что было накоплено дедушкой за всю жизнь работой; эти деньги — святые,— их необходимо взять и отдать той степи, которая родила его. Вот две арабские книжечки — единое, что осталось от прежних родных книг у Амели; их тоже надо непременно захватить; эти кольца и брошки — подарки профессорши; осторожно их на столик выложить, на видное место, чтобы сразу нашли. Эти серьги... Лицо Ноны бледнеет,— подарены они и м; они ценны, очень ценны, на них можно сделать в степи много хорошего, а взять нельзя... Странно сказать, странно признаться, но что-то жуткое поднимается со дна души, если долго смотреть на эти серьги. Они светлы и яркие, как глаза, его глаза.— Глаза его светлые, яркие,— жалобно говорит Нона и, склонив голову на столик, тихонько плачет. — Отчего она плачет? Любит ли она его?.. Лицо бледное, тонкое, покорное... Как сравнить его с жестким и злым, черным, проклинающим лицом.— Глаза его светлые, глаза милые... — жалостно говорит она.— Но нет любви, не надо любви к человеку: степи зовут.

Голодные, нищие, обиженные степи, которым надо помогать.

76

«Но, может быть, все это... все-таки — сон?.. — еще раз заносится в голову.— Может быть, сон?» — с истерическим рыданием бросается Нона на колени перед окном и смотрит в темнеющее, тронутое закатной кровью небо. Молчание стоит, тысячелетнее, непонятное, еще никогда

не объясненное.— «Никто никогда не помог человеку ступить по земле, как только он сам».

Падает сердце, падает голос, опускаются руки, устало отходит от окна Нона и садится в уголке. Молчит небо. Равнодушно внимают дома и улицы. Весь город притаился в сумраке и безмолвно слушает, как бьется в сетях запутавшейся мысли маленький, растерянный человечек, как пытается развязать гордиев узел счастья и долга.

Все молчит, и молчит немое тысячелетнее небо. Убежит завтра в темные степи свои Амеля,— а над городом будут плыть те же облака, и пыль будет та же веять по улицам, и дома стоять те же, и извозчик выедет тот же на угол к городскому бульвару, и мастер часовой будет так же протирать дощечку: «в рассрочку починяю».

С горькой, обиженной улыбкой встает из своего уголка Нона. Никому до нее нет дела; все молчат, все немые, все заняты своим...

— Помогите же, скажите, где быть Ноне: в городе или в степи?

Молчание. Тишина.

Вздрагивающей, холодной рукой укладывает она свои вещи. В дверь стучат, потом входит с заспанными глазами улыбающаяся профессорша! Глаза сонные, а платье уже парадное, с кружевами и нафталином. Не видит она пятен на платье Ноны: заспанные глаза.

— Я, кажется, немного вздремнула до заутрени? — говорит она.

Равнодушно и отдаленно встречает ее Амеля. Чтобы не показать равнодушия, отходит и ложится на диван.

— Голова болит... Я...— Слезы подступают к горлу.— Я...

— Что ты, что ты? — испуганно прерывает ее Анна Петровна.— Уже десять, через час идти к заутрене. Надо одеваться.

— Разве уже десять? — устало спрашивает Нона.— Хорошо. Если десять, я буду одеваться. Белое платье?

— Конечно, белое.— Глаза профессорши блестят изумлением.— Не то надень, которое сшили мы для венчания, а все же белое. Непременно.

Бледнеет Ноночка, услышав новое слово. Пугает оно так внезапно и жутко.

— Нет, тетя, я непременно венчалное надену. Непременно,— добавляет она грустно и устало на протесты ста-

рухи.— Я, может быть, сегодня ночью на венчанье иду...— внезапно бледнея, добавляет она.

— Что ты? Какое венчанье?..— лепечет Анна Петровна.— Что ты говоришь?

Подходит Амеля к раскрытому окну, за которым тянутся поля и равнины.

— Со степью, тетечка,— сурово и грустно говорит она в потемневшее небо; говори? туда, в пустоту, так, чтобы не услышала старуха.— С вами, степи, я венчаюсь сегодня... Ох, жутко!.. Застилаются глаза.

Вы, степи!..

— Ах, ах, скорее, скорее,— твердит за ее спиной профессорша и трогает за плечи сухими, шершавыми ручками.— Да куда ты смотришь, Козочка? Надо спешить, скоро придет Александр Евгеньевич, а потом...

— Да, скоро,— повторяет замирающим шепотом Амеля.— Теперь уже скоро.— Голос углубляется.— Скоро я отдам вам себя.

Вы, степи!..

Платье венчальное, платье белой невесты непорочной надевает она. Как крылья, веет за спиной белая прозрачная ткань.

77

Перед самым уходом к заутрене она говорит, что у нее болит голова. Ей и в самом деле дурно. Рыдание потрясает ее, и испуганный Дорнбильд смотрит на нее растерянно и беспокожно.

Целый час была с ним ласковой, как никогда, Амеля. В одиннадцатом часу она сошла сверху в белом, невестинном платье, и Дорнбильд взглянул на нее притаенно-радостно.— «Неужели она сама так решила? Неужели сама?..»

Красивое лицо его цвело от счастья. Он не решился спросить у самой Ноны, а профессорша говорила так уверенно, что сомнений не оставалось. Озабоченно тетка спешит в церковь, а Нона придет с Дорнбильдом. Остаются они в доме одни.

— Может быть, я вас и в самом деле потом полюблю,— внезапно бледнея, говорит Нона.— Отчего мне сегодня со всеми прощаться хочется... Пойдемте по комнатам, пройдемте непременно.— Она говорит так возбужденно, что

Дорнбильд теряет. — «Но ведь она... сегодня решила... она...»

— Смотрите, — говорит Нона, остановившись в гостиной перед портретом Анны Петровны. — Смотрите: ведь это — тетя? Неужели когда-нибудь и я буду такую же, как она... теперь? Неужели все так проходит? — Молчит, колеблется и добавляет тихонько: — Я никогда не буду такой. Я останусь, какая сегодня. — Жуткий смех ее звенит точно вдали. — Правда?

— Ноночка... — тревожно поднимается с кресла Дорнбильд.

— Нет, скажите, что — для вас я такой навсегда останусь. Скажите мне, поклянитесь.

— Клянусь вам. — Он отвечает тихо, его голос дрожит. — Для меня всегда вы останетесь такую.

— Это запомните. — Нона шепчет так странно и, не давая ему прийти в себя, влечет за собой. — Вы милый, милый, и я хочу вас за это... вот!

И как раньше, но полная сейчас безудержно-жуткого, единственного в жизни чувства, она обвивает руками его шею и два раза целует в губы.

«Прощайте навсегда», — говорит она, чтобы не пугать его, про себя.

Вы, степи!..

Громадный, как небо, удар колокола разрывает воздух. Оба вздрагивают: Нона и Дорнбильд.

— Боже мой, двенадцать... — взволнованно шепчет он. — Мы опоздали к заутрене.

Бледнеет и Нона.

— Да. Теперь уже пора... — Она говорит медленно. Ум работает холодно и ясно. — Чтоб не пугалась тетя, идите сначала вы в церковь... и скажите, что я... — Бледнеет, слова уничтожаются, — неужели сказать?... — Скажите, милый, скажите, что у меня... голова болела... что я... приду вслед за вами... с горничной приду...

— Но как же... как же...

— Я прошу вас, — сурово говорит Амеля и опускает голову. — Прошу в последний раз. Неужели вы не можете сделать для меня в последний раз?

— Извольте, я подчиняюсь... — поднимается Дорнбильд.

— Я провожу вас. — Нона идет с ним. — Я сама потом запру дверь, — обращается она к горничной. — Вы идите.

Снова остаются одни.

— Слушайте,— шепотом говорит Дорнбильду Нона и снова склоняется к его лицу.— Вы видите, я нарочно ото-слала ее... Я, может быть, и в самом деле люблю вас... За-помните это, что бы ни случилось...

«Я вас люблю, но... степи я люблю еще больше,— свои степи я должна любить»,— безмолвно добавляет она.

Крылатая, бессмертная фраза пушкинской Татьяны всплывает в уме. И сейчас же Нона жалко улыбается.

Ну, какая она Татьяна,— слабая, запутавшаяся в про-тиворечиях жизни башкирская девочка, оторванная от род-ной степи и к ней возвращающаяся. Точно умершее, оста-навливается сердце.

— Идите. Идите же,— добавляет она беззвучным голо-сом.— Я тоже иду...

Вы, степи!..

Покорно и послушно отходит Дорнбильд. Так жалко колеблется в свежем ночном воздухе его стройный стан. Туман ночной апрельский постепенно скрадывает его. Бе-леет фетр шляпы милый. Или это лицо его милое оберну-лось? или глаза блеснули? Что это? — В черном небе по-катилась звезда и рассыпалась золотой, меркнувшей пылью.

Забыв про собранные узелки, про дедовские деньги, медленно, точно отрывая ступни от русской земли, про-двигается вдоль изгороди сада и крадется к полю Амеля. Глаза ее угасшие блестят во тьме ночи. «Как бледнело его лицо, как глаза померкли...» Блестят на ресницах алмазин-ки — единая драгоценность, что она уносит с собой.

Редкие, запоздавшие к заутрене прохожие оглядывают ее безучастно. Улица пуста: вот и поле, и лес. А там, за березками, телега и черный Искак, слова которого так не-пререкаемо страшны.

— Я пришла, Искак,— говорит она спокойно, став у телеги. Может быть, впервые взволнован даже этот суро-вый, каменный человек. Спокойно садится на вязку сена в белом венчальном платье белая Амеля.

Вы, степи!..

— Будет холодно к утру,— ты ничего не взяла.

Вы, степи!..

Черная рука выпрямляется,— и в руке кнут. Трогаются лошади.

Вы, степи!..

Рассказы



ИЗ ГОЛОВЫ МЕДВЕДЯ

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

1

Обволакивает сердце жуть, когда едешь ночью один по глухой башкирской дороге; и тянется она бесконечной лентой, неровная, пыльная, черная; то стремится смело с горы, то ползет на крутизну, то вдруг исчезает, добежав до болота: и не знаешь, влево или вправо поворачивать лошадь; а лошадь глухо храпит, нерешительно вступая в воду; и чувствуешь, сидя на ней, как подрагивает она, расширив ноздри, чутко осматриваясь и отыскивая себе более безопасный путь; осторожности ее доверяешься вполне и только туго держишь ее на поводу, предостерегая от падения... А кругом толпятся или сонные горы, или очерненный лес; и от леса и от гор на далекое расстояние раскинулись строгие, молчаливые тени, еще более увеличивающие мрачную обстановку пути. В изумрудно-синем небе громоздятся тяжкие массивы облаков; они черны, как кокс, их формы фантастичны: вот огромная ошестинившаяся рыба, вот рояль, вот пасть сказочного чудовища с вздыбившейся гривой; зеленый глаз его горит под рогом во лбу... Меж этих чудищ, гонимых на огромной высоте здесь неслышным ветром, ныряет скорбная луна; она бледна и уныла, она тревожит,— и в то же время глаз жадно ищет ее мертвый диск, прогоняющий тени, и радуется ему, отдыхая...

И охотно играет в этикие ночи воображение; жуткие рассказы о недобрых придорожных встречах с лихими людьми всплывают в уме; зорко осматриваешься, подъ-

ехав к оврагу: не поджидает ли там с топором и арканом потомок башкирского баранта Сафы... Луна кинулась в пасть небесного дракона, она проглочена облаком, кругом индиго ночи, захрапевший конь делает скачок в сторону, вы пошатнулись в седле и перед вашим лицом маячит покосившийся черный крест — память убитого при дороге. Луна все еще под покровом тучи, полусгнивший пень ветлы с двумя торчащими зубьями кажется присевшим на корточки человеком, поднявшим руку с ножом; да и вокруг в разных позах приник к ковылю десяток неподвижных фигур... Свет луны,— и с облегчением видишь, что это — старые, объединенные временем камни — памятники башкирского кладбища. Насмешливо ощерясь, стремительно катится дальше по небу луна... А вот горная речка, и на ней сказочный мост, могущий сверзиться от дуновения ветра; на настиле его, состоящем из охапки ветвей, скупо сдобренных навозом, там и сям разбросана солома... Как знать? Может быть, эти охапы прикрыли дыры в мосту, куда свалишься через голову лошади или вместе с нею?.. Надо слезать, вести коня под уздцы. У-у-у! — гудит шаркающий ветер, и опасно-ласково катится меж камнями dna родниковая вода.

И не одних людей приходится остерегаться ночами в этой глуши: леса еще полны волков, можно встретить и медведя, стаи голодных волков опаснее неуклюжих «топтыгиных», — а тут еще рыси, степные рыси, не столько, правда, страшные наяву, как в рассказах об их стремительных нападениях.

Вот равнина, вот степь; ветер упал, облака как чудом стояли, сбежали, небо бескрайно налито чудесной явью, земля налита гомоном своих ночных невидных жильцов. Наивные дудочки птиц, тяжелое гуденье жука, сухой и немолчный треск кузнечиков; где-то за косогором ухает филин, пронзительно свищет сыч, именуемый «чертом»; вот что-то темное перебежало дорогу. По длинным прижатым ушам узнаешь: заяц, — и это, как ни смеешься над приметами, уж всколыхнуло нервы... Вот бьется что-то, слабо пища, в ногах лошади, — кролик? суслик? неоперившийся птенец?.. Торопишься дальше.

И уж надрывно звучит хриплая песнь коростеля-держача; уже раздражают горячие переключивания перепелов; ломит спину, немеют ноги, слышишь усталое дыхание коня... Но вот башкирская деревня.

Тоскливые мысли приводят к вам башкирские поселки своей подавляющей тишью, своим безмолвием, разящим ухо и глаз; нищета черная, нищета последняя, тишина безъязычная, — и, точно бельма, — пустые, неосвещенные кривые оконца лачуг. Словно наспех сложенные из самых бедных бревен избы зимою совсем не сохраняют тепла; бревна кривые, пригнанные по-детски неумело, тупым неловким топором; дверь косая, щелистая, низкая, требующая поклона пред входом; окна сплошь и рядом затянутые бумагой или распластанным бычьим пузырем; горькая, обожженная солнцем лебеда на крыше свисает уныло завядшими листьями; жалкий огрызок плетня, замазанная дрянью клеть для одинокой козы... Что это за жизнь, на смерть похожая? Почему такая цепкая, неотвязная, подавляющая, смиренно-молчаливая нужда?

Был богатый народ, жил богатый народ...
Знал своих он детей и стада...

Кто родил эту песню, звучащую кощунственно под диким рогом месяца? С детских лет этот месяц говорил нам о степной и грозной «батыевой» силе, о сказочной роскоши, — и вот черная, последняя нищета. Какой безобразный жестокий «игрок» вдруг захватил своей лапой эти дома и превратил их в пахучие дырявые логова, и развалил их по этой пустой и голодной площади? Кто снял «с плачущих жен серебряные кажбовы» и унес их в своем жадном кармане? Кто облек плечи женщин в дырявые рубища, дрожащие от слез? Ответ горек:

— Урус.

— «Генерал-губернатор гулял, — рассказывают старики. — Два генерал... три генерал...»

Три генерала — и страны нет.

Тихонько, опустив поводья, объезжаю я спящую, приникшую с немой жалобой к земле деревушку.

Недолга летняя ночь. Бирюзовое небо за пчельником закрашивается румянцем, почти арфой поет ветер в огромных серебролистных ветлах, на которые, как неуклюжие медведи, вскарабкались пенья ульев. Уже вылетают на работу неугомонные пчелы, и, удивленно позевывая, смотрит на них, поджав уши, словно тысячу лет не евший, окривелый пес. Как безгранично богато небо и как бедно лежащее под этим небом село! Кто велел?

— «Губернатор гулял, два генерал... три генерал...»
Захрапев, отскакивает лошадь: поперек дороги, скаля желтые зубы, лежит омытый дождями коровий череп.
— «Жил богатый народ, был богатый народ...»

3

Мне не надо сейчас, в эту рань, входить в избу, будить хозяев, поднимать их с блохастого войлока; и закрыв глаза, я вижу эту прокоптелую клеть с разинутой, точно всегда голодной, пастью печи, с широким, в полкомнаты, помостом — нарами, на которых проходит вся жизнь башкира с его рождения до смерти. Здесь он рождается, здесь спит, здесь ест, здесь женится, празднует рождение детей (если празднует!), здесь болтает с гостями (делает он это охотно), здесь болеет и умирает... Бревчатые стены и кривы и грязны; осенью и зимою в них поет свои печальные марши ветер, слабо позванивает осколками стекол или скрипит бычьим пузырем подслеповатое окно... Дома редко ведут за собой плетень, сберегающий от коз нехитрый башкирский огород; по большей части дома стоят одиноко, вразброд, лишенные крыш, вместо которых набросана земля... Жуткой, беспомощной и роковой апатией веет от этих неприглядных, опустошенных, холодных и голодных жилищ.

На улицах — ни души; это не то, что в русских селах. Здесь все точно вымерло или заснуло по чьему-то приказу, мгновенно и страшно; лишь кое-где, вглядевшись пристальнее, заметишь совершенно голого, с распухшим животом, перемазанного в грязи ребенка да тоскливо блеющую бородатую козу.

А если, внезапно повернув за угол, и наткнешься на кучку играющих в бараньи кости детей, — то не удивишься тому, как тихо и молчаливо играют эти смуглые дети, как неподвижны они, как апатичны и сонны, точно ноги их скованы параличом. Запустение. Тишина. Сон.

Вот на косом, скрипящем крылечке сидит старая женщина; в помятом медном котелке — наследии дедов — она варит похлебку из проса; ее руки черны, как волосы, ее щеки изморщинены; в распухших веках устало спрятаны ее прекрасные глаза. Что это? Она плачет? — Нет, она тиха и уныло-спокойна: это ужасная трахома, бич голодной и грязной жизни, покрыла язвами и скоро выест ее орлиные глаза.

Сейчас она готовит мужу обед, потом будет стирать и чинить его белье, — если только можно назвать бельем этот проношенный до последнего, двести раз заплатанный ситец, — потом будет колоть дрова, обжигать уголь на продажу, доить и кормить столь же голодную, как и она сама, козу. Непрестанный голод, труд, страх и болезнь — вот ее жизнь. «За корку хлеба — капля пота», — ее нищая судьба.

— Здорово, бабушка!

— Салям-алейкум!

— Воспитай сынов, бабка: богатых, сильных, как орлы.

— Стара я, бояр!

4

В окрестных селениях нашего тихого уезда среди старых башкир особенно был мне близок Угей. Никто не знал в точности, сколько лет прожил он на земле; уже давно он ослеп и был дряхл, но много весен, подъезжая к его дому, еще с пригорья я видел среди кустов вишенника его согнутую фигуру с желтым, мудрым, словно резаным из слоновой кости, лицом. Годы шли, а Угей все жил и думал.

Мудрость Угею, как говорили, была послана с неба; он знал песни о прошлом своего народа, о его богатырях и женщинах и умел так хорошо рассказывать, что на глазах у слушателей появлялись слезы.

Жил старик в небольшом селе Юлдаш, на самом краю его, у оврага, где был погребен в древности башкирский вождь Кусюм, ездивший, по преданию, к русскому хану Ивану просить защиты от киргизов.

Старая лачуга Угея была всего на одно оконце, но уютна, чиста и полна запахами горных трав. Любил их старик и собирал их, пользуясь односельчан от болезней, пока не ослеп.

Вместе с Угеем жила и его внучка Бибики. Ей самое большее было семнадцать лет. Ее бронзовый, смело очерченный профиль походил на орлиный; ее фигура, полная грации и силы, напоминала стремительностью серну.

Так часто красивы женщины у башкир; красота — и бедность, изящество — и дикость; как цветут они на охапках грязной соломы, среди стужи, голода и снегов?

Прекрасны у Бибики были глаза, зеленые, как трава, с длинными изогнутыми ресницами; зубы ее были белы,

хотя немного велики; несколько крупны были у нее руки и ноги; но улыбалась она — и точно пела в ней ее дикая душа; не помнилось, не хотелось видеть, что эта дикая птица неправильно сложена; самая крупность ее черт так шла к ее степной загадочной силе.

Старик ее обожал, и девушка по-своему любила его; Биби́к была очень своевольна, капризна, избалована; она вечно пропадала в лесах или норах, и застать ее дома было очень трудно; в противоположность башкирским женщинам, она была очень развязна в обращении, не робела в присутствии нового лица и бойко объяснялась на оригинально изломанном русском языке.

Обыкновенно рассеянная и насмешливая, Биби́к притихала, когда слепой Угей начинал рассказывать свои повести; в эти минуты, казалось, она очень любила своего деда и как будто даже его побаивалась; мелькало иногда в глазах ее выражение робости и смущения.

5

Мы оба, я и Биби́к, охотно слушали старика. Конечно, Биби́к предпочитала те легенды, в которых рассказывалось о храбрых богатырях, влюблявших в себя красавиц и даже губивших их. Глаза Биби́к разгорались, блистали; хищное, острое и упрямое выражение зацветало в них диким цветом: глаза становились странно светлыми и похожими на сталь... и невольно думалось, что эта сильная девушка, никогда не знавшая ничего, кроме собственной воли, была способна на решительное и опасное.

Биби́к иногда пела и с особенной охотой плясала; но пляска ее, неграциозная, негибкая, состоявшая в кружении, с легким притоптыванием ног на одном месте, не нравилась мне.

Гораздо больше любил я наблюдать Биби́к, случайно столкнувшись с нею в лесу. Лес словно поглощал ее, растворял в себе, в своей немой, сонной тишине. Огромные глаза ее, устремленные неподвижно в одну точку, казались изумрудами, на лбу появлялась морщина, рука, как лапа беркута, бывала простерта вперед, — и вся она, красивая и сильная, напоминала злую и опасную сказочную женщину-зверя... Но нравилась мне Биби́к и тогда, когда старик рассказывал свои повести.

Угей имел обыкновение повествовать ритмически, затягивая слова нараспев и стараясь придавать фразам созвуч-

ные окончания, для чего нередко приставлял даже лишние слова: эта манера рассказывать имела свою прелесть и не только в глазах башкира, легче запоминавшего содержание легенд.

Одно из его сказаний в особенности хорошо запомнилось мною, быть может, потому, что случайно в тот день довелось мне узнать нечто интимное в жизни Бибик.

6

Была весна, в самом ее начале. В Башкирии очень хороши вешние дни; с раннего утра я разъезжал верхом по горам на лошади, любясь чудесным сочетанием, в сущности, самых простых красок — белой и черной: ярких клочков кое-где нестаявшего снега и темной, перепоенной влагой еще не везде заросшей земли; устал я страшно; еще более изнемогла и лошадь; захотелось отдохнуть, и я повернул в Юлдаш к слепому сказителю.

Ехал я шагом, все засматриваясь по сторонам; солнце горело и плавало воздух; небо было залито весенним пожаром; весна была дружная; кое-где уже ярко зеленела ранняя трава, освещенная косыми лучами заходящего солнца; молодые пунцовые ветви деревьев казались переполненными соком; от земли шел густой опьяняющий запах, горы перед закатом выглядели строже; внизу, под косогором, небольшая речка выкрасилась в оранжевый и желтый цвета... Не хотелось въезжать в печальное пустое село, входить в темную, убогую избу...

Угей сидел во дворе среди вишенника, на пне, и, слабо и чутко улыбаясь, точно к чему-то прислушиваясь, поворачивал из стороны в сторону свое лицо с безжизненными глазами.

Услышавши мой голос, старик поднялся и крикнул побашкирски Бибик; радостно мне было, что девушка дома; я поздоровался с Угеем, с нею, почему-то выглядевшей смущенно, и, поставив лошадь под навес, присел на разостланную посреди двора кошму, на которой уже сердито пыхтел кособокий самовар.

За чаем, к которому я привез старому певцу очень любимый им кишмиш, Угей словоохотливо расспрашивал меня о том, долго ли я еще проживу в Башкирии; улегшаяся тут же на войлоке Бибик чему-то смеялась, поедая кишмиш и слегка щурясь от солнца; лежала она бесцере-

монно, расставив руки и раскинув полуобнаженные ноги; время от времени она поворачивалась к старику, искоса посматривала на меня и смеялась... но выражение затаенной тревоги так и не сходило с ее лица.

Сообщивши старому Угею все свои новости, я попросил его рассказать и мне о былом Башкирии. Тот, нимало не чинясь, согласился: Угей никогда не заставлял себя упрашивать и приступал к рассказам без предисловий. Он только осведомился, что мне было бы интереснее прослушать; и когда я назвал ему уже услышанную раз мною повесть, он вдруг оживился и предложил другую, которой я еще не слышал. Он пообещал мне рассказать легенду о происхождении башкирского народа.

Степенно разгладив свою серую бороду, он начал:

— Еще прежде того, как умерла в небе луна, существовала земля; но она была еще сыра и неустроена и походила на пустыню. И только один город стоял на ней в то время и звался он «Городом злых». Дивно хороши были дома его, — все из серебра и железа; но настолько же худы и грешны были люди, обитавшие в тех жилищах; они никогда ничего не делали, ибо были богаты; от праздности они постоянно ссорились, враждовали промеж себя и убивали друг друга; понятия о добре не было в их головах; брат женился на родной сестре, жены бегали от мужей и позорно любили женатых.

Рассказчик остановился, чтоб выпить чаю. Я мельком взглянул на Бирик; ее лицо меня удивило: оно все было переполнено удивления и восторга, глаза тлели как угли.

— Это хорошо, — сказала она громким шепотом и, заметив на себе мой взгляд, нахмурилась.

Губы ее были полуоткрыты, но она не улыбалась, а казалась сосредоточенной, точно обдумывавшей важное дело: это была совсем другая Бирик.

7

Угей продолжал:

— Самые страшные преступления оставались в том злом городе ненаказанными. Где бы следовало убивать без пощады, топить и вешать, там злодеи ходили без наказаний и совершали дела, еще более худшие. И гроза небес не касалась нечистых; редко-редко убивало кого-либо из них каменным дождем.

И было только четыре хороших человека в том городе. Двое мужчин и две женщины. По целым дням ходили праведные по улицам и напоминали жителям, что они потонули в грехе... Но смеялись злые над женщинами, а от мужчин уходили; небо отступилось от грешников, и они жили во тьме.

И сказали тогда четыре человека — двое мужчин и две женщины:

— Бежим от греха, ибо злые не будут добрыми!

И они вышли из города, преследуемые насмешками, захватив пищи столько, сколько могли унести. И сейчас же в небе показались огни, нависшие как стрелы над городом. А праведные шли и не оборачивались: так приказал им голос неба накануне, когда они были во сне... Они шли торопясь и в тревоге слышали, как за спиною их плачут и скрежещут зубами оставшиеся в городе.

И только поднявшись на высокую гору Кара, они обернулись и увидели, что с неба спустились огни и пожирают всех злобных. И обрадовались добрые, и воздали хвалу богу, спасшему их и покаравшему нечестивых.

Четыре дня и четыре ночи шли они — двое мужчин и две женщины, останавливаясь лишь для того, чтобы принять пищи. Но они не разочли, что им есть надо было умеренно: припасы истощились, они начали голодать и со слезами говорили друг другу:

— Где мы найдем себе хлеба?..

И вдруг грянул гром, и раскрылось небо, и люди попадали.

Очнувшись, увидели они перед собою жирного барана и удивились, не зная, зачем он и откуда: ведь пищи мясной тогда люди не ели. Долго плакали они и молились и наконец заснули. А во сне они снова слышали голос, который им говорил:

— Глупые! Я дал вам барана, чтобы ели вы.

И люди, проснувшись, убили барана и начали есть, и мясо показалось им вкусным.

8

Они забрали то, что осталось несъеденным, и пошли дальше; и шли они еще четыре дня и четыре ночи и пришли в землю, прекраснее которой не было на всем свете. Это была наша земля, и цвели в ней деревья с плодами в баранью голову, и огромные печеные хлебы висели на вет-

вах. И стали смеяться люди от радости, но вдруг увидели перед собою медведей. Они поняли, что эти звери пришли их съесть, как они съели барана, и испугались. А женщины, зарыдав, сказали мужчинам:

— Нам страшно!

И громко прикрикнули на них мужчины и, когда те оправались от испуга, обратились к ним:

— Разве вы не знаете, что наше спасение в боге? Вот, — мы не боимся!

Они хитрили, думая тем вызвать небо на их спасение. И бог понял хитрость людей, но не рассердился на них, а засмеялся, подумав: «какие они умные!»

И снова ударил гром, и увидели люди, что в руках у них копыя, и, накинувшись на медведей, истребили их.

После этого они заснули, а во сне опять говорил с ними голос:

— Дальше вы не ходите, ибо здесь будет ваша страна, и прекраснее ее нет на свете. Здесь от вас родится большой и хитрый народ и будет он числом, как пески.

А люди удивились и отвечали:

— Как же это случится?..

И велел им бог разрубить медведям головы, выбрать оттуда мозг и с молитвой разбросать его через себя во все стороны.

И проснулись люди, — двое мужчин и две женщины, и разрубили зверям головы, а мозг их разбросали по сторонам.

И поднялся большой ветер, и люди попадали на землю; а когда пришли в себя, то увидели вокруг множество людей. И те кланялись им и называли их ханами, а пришедшие думали:

«Как удивительны дела божьи: из головы медведей родился народ!»

И назвали они народ тот: «башкур», ибо он вышел из головы — «баш», — и сели управлять теми людьми.

А люди те все множились, и образовался народ, хитрый, как медведи, и силою им же подобный...

Угей остановился и потупил слепые глаза: он кончил.

9

Мы сидели на кошке, погруженные в адумчивость. Бибик подле не было; где-то вдали у леса мелькало красное женское платье; может быть, это была она?

Набежала быстро весенняя ночь. Угей отправился спать; я тоже улегся, но не в избе, а посреди двора, у плетня, на душистой постели из сена.

Не хотелось спать; звенели травы, звенели в них птичьи голоса; ночь бежала быстро и неслышно, ясная, свежая, прохладная; я надвинул на себя дорожный чапан и продолжал глядеть в высоко раскинувшееся небо; зеленоватая его лазурь сменялась бирюзою; бирюза все темнела, поплыли в воздухе тени индиго, настойчиво ширясь и заполняя собою весь кругозор; темная пелена быстро расстилась по воздуху, все натягиваясь и раздвигаясь, и вдруг прорвалась маленькими светлыми отверстиями в разных местах; чудилось, что в далекой выси, за этой темною пеленою, снова начался день и горячие лучи взошедшего солнца просвечивают в отверстия...

Сон тихо и осторожно овладевал мною; но шум где-то вблизи его спугнул. Я приподнял голову, прислушался. Было тихо. Прямо в глаза лился свет луны. Я начал опять забываться, но послышались голоса; я узнал притаенный голос Бибик. Было странно, что она не спит; другой голос был мужской.

— Не хочется мне отпускать тебя ночью, — недовольно говорила вполголоса Бибик.

— Я иду, — твердо сказал мужской голос.

И вслед за этим послышался все слабевший шорох, точно кто-то удалялся.

Разговор происходил недалеко от плетня, за которым лежал я.

— Подожди! — крикнула Бибик. Она бежала за мужчиной. — Собака! Голова медведя!

Послышался тупой, короткий удар обо что-то мягкое. Бибик слабо вскрикнула. Поднялась тихая возня, — люди боролись; женщина не пускала мужчину; по слабо долетавшим отрывистым шумам борьбы походило, что ее волокли по земле; снова несколько глухих ударов и слабый, покорный, словно заячий, писк и всхлипывания.

Я осторожно приподнялся над плетнем. Бибик лежала в траве, ее плечи судорожно двигались; а над нею, присев на корточки, возвышалась мужская фигура. Мужчина ко мне был обращен спиною; он был в суконном, хорошо сшитом бешмете, перетянутом ремнем, в новых сапогах; коротко стриженная, небритая голова крепко сидела на упорной

Выплыла луна, и я увидел широко раскрытые глаза Бибик, полные гнева, просьбы и странной тоски. Я хотел крикнуть, но через несколько секунд сам башкир отошел от девушки и, слегка задыхаясь, сел невдалеке на сваленный «съемник» — тонкие липовые бревна.

Теперь я видел его сухое, скуластое, с хищно вырезанными ноздрями лицо; что-то от степного орла, от грифа было в его строении.

10

Бибик медленно поднялась и, откинув набежавшие на глаза волосы, сделала несколько шагов к мужчине.

— Не бросай меня, Ахмет, — вдруг слабо сказала она, и лицо ее приняло беспомощное выражение. — Неужели уж я так тебе надоела, что ты уедешь? И зачем тебе уезжать?

Ахмет долгое время не отвечал ей ни слова, лишь поглядывал на нее своим зорким, сторожко прищуренным взглядом. И только когда Бибик двинулась к нему, он сказал:

— Что мне говорить с бабой? Она не поймет: у бабы ум меньше, чем у птицы. Я воли хочу, чтобы вокруг свободно было. А здесь я ненавижу и тебя, и деда, и ваши деревни, и землю... Вы — трусы, вы — слепые, вы спите, как псы, вы лижете руки тем, кто вас бьет! Ненавижу всех!

Он скрипнул зубами, уронил голову на руки и замолк.

Бибик медленно, бледная и жалкая, подходила к нему. Из всего, что наговорил он, она поняла, казалось, только одно: что он ненавидит ее. Лицо ее слабо тлело, она была беспомощна и вместе с тем ее тело изгибалось, точно готовясь сделать прыжок.

— Так ты меня уже совсем не любишь? — едва слышно бросала она перед собой. — Уже разлюбил и бежишь? Для чего ты целовал меня, если уходишь?

Голос Бибик становился все тише и тише... и окончился едва уловимым шепотом.

Не поворачивая к ней головы, Ахмет сказал коротко:

— Надоела. Зачем мне баба надолго? Где у ней ум? Что она может сделать, о чем посоветовать, что говорить? Я людей хочу, я воли хочу.

Беспомощно осмотрелась по сторонам Бибик.

Она сидела сгорбившись, спиной к башкиру, и я видел только ее затылок и плечи.

— Что ж? Уедешь отсюда, будешь гулять и любить других?

— Буду гулять и любить других.

Бибик вскрикнула, бросилась к Ахмету. Руки ее дрожали, звенели монеты в косах.

— Собака, — убью я тебя! Вор!

— Беру свое, — голос был спокоен, уверен в своей правде. — Разве все это было не наше? Они отняли — и я беру назад.

— Я побегу к деду, я скажу ему, он придет... Он будет тебя долго бить!

— Слепой?.. — иронически блеснули и прищурились глаза Ахмета.

Ударив по сапогу ременной плетью, он поднялся.

— Уходишь? — крикнула Бибик, и вскинув руки, двинулась на него. — Убью!

Но не приблизилась, остановившись в нескольких шагах от него, спокойно, с презрительной усмешкой сказал Ахмет:

— Не убьешь, нет. А вот если я останусь с тобой, — я убью тебя, — вот как надоела ты мне. Разве можно мужчине долго возиться с бабой? Я другого хочу — хочу людей видеть, деньги иметь...

Послышалось тихое, беспомощное всхлипывание; плакала Бибик, расставаясь с Ахметом, а тот и не повернулся в ее сторону; лишь немного скосил на нее глаза и, медленно поднявшись, побрел в сторону.

Несколько секунд Бибик сидела в неподвижности. Шорох шагов Ахмета стих. Бибик быстро поднялась, осмотрелась по сторонам, вскрикнула, побежала вслед и растаяла в темноте.

Я снова улегся на сено и лежал... Не спалось.

1900 г.

НОЧЛЕГ

1

Еще так недавно наш край хранил в своих глубинах девственно-нетронутые в своей дикой и первой красоте уголья; но уж начала терять свою оригинальность эта своеобразная сторона; вековые леса вырубаются, заселяются бескрайние, беспредельные степи; пожары истребляют леса, и вместо них тянутся мертвые поляны с почерневшими пнями. Проезжая этими местами, вы видите, как хищнически вырублен лес, как покорно легли под топором прищельца тополи, осокори и выдавшие время березы.

Как исключение все же остались и привольные степи, и лес, по которому даже башкир проходит с трудом; и еще таятся там, в глухих логовах, ожидая конца, медведи и рыси, волки, барсуки и лисицы. В лесах среди гор вы увидите и озера; они глубоки и рыбны, сплошь затянута водяными лилиями, кувшинками, бодягой и какими-то странными цветами, цветочками и листиками. Как стенами, окружены берега озер тальником, вязками, ароматным шиповником, — и все это перепутано ползучими и вьющимися растениями. Через такую цепкую преграду нелегко пробраться к озеру человеку; доступ туда возможен лишь при помощи топора, — и рыбаки, действительно, так и делают: они прорубаются к воде.

Кто же здесь рыбачит и охотится? Наряду с русским хозяином-помещиком вы увидите и бедного башкира-рыбака и башкира-охотника: с топором, сетью и удочками, с стародавним шомпольным ружьем добирается он до воды, ставит свои сети или стреляет дичь; в горных речках, полных студеной воды, водится сторожко-пугливая кутема.

Ловит ее рыбак зачастую удочкой, и такая ловля очень интересна: башкир чуть не по глаза зарывается в траву и прибрежные кусты, вязнет в холодной тине и сидит недвижим, потому что малейшего шелеста листьев достаточно, чтобы рыба уплыла в глубину, и тогда — прощай вся ловля! Обмануть кутему можно только при крайней осторожности; берется она очень хитро и даже когда зацепится на крючок, тащить ее сразу нельзя: это всполошит остальных; башкир дает попавшейся рыбе утомиться и подтаскивает ее лесой своей короткой удочки к берегу, затем протягивает из кустов руку и почти беззвучно схватывает добычу...

2

Но не реки, не озера больше всего нравились мне, — любил я привольно-жаркие взгорья и степи. Мало степей в тех горных местах, но тем больше нравилось мне бывать в их сонной тишине. Полные молчания и тайны, полные старых легенд, исполненные запаха древнего солнца, степи неотвратимо влекли к себе. И я бродил по ним с утра до ночи, уходя в них на недели, ночуя в знакомых деревнях.

Увлечшись охотой на уток, раз пробродил я по зарослям до вечера, быстро осевшего мглой. Я попытался найти дорогу. Выйдя из зарослей, добрался до озера: обогнул озеро, вступил в лес, — дорога была незнакома, — вернее, ее не было.

Я понял, что заблудился. Поняла это и собака моя, смотревшая на меня с молчаливым укором. В лесу не заночуешь, надо было идти, — тьма надвигалась стремительно, невидимые кусты хлестали по лицу и рвали платье; собака пугливо жалась к моим ногам — и вдруг заворчала. Вскинув ружье, я сделал несколько быстрых шагов и неожиданно увидел перед собой серую, как копна сена, лесную хату. Оконце ее светлело скудным, притаенным светом, почему-то казавшимся неверным... Но раздумывать было некогда, — я торопливо постучал. Черная голова промелькнула в тусклом, наполовину заклеенном бумагою стекле окна и сейчас же исчезла. В сенях зашумели.

— Ахмет, ты пришел? — спросил кто-то по-башкирски. На мгновение меня взяла оторопь. Еще так недавно мне довелось встретиться ночью в доме слепого Угея с Ахметом. Не он ли, беспокойный друг Бирик? Следовало ли

входить ночью в затонувшую среди леса избу? Но выбора не было.

— Нет, не Ахмет. Впустите, — сказал я.

Заскрипела старая дверь, из хаты пахнуло запахом горячего хлеба. На пороге с жестяной лампой в руке показался старый сгорбленный башкир. Увидев меня, он отступил было назад, потом вышел из двери и усмехнулся.

— Русский гость! — сказал он ломаным языком. — Входи, русский, хороший гость будешь ты. — И показалось мне, что смех прозвенел в его скрипящем говоре.

Я вошел в избу. За мной прыгнула собака и ошетичилась: в избе было еще два человека. Остановившись, я взял собаку за ошейник. На нарах были башкиры. Сидели они по-восточному — подобрыв под себя ноги.

— Русский пришел к нам, — говорил им старик по-своему, указывая на меня. — Пусть будет нашим гостем. Садись, русский человек.

3

Башкиры приподнялись на нарах и закивали головами. Я привязал собаку в углу у печи и подошел поздороваться с гостями старика. Все по очереди трясли мне руку, забравши ее в обе ладони, и качали головами.

— Плутал мала-мала? — спросил меня старик и показал беззубые десны. В груди его что-то сипело, как орган. — Темна ночь. Больно темна.

Он указал рукою на нары; я присел в сторонке, положив около себя ружье. Перед сидевшими на нарах было прикрыто что-то рваной холстиной. Мне показалось, что старик торопливо opravил ее откинувшийся край.

— Ашать¹ хочешь? — Хозяин подал мне ветхую глиняную чашку с вареной бараниной.

Я отказался. Старик еще поговорил со мною, постоял около меня, видимо, для приличия, и отошел к своим.

Я не знал, что мне делать, и молча сидел на нарах у стены. Моя собака смотрела на меня из угла обиженно и недоверчиво, глаза ее поблескивали на свете крохотной, распространявшей чад лампочки и казались вылитыми из янтаря. Не нравилось ей здесь, — это было видно. Она все порывалась оборвать веревку, топталась на месте и, повар-

¹ Есть.

кивая, ходила из угла в угол в отведенном ей местечке... наконец устала и легла.

Башкиры разговаривали между собою негромко, стараясь не глядеть на меня и все же время от времени быстро-сторожко взглядывая. Я немного знал по-башкирски; но говорили они так тихо, что слов нельзя было разобрать. Видимо, и они стеснялись меня; было неловко всем; особенно же беспокоился хозяин избы. Вскоре он опять подошел ко мне и опять спросил по-русски:

— А кумыс хочешь?

— Нет, спасибо. — Я поспешно добавил: — Спать хочу. Устал я. Спать хочу, понимаешь? — Какое-то инстинктивное чувство все не позволяло мне говорить по-башкирски. Я показал знаками, что хочу спать, — дотронулся рукою до головы и постучал по нарам. Башкир понял.

— Ай хороша, ай хороша! — сказал он и, заскрипев коротким смехом, отошел к своим.

Казалось, всем стало легче. Я сейчас же снял с себя поддевку и, свернув, подложил ее себе под голову и лег; башкиры задвигались на нарах и стали говорить оживленнее.

Прикрыв глаза, я прислушивался к их разговорам. На сердце стыла тревога. Конечно, было бы лучше переночевать где-нибудь в лесу, чем залезать в избу к неизвестным башкирам.

«Еще убьют», — мелькало в уме. Стараясь делать незаметно, я по временам приоткрывал глаза и всматривался.

Башкиры вдруг тихо засмеялись. Они явно сдерживали в себе смех, и это было подозрительно. Я вздрогнул, но все же не открыл глаз и стал прислушиваться к их речам.

4

Говорили они обо мне.

— Заплутался барин, — старый хозяин сидел ко мне спиною; худые лопатки его резали ситец рубахи. — Какое ружье! Думаю, стоит пятьдесят серебра.

Он прихлебнул из чашки кумыса.

— Дороже, — уверенно сказал другой.

Я посмотрел: говорил молодой, худой, черноглазый. Сидел он ко мне профилем. Скулы так и выпячивались на костистом лице. Затылок был острый, в складках. От всей фигуры веяло добродушием и ленью.

— Вот бы мне такое ружье! — с завистью проговорил он. — Как бы я стрелял... Ха-ха!.. Сколько бы убил лисиц! Всем бы девушкам подарил для зимы на шубы.

— Сапоги вот у него дорого стоят, — снова заговорил старик. В его груди словно сипели струны.

— Вы, дураки, ничего не понимаете: сапоги эти из самой лучшей лошадиной кожи! Пейте кумыс!

Потом они начали разбирать по порядку мое платье. Одно хвалили, другое порицали. Понемногу страхи начали рассеиваться. Чтобы дать башкирам возможность говорить с большей свободой, я повернулся лицом к стене. Моя собака во сне повизгивала: видела дурные сны.

— Смешной он! — сказал молодой башкир. — Он нас боялся, я видел. Пожалуй, думал: «убьют его»... Гостей мы не уьем. Очень надо. Бойтся, — ффа!..

— Урус должен бояться, — вдруг сказал кто-то третий, и на сердце у меня цепко взворохнулся страх. Этого третьего я еще не видел: стараясь не делать шума, я начал осторожно поворачиваться на кошме. Налетавший на меня сон разом рассеялся. Я стал напряженно слушать.

— Отцы сказывали, — продолжал суровый голос, — у народа было земли — вот сколько: беги от восхода солнца до захода целый год, — и всю землю не пробежишь. Вот какая земля! Баранов было, овец, кобылиц!.. Пришел русский купец — водки привез, сахар, коленкор. Старшин собрали, стариков: «Кончать землю вашу приехали, — начальник велел кончать. У вас земли много, у нас мало земли».

— Да, это было, — подтвердил старик и шумно втянул в себя чашку кумыса. — Только тогда и деньги платили! Тогда... — В его говоре слышались хмель и утомление.

— Деньги! — злая ирония и презрительная насмешка вклинились в скрипение старика. Это опять говорил не молодой и не старый. Это был третий собеседник.

— Начали делить... — Сухой, озлобленный голос прерывался. — Одному давали за землю чаю, другому — сахару, еще кому — ситцу... Для девок бусы давали. Взял глупый народ! Ярлыки от ситца вместо денег брал! Выпили старшины водки и совсем глупыми стали... А много земли и так отняли...

— Как «так отняли»? — спросил молодой. В тоне его голоса не было заметно раздражения; ощущались только

любопытство и удивление. Было заметно, что и он подвыпил.

— Отняли! — глухо подтвердил третий и растянулся на нарах.

Лежавший рядом старик сонно вздыхал и бормотал засыпающим голосом что-то невнятное.

— Теперь уж ничего не сделаешь, — негромко проговорил молодой, тоже укладываясь спать. — Время прошло, — тамги приложили, печати, назад нельзя, сказывали старики.

— Твои старики из ума выжили, — вдруг снова вмешался третий, и я невольно вздрогнул: такой глухой и ожесточенный был голос. — Глупые они, старые твои, и глупых родят. И ты, молодой, родился глупый, боишься всего. А вот мы не боимся. Ничего не боюсь, нет! Вот пришел бы Ахмет...

Стало тревожно. Захотелось увидеть лицо говорившего. Осторожно я приоткрыл глаза. Лицо у башкира было длинное, высохшее и злое. Глаза смотрели исподлобья, черная жидкая борода росла клочьями. У него была впалая чахоточная грудь, но что-то упрямое, большое, энергичное виделось в его костистой фигуре.

— Вот, тоже, — кивнул он головой на заснувшего старика и презрительно ткнул его в лысое темя. — Спит. Всю жизнь проспал. Лес сторожит, — а весь вырубил!.. Где леса-то?

На душе снова сделалось беспокойно. Но вот — я вижу — в тусклое оконце прорвался рассвет.

ХАЗРЕТ ХАЙБУЛЛА

1

Дорога становилась беспокойной и неудобной. Нам часто приходилось останавливаться, отдыхать самим и давать отдых измученным лошадям. Эти башкирские лошади, мелкорослые, лохматые, длинноухие и неприглядные, но выносливые, осторожные и ловкие, стали, видимо, утомляться трудным движением по трещинам. Карабкаться на крутизны гор, скользить по спускам с постоянно осыпающимся камням, цепляться за зыбкую почву и размеривать каждый шаг — и в самом деле не легко, но трудно и седокам держаться на спине животного, когда оно, взбираясь на гору, становится чуть ли не в вертикальное положение.

Я, по крайней мере, изнемогал страшно и ежеминутно ожидал, что мои руки, обнявшие шею лошади, ослабнут и я соскользну вниз или скачусь через голову лошади в бездну при крутом спуске. По горам попадались и небольшие леса, называемые в Башкирии «колками»; кустарник царапал и хлестал по ногам; часто горные речки, шумно стремившиеся с крутизны, преграждали дорогу. Речки, большей частью родниковые, быстрые, с ледяною водой, прозрачной, как горный хрусталь, очень красивы. На дне их можно пересчитать камни: до того вода в них чиста. Они не глубоки, но нередко попадают по руслу их бездонные омуты. Эти омуты — притоны огромных налимов и кутемы. Проезжая более пологими и ровными местами, я замечал по берегам этих речек группы башкир, бегающих и шумящих. Мой спутник, башкирский мулла Усман, седоватый старик с рысьим лицом, объяснил мне, зачем собрались здесь люди.

Понаехали гости — помещики для ловли кутемы. Обык-

новенно они сзывают народ из окрестных башкирских деревень и выбирают людей покрепче и помоложе, чтобы нанять их «бродить» с сетью по речке. Родниковая вода не позволяет там ходить босиком, и рыбаки бродят не только одетыми, но и в сапотах или в замотанных в онучи лаптях. Впрочем, кроме ледяной воды, боязнь быть укушенными медянками и другими ядовитыми змеями, густо кишащими по таким речкам, заставляет бродильщиков обуваться тщательнее. Впереди бродящих за несколько сажен обыкновенно помещаются так называемые ботальщики и трещотники. Вооруженные длинными дубинообразными палками, первые с криками идут навстречу бродящим, стуча под корнями прибрежных деревьев своими «ботами» и выгоняя засевшую туда рыбу, между тем как вторые сопровождают «ботальных» несмолкаемым грохотом трещоток, имеющих, по-видимому, то же назначение. Если прибавить сюда толпу, бегущую за рыбаками по берегу и состоящую из помещика, его семьи и гостей, то получится зрелище не совсем обыкновенное и для новичка интересное, хотя бы своей дикостью. Гам действительно стоит несмолкаемый: кажется, что лес и горы стонут от этого галденья.

2

Помнится, меня заинтересовала тогда фигура помещика, толстого, красного, бородатого, в одном белье бегавшего за бродившими башкирами и кричавшего во весь голос. Он страшно кипятился, когда сети вынимались пустыми, и оделял рыбаков водкой, когда завод был успешен.

— Скажи, Усман, — спросил я, — дорого ли платят помещики башкирам за то, что они рыбу им ловят?

— Ладно, — отвечал мулла. — Денег дают.

— А много?

— Нет, денег немного. Чай дают. Кирпичный. Осьмушка.

— Да, это немного, — согласился я.

— Только нехорошо, что водке научили: грех.

— Разве помещики научили?

— Водкой стали пить. Башкир стал охотник до водки. Мы его бьем, чтобы отучить, а он лакает.

— Как же ты его бьешь?

— С палкой бьем. Привязал к мечети и бьем.

— Однако ты строгий мулла. Тебя, должно быть, не любят.

— Любить должны. Любят. Они даже хлеба нам убирают.

— То есть, как убирают?

— Без денег. Из уваженья к мулле. Луга косят тоже.

— Значит, тебе жить недурно.

— Ничего, ладно живем.

Мы помолчали.

— Они должны уважать муллу, — заговорил после недолгой паузы Усман. — Потому — без бога нельзя. Мулла молит бога, и они муллу уважают. Вон Хайбуллу еще больше уважают. Хайбулла — хазрет наш. Святой он, Хайбулла.

Меня заинтересовали слова башкира.

— Как святой?

— Святой, — уклончиво отвечал тот. — У тебя есть святой, и у нас святой. Хазрет он, бог любит его.

— За что же? Доброе делает?

— Добро делает. Чуда делает, все делает.

— Кто же он? Откуда?

— Брат он наш, старший. Старший он, Хайбулла, а я малый брат, Усман.

Я с некоторым удивлением посмотрел на своего провожатого. Я достаточно знал, что за человек был мулла Усман, но никак не догадывался, что нахожусь с родственником святого в таких коротких отношениях.

— Так он тебе старший и родной брат? — повторил я.

— Брат, родной брат, — один отец, одна мать.

— Мне было бы интересно повидать его.

— Святых нельзя видеть: не любят.

Мулла сердито оборвал разговор.

Некоторое время мы ехали молча. Мулла угрюмо и подозрительно жевал губами.

— Ты мне все-таки не сказал, — стал допытываться я у башкира, — чем же Хайбулла достиг святости?

— Он все видит, — проговорил с запинкой мулла. — Он все знает. У тебя в уме спрятано, а он видит.

— Вот как! — удивился я. — Значит, и то, что я думаю, знает?

— Все знает. Все понимает хазрет! Он — святой. Его бог больно любит, приходит к нему. Он говорит.

— Кто говорит? Хазрет говорит или бог говорит?

— И хазрет говорит и бог говорит. Оба говорят.

Меня не на шутку заинтересовала личность башкирского святого, но, помня слова муллы, что он не любит посещений, я удержался от дальнейшего разговора и только между прочим спросил, где живет он, этот хазрет. Местность, названная Усманом, была мне знакома, и я перевел разговор на другую тему. Среди беседы мы неприметно добрались до деревни Юлдыбаевой и заехали в дом Усмана; это и была цель путешествия. Дом у муллы, в противоположность жалким чуланам простых башкир, отличался поместительностью, красивым внешним видом и обилием всяческих благ. Подъехав к дому, мулла засуетился, накричал на свою молодую жену за медленность в хозяйственных приготовлениях, бегал сам на погреб за кумысом, вообще старался принять меня как можно гостеприимнее. Но я торопился. Выпив наскоро чаю с кишмишем, я поднялся с нар, сказав Усману, что поеду домой.

Выбравшись из села, я поехал по направлению к деревне Тазлары, в окрестностях которой обитал Хайбулла.

Дорога сразу переменялась. Вместо гор, утесов, обрывов я прямо из деревни въехал в огромный тополевый лес. Красиво блестели двухцветные листья серебряных тополей, вдали белели рослые березы, и всюду на далекое пространство разливался запах цветущих лип. Еще и теперь встречаются в Башкирии непролазные леса. Вы едете, — ветви низко свешиваются над вашим лицом, сбивают с вас шляпу, колют руки и хлещутся, бьют по ногам... Так темно среди леса! Чуть заметная дорожка вьется меж тополей; извиваясь и прячась от взгляда, бежит она вдаль; вы едете все по ней, и вдруг перед вами — стена из стволов. Все была перед глазами тропинка, и вот ее нет; она скрылась. Вы — влево, вы — вправо, — дороги все нет... становится жутко... Лошадь храпит, поводит ушами, нюхает воздух — и вдруг вздрагивает. Вздрогнули и вы; вы знаете эту башкирскую глушь: мгновенно может спрыгнуть с вершины дерева вам на голову опасная рысь...

Но вот лошадь рванулась в чащу. С минуту ветви хлещут вас по груди, в лицо, по рукам; вы закрыли глаза, трещит ваше платье; вот лошадь заржала: она на тропинке. Над вами высокое чистое небо; серебро листвы чуть слышно звенит наверху хрустальными звонами. Вы на поляне... Огромный осокорь лежит на дороге. Осторожно переходит через него лошадь.

Выехав из леса, я очутился в степи. Дорога стала серою лентой, вся заросшая травой; трава сцепляла и путала ноги лошади. Я поехал шагом. Внезапно с опушки леса послышался шум. Повернувшись в седле, я увидел новенькую плетенку с парусиновым верхом. Бодрая и откормленная лошадь быстро нагоняла меня, блестя веселыми, сытыми глазами.

«Наверное, становой», — подумал я и — ошибся.

Мимо меня проезжал тучный краснолицый башкир с редкой желто-серой бородкой, с усами, желто-седыми и остриженными под корешки. То, что башкир едет в тележке, да еще с новым кузовом, невольно останавливало внимание. Башкира вы можете увидеть едущим в длинных дрогах или сидящим на костлявой спине некормленной лошади. Это же было не то...

«Или мулла, — подумал я, — или...»

И вдруг точно что-то обожгло меня.

«Хазрет! — мелькнуло у меня в голове. — Хазрет Хайбулла!»

Башкир уже проехал, когда я окликнул его:

— Салям-алейкум, хазрет!¹

Хайбулле пришлось остановиться. Он повернул ко мне свое полное лицо, и я заметил, что он недоволен.

— Я к тебе, Хайбулла, — начал я. — Я много слышал о твоей учености и доброте, твое имя почтенно по всем нашим местам.

Против ожидания хазрет улыбнулся моему топорному комплименту, и подозрительно-кислое выражение исчезло с его лица. Однако то, что сказал он, дышало солидным достоинством:

— Всякий делает свое дело, всякий должен делать, что может, а жить и лениться нельзя.

Поучения эти подействовали на меня ободряюще.

— О да! — отвечал я. — Но не всякому удастся сделать столько добра, сколько делаешь ты, хазрет. Твоя слава распространилась далеко и, конечно, пойдет по всей Башкирии.

Мои пышные фразы святой слушал, казалось, без гнева.

¹ Здравствуй, святой!

— Если хочешь, можешь увидеть мой дом, — сказал он после этого. — Я никому не возбраняю, если помысел его чист.

Я поблагодарил, и мы поехали.

5

Хазрет жил хорошо. Кругом были башкирские конуры без крыш, с лебедой наверху, а дом Хайбуллы сиял свежестью и убранством. Все было пригнано, прилажено; ворота были широкие, березовые, с резьбой. Во дворе тянулись сарай; лошади, коровы и козы деловито выглядывали из-под навесов; куры, утки и гуси расхаживали по двору, в конце которого был отгорожен садик.

Сейчас же за сараями тянулась рощица ароматных лип, ульи стояли у деревьев или висели на сучьях; жужжали пчелы, в стороне зеленели бахчи. Тут же, в ложбинке, протекала река...

Удобно и спокойно жил хазрет Хайбулла и довольно добра имел он про запас: во дворе стояла просторная палатка из камня, с железной дверью. Это уже была неслышанная для башкира роскошь...

Нас встретили две женщины: молодая и старая. Обе низко наклонились к хазрету и потеряли свои лица его рукой.

— Это жена твоя, а это дочь? — спросил я, указав на молодую.

— Обе жены, — коротко отвечал Хайбулла.

— Вот как, — сказал я, вспомнив об этой магометовой вольности.

В противоположность своему брату Усману, Хайбулла нисколько не суетился, — скорее он относился ко мне снисходительно. Впрочем, это не помешало ему любезно указать мне на нары, куда я забрался, по положению, с ногами. Хайбулла солидно молчал и только изредка похлопывал в ладоши. Тогда являлась одна из жен или какой-нибудь из его девяти ребятишек, и хазрет отдавал ему хозяйственные приказания.

Скоро на нарах появился зеленый поднос с плоскими зелеными чашечками, появился кумыс, желтый и белый, курт, изюм и кишмиш в блюдечках. С кишмишем хазрет имел привычку кушать чай.

— У тебя здесь целое царство, хазрет, — сказал я за чаем. — Одиннадцать человек окружают тебя.

- Двенадцать, — спокойно поправил Хайбулла.
- Как двенадцать? Ведь у тебя девять детей?
- Девять детей, — подтвердил святой.
- И две жены, — прибавил я.
- И три жены, — поправил он.
- Как три жены?
- Три. Старая — Махрой, средняя — Зюгря, а самая младшая — Хуршит.
- Да ведь и Зюгря молода.
- А Хуршит еще моложе: пятнадцать лет.
- Да, эта моложе, — согласился я. — И давно ты женат?
- Год тому назад как женился.
- Я любопытствовал:
- А можно ее посмотреть?
- Молодую нельзя смотреть, — отрезал святой.

6

Наши разговоры были прерваны шумом во дворе. Хазрет посмотрел в окно и, взяв с полки толстенную книгу, вышел из комнаты.

— Больные пришли, — сообщил он мне, выходя.

Я подошел к окну. Действительно, у ворот стояла огромная толпа. Грязные и оборванные башкиры, худые, подвязанные, безносые кланялись выходявшему святому.

Я хотел было посмотреть на лечение, но в комнату вошла вторая жена хазрета Зюгря. Я разговорился с ней.

— Святой человек Хайбулла? — спросил я ее.

— Святой, — отвечала та серьезно и вдумчиво.

— А хороший?

Она улыбнулась, блеснув рядом красивых зубов.

— Святой не может быть нехорошим.

— Что же это? Он лечит больных?

— Да, лечит. Он молится над священной книгой, и больной после ее ест.

— Неужели целую книгу? — пошутил я.

Зюгря засмеялась. Лицо ее очень похорошело и сделалось лукавым.

— Ну нет, — отвечала она, поправляя монеты в косе. — Целую книгу много... Он кусочек...

И вдруг, захохотав без удержу, выбежала из комнаты. Но через минуту опять вернулась и, прислонившись к печке, стала оправлять на груди денежки.

Я спросил:

— А что, больные приносят за лечение что-нибудь?

— Как же, приносят. Ведь они же здоровыми **делаются!** — удивилась башкирка и, капельку подумав, протянула: — Кур приносят, перепелов... гусей... Много приносят...

Мне вспомнилось про третью жену:

— А что, где Хуршит?

— Хуршит? Дома, — отвечала Зюгря и засмеялась. —

В палатке.

— Ты чему смеешься? — спросил я.

— Так... — Она стала царапать глину печки крашеным ноготком, острым, как птичий клюв. — Уж очень любит ее хазрет! Очень любит!.. Вот как! В палатке держит.

Она опять засмеялась.

— Ну, и что же?

— Ничего! — Плечи башкирки снова задвигались от сдерживаемого хохота. — Он жить без нее не будет, а она не любит его... Нет!.. Я знаю!

— Вот что! — удивился я. — Откуда же ты это узнала?

— Знаю, — подтвердила она. — Хуршит неволей отдал за него. Хуршит не хотела. Хуршит нехорошо было. А Хайбулла увидал ее у отца и полюбил. Очень полюбил. А она его нет.

Болтливая Зюгря говорила отрывисто и осматривалась по сторонам. Ей хотелось и поболтать, облегчить себя в своей тайне, — и боялась она, как бы не подслушал святой.

— А как же отец отдал Хуршит за старика?

— Хайбулла — святой. Он в Мекку ходил. Всякий гордится тем, что со святым породнился... Отец побил Хуршит кнутом и приказал выйти за Хайбуллу замуж... Калым получил тоже хороший, — она и вышла... А сама она любит Газыя...

— А кто этот Газый?

— Рядом, из села. Отец его двадцать кобылиц держит.

— Как же это отец не отдал за него Хуршит?

— Газый — не святой, а Хайбулла — святой. Хайбулла скажет — и бог убьет. Как скажет — так бог и делает.

— Значит, поэтому и Хуршит за него выдали?

— Поэтому и выдали. Хуршит плакала, хотела умереть!.. Идет!.. — вдруг выкрикнула испуганно Зюгря и прижалась к печке.

В комнату вошел Хайбулла и, строго взглянув на жену, двинул косматыми бровями. Та согнулась и вышла.

7

Становилось темно. Солнце уже закатилось, и небо стало принимать бирюзовые тона. Сумерки летнего дня надвигались.

— Я велю тебе постель приготовить здесь, — сказал мне хазрет, — а сам удалюсь отсюда, и пусть обрадует тебя бог!

Он вышел.

Скоро явился старший сын его, Давлетша, и стал растилать мягкую кошму. Я поблагодарил его и улегся.

Не спалось мне; я ворочался и глядел в окна, сквозь стекла которых рвались бледные, тревожные лучи крутого месяца. Звезды мерцали и время от времени бегали по небу.

Надоело, наконец, лежать. Я встал и вышел во двор. Там шла спокойная, сытая и мирная жизнь. Хорошо напоенные лошади храпели и стучали ногами по стойлам, коровы были заняты своей жвачкой. Поперек дороги упала длинная тень. Я спрятался за телегу, и мимо меня скользко мелькнула высокая фигура в черном чапане; отчетливо в лучах луны блеснули серебряные бляхи пояса.

Минут через пять дверь каменной палатки отворилась и на пороге показался хазрет Хайбулла.

«От Хуршит!» — почему-то подумалось мне.

Хайбулла неторопливо запер железную дверь цепью, оставившей, как это бывает в конюшнях, пространство в четверть аршина, замкнул кольцо цепи замком и, пробормотав что-то в дверь, позевывая, пошел к дому, переваливаясь на коротких ногах, как сытый селезень.

Почти в то же время из-под навеса бросился к палатке виденный мною человек.

— Гази, — слышался в щели двери легкий, чуть слышный шепот.

Мое сердце пронизала невольная дрожь: я никогда не видел ничего подобного. Ведь это же средние века! Слабо звенела железная цепь, шел тихий, прерывистый, пугливый говор, узкая, почти детская рука белела в полосе синей тени.

Рассвет уже брезжился, когда я заснул на своем войлоке. Но недолго проспал я: чуть солнце поднялось над горой, я уже был на ногах. В воздухе стояла еще ночная прохлада, капли росы блестели на траве. Гуси парочками тянулись в калитку на речку, через подворотню протискивались туда же жирные утки; коровы приподнимались и, пошатываясь от сна, лениво брели из сараев.

Я не знал, что мне делать до пробуждения хозяина, и вышел на черный двор за сарай, к реке. Местность здесь была очень живописна; отягченные ночью росой ветви липы грузно никли, сея всюду свой сладкий запах, посылая с утренним ветром пыльцу.

Пройдя по отлогому берегу реки, я подошел к густо заросшему шиповником и черемухой озеру. Кое-где эти непроходимые заросли были прорублены и пестрели массой цветов. Какие-то махровые розовые цветы, перемешанные с ярко-красной «барской спесью» или «татарским мылом», причудливо вырисовывались на яркой и жирной зелени, обильно залитой росой, в каплях росы разноцветными искрами дрожало солнце.

Стальная гладь озера дышала прохладой. Зеленели лопухи, цвели белые и желтые лилии, меж кувшинок сновали стрекозы, с криками над озером проносились голодные утки.

Забравшись в гущу кустов, я присел над водой у обрыва. Угрюмо склонившиеся над кручей тополи, казалось, опрокинулись в озеро. Поверхность озера была ровна, как стекло; лишь изредка, с чуть уловимым шумом, появлялось на ее глади колечко: играли рыбы; время от времени по листьям осторожно пробиралась лысуха; пугливый нырок застенчиво поднимал меж лилий голову, точно прислушивался. Со свистом проносился балобан. И снова все тихо.

Легкий внезапный хрустальный всплеск заставил меня вздрогнуть: едва я успел оглянуться, как нагая женщина бросилась в воду. Змеями метнулись черные узкие косы, и она исчезла под водой. Через несколько секунд она показалась над поверхностью озера, светлая, молодая и нежная; она стояла по пояс в прозрачной воде, и капли сбегали с ее волос на почти ребяческую грудь. Небольшое овальное лицо было розово первой юностью, и контрастно выделялись на нем огромные, дикие, точно испуганные глаза.

Я невольно залюбовался этой степной красотой. Но башкирка внезапно вскрикнула и присела в воде по шею. Я обернулся. Сквозь чашу к берегу озера пробирался молодой башкир в черном чапане с серебряным поясом.

«Газый!» — вспомнилось мне. Стало ясно, что в воде была третья жена Хайбуллы, молодая Хуршит.

— Уйди, Газый! — негромко крикнула Хуршит, и в голосе ее зазвенели и стыд, и страх, и негодование.

— Как бы не так! — ответил Газый и угрюмо засмеялся. — Ты думаешь, я пришел, чтоб уйти? Наконец-то я тебя подстерег! Нет, я не уйду... Я сяду!

И он в самом деле присел на берегу.

Гневные складки появились на ровном лбу Хуршит.

— Собака! Ты хочешь смеяться надо мною! — в ее голосе больше гнева звенело смущение. — Я не выйду, пока ты не уйдешь.

— Нет, выйдешь! — молодой башкир опять засмеялся.

— Уйди! — крикнула Хуршит после молчания и двинулась. — Иди скорее прочь!

Газый не двинулся: он все смотрел улыбаясь.

— Нет, ты иди ко мне, Хуршит... волчонок глупый! Или хочешь, чтоб я пошел к тебе сам?..

— Ты меня не тронешь: я — чужая... я — жена святого, которого нельзя обмануть.

И, закрыв глаза, с дикой, уверенной, фанатической улыбкой она вдруг пошла по воде к берегу, по направлению к мужчине. И странно, — движение этой обнаженной, сурово-прекрасной и точно слепой с ее закрытым взглядом женщины будило на дне души башкира тот же слепой и темный фанатический страх: «Жена святого!»

— Отвернись в сторону, я надену рубаху, — сурово проговорила она, выйдя из воды; ее юное бронзовое тело с узкими плечами и детской грудью точно дымилось влагой под утренним солнцем.

Мне давно было пора уйти, но я не мог двинуться и все смотрел на эту замороженную слепым заклятием пару, вспоминая железную цепь на двери палатки.

— Ты опять всю ночь простоял перед моей дверью, — тихо и безнадежно сказала Хуршит. — Зачем стоять? Разве цепь оборвешь?

— Я разорву твою цепь, я убью хазрета, я увезу тебя, — глухо прозвучали под ветвями липы слова мужчины.

— Цепь не разорвешь, а хазрета нельзя убивать: он святой. Он сейчас же воскреснет.

— Ты веришь его святости, когда он купил тебя, как на базаре овцу?

— Он — святой, — упорно повторила молодая женщина, и снова ее глаза закрылись. — Его нельзя обмануть, и он внес калым.

9

Тысячелетнее солнце равнодушно смотрелось в темное дно озера, словно стараясь пронзить его потемки. Такая же темь стояла в душе разделенных.

— Зачем ты не внес за меня отцу калым раньше его! — скорее кроткой жалобой, чем упреком, проговорила Хуршит и поднялась. — Все было бы иначе... Прощай! Не приходи больше...

— Все равно сегодня ночью я опять стану перед твоей дверью.

— Цепь крепка.

— Я перепилю твою цепь стальной пилой, я отброшу закон калыма, я увезу тебя!

— Закон нельзя нарушить. Хазрета нельзя обмануть: он видит все. Ты умрешь тяжелой смертью, Газый.

В чаще, где я сидел, от моего невольного движения шевельнулась и скрипнула ветка. Хуршит вскочила, как испуганная птица.

— Не приходи больше. Прощай!

Она уже бежала к дому хазрета. Как две змейки, взметнулись в зелени кустов косы и исчезли.

— Хуршит! Хуршит! — крикнул Газый и бросился вслед за нею.

Я медленно шел вдоль берега и думал:

«О, страна хазретов, страна калыма, страна женщины-рабы, где крепче железа — темь!.. Когда же будет рассвет, когда будет?..»

Через полчаса я подходил к дому хазрета. Почти все на деревне еще спали. Во дворе меня встретила усмехающаяся Зюгря.

— Арума¹, — приветствовал я ее. — Проснулась? Что твой святой?

¹ Здравствуй.

— Спит еще, — улыбаясь, отвечала башкирка. — Он долго спит.

И засмеялась.

— А Хуршит? — спросил я.

— К Хуршит Газый приходил, — с усмешкой отвечала болтливая Зюгря. — Я видела. Ночью. Но ничего не было: Хайбулла — святой.

Я внимательно посмотрел ей в лицо.

— Однако ты, красавица, любопытная.

— Мне что? — Зюгря чуть презрительно двинула плечами.

— Ты не скажешь святому?

— Вот, очень нужно! — с легкой гримасой отвечала башкирка. — Пусть спит.

Мы помолчали.

— Чай будешь пить? — как-то утвердительно спросила она.

— Пожалуй.

— Тогда пойдем.

Мы вошли в дом. На нарах уже стояли зеленые чашечки; войлок, на котором я спал, был убран.

Я уселся рядом с Зюгрей. Началось чаепитие.

— Дай мне серебра! — вдруг сказала башкирка.

Несколько удивленный, я подал ей кошелек. Раскрыв его, она высыпала всю серебряную мелочь на поднос.

— Дай мне все! — повторила она и повела кошачьим лукавым взглядом. Горной малиной пахло от нее, — малиной цвели ее губы.

— Все деньги отдашь мне? — шепнула она еще и придвинулась и протяжно вздохнула.

Я рассмеялся.

— Разве ты так любишь наряды?

— Благодарю, спасибо, — сказала она ломаным русским языком и, засмеявшись своей фразе, выбежала из комнаты, подобрав все монетки. Я знал, зачем их взяла Зюгря: башкирские женщины из монет готовят себе своеобразные ожерелья.

Через минуту улыбающаяся Зюгря показалась на пороге комнаты.

— Спротала, — отвечала она мне опять тем же ломаным русским языком.

И, близко подсев ко мне, шепнула:

— Хочешь, я буду петь тебе песни?

Голос ее слегка дрогнул. Я сказал:

— Что же, это хорошо.

— погоди, я сейчас, — проговорила она и опять вкрадчиво засмеялась:

— Хазрет долго еще не проснется...

10

Она скоро вернулась, улыбающаяся, с трехструнной думрой. Не забыла она и приодеться: Зюгря вошла, кокетливо одетая в зеленый шелк. На полуоткрытой груди на галуне были навешаны ряды серебряных монеток.

Легко, как коза, она прыгнула на нары и поджала под себя маленькие ноги в красных сафьяновых туфельках.

— Что же тебе спеть? — усмехаясь, спросила она и опять добавила скороговоркой, как бы нечаянно:

— Он долго еще не проснется!

Я взглянул на Зюгрю.

— Спою я тебе одну песню, — медленно проговорила она и внимательно меня осматривала. — Свою песню. Сама сочинила. Песню молодых.

Тихо зазвенела думра. Я мало что понял в песне Зюгря... Говорилось в ней что-то насчет степного джигита, которого любили семь девушек с золотистыми волосами...

Я все смотрел на Зюгрю. Движенья ее были кошачьи... И улыбалась она, показывая мелкие белые зубы, тоже словно кошачьи, и во всей фигуре ее было что-то грациозно-опасное... В середине песни она вдруг привстала на нарах и, отбросив думру, начала, медленно изгибаясь, кружиться передо мною. Иногда она так склонялась, что концы ее кос падали на нары, проползали мимо меня и странно темневшие глаза приближались к моему лицу.

— Все! — вдруг крикнула она и со смехом выбежала из комнаты.

Вскоре к нам вошел пробудившийся хазрет.

ВОЛЬТЕРЬЯНЕЦ

1

Неприветны и убоги башкирские деревни; резко бросается в глаза подавляющая нищета башкирской жизни. Но посмотрите на ту же деревню издали, с какой-нибудь горы, которыми так изобилует эта сторона. Вы не узнаете поселка: так красив он, так живописен, что положительно кажется сказочным.

За узорчатой листвою кудрявого вяза спряталась мечеть с блестящим полумесяцем; только он один и выдает ее, — так широка вокруг шапка листвы; прислонясь к мечети, сияет на взгорье красная крыша богатого дома муллы; утонул весь дом «праведника» в душистых липах, ставших наполовину белыми от цветов; а мечеть гордо возвышается над избами, словно коршун над перепуганным стадом цыплят.

Вы съехали с горы, и вы видите, как убога и страшна вблизи действительность. Башкирские избы, казавшиеся издали такими нарядными, вблизи бедны и черны от последней нищеты. Косые, слепые дома-клетки, дома-закуты, — как не видят их обитатели, что дом муллы так просторен и богат! Как не замечают, что их «священный» месяц сидит только над богатой крышей мечети, а на их крышах точат носы лишь угрюмые грачи.

2

С утра разъезжал я по горам. К полудню, измученный и разбитый, я спустился вниз и, остановившись у подошвы горы Идашу, подле озера, разостлал поддевку и улегся в

тени исполинского осокоря. С низкой ложбинки, в которой я расположился, открывался мощно-холодный вид вверх, на каменистую Идашу, вершиной своей похожую на скелет верблюда. По склонам горы удивительно цепко росли и стремились кверху молодые деревца. Их форма была оригинальна: они росли по горе, изогнутые белыми стволами своими в половину кольца. Красива была и их нежная зелень на диком камне обочин... По небу бродили бычки, — серовато-дымчатые узорные тучки, — то заслоняя собой палящее солнце, то открывая его опять. Над головою плавно и, казалось, неподвижно висели в воздухе на распластанных крыльях два исполина-грифа, точно заснувшие на горячих лучах... Я задумался. С озера послышался треск валежника. Я приподнялся. Никого не было видно, только шевелились кусты. Но через несколько минут шум повторился, и на этот раз уже явственнее. Я увидел, что ко мне, покачиваясь из стороны в сторону, плетется серое, как дым, бесформенное существо, высокое, худое и сгърбленное. С удивлением вглядывался я в него и не сразу признал в нем человека.

Желто-синяя окраска кожи, клочья серой, словно свалывшейся шерсти на подбородке, полузакрытые глаза, плетями повисшие руки, сморщенные щеки на обтянутом, обглоданном болезнью лице... Кости и кости... Костлявые, длинные ноги... Впрочем, одна нога была короче и, сведенная в колене, не разгибалась. Было жутко смотреть на этот обломок человека, словно склеенного из кусков неумелой детской рукой, — и, может быть, самое жуткое было в том, что это существо улыбалось. Несчетно заплатанный, словно мраморный, ватный кафтан и выглядывавшие из-под него клочья красных широких, кумачовых штанов позволяли определить в нем башкира. Подтверждало догадку и то, что, подойдя ко мне, он молча потряс мои руки, молча, с достоинством уселся рядом со мною и, подняв лицо с утонувшими в морщинах век глазами, стал с любопытством разглядывать меня.

Я знал, что среди башкир есть повадка брать с проезжего русского посылную контрибуцию за стоянку на их башкирской земле. Эти невинные налоги заключаются обыкновенно в угощении чаем, обедом, иногда араком, то есть водкой. Случается также, что башкир попросит папироску, — этот, значит, жил в городе... Впрочем, такая вольность бывает только наедине: стоит лишь проехать по до-

роге мулле, как вольнодумец сконфуженно прячется в тени дерева и поспешно бросает папиросу.

Так же молча разглядывал своего незнакомца и я. Сколько ему было лет, было трудно определить: до того башкир был обломан и обглодан жизнью и болезнями, что при взгляде на него вспоминались мощи. Думалось все-таки, что он уже перешел предел первой старости.

3

— Папироску дашь? — спросил меня после изрядного молчания башкир.

— Ну а как же закон? — пошутил я, подавая ему папироску.

— Это не закон, — отвечал башкир серьезно, — нет таких, нет. Это мулла сделал закон, а не бог положил. А мулла — не закон.

«Вот какой!» Я взгляделся пристальнее в башкира: такие речи были необыкновенны. Что он, неверующий, что ли?

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Как меня зовут? — повторил старик. — Меня зовут — Искак.

— Видно, Искак, ты не любишь муллу.

Искак погасил о черную ладонь окурок, положил его на землю и тщательно присыпал землей.

— А за что его любить? Всякий мулла — не люди, какой не хочешь возьми. Всякий — скупой и больно сердит. Таких бог не любит. Деньги в сундуках держит, а бедным копейку нет. Вот он какой мулла... Раз он здесь, на земле, бога из себя делает, — он должен делать все хорошее: нашел бедного башкира — рубашку ему давал, ичиги давал, хлеб давал, бешмет давал. А мулла ничего не давал, только деньги собирает да много держит баб.

Беседа становилась уже интересной. Редко можно было встретить в глуши, раболепствующей перед муллами Башкирии, такого их критика. Я достал из дорожного мешка чайник, посуду, в жестянках сахар и чай, и башкир, как давно знакомый, принялся за хозяйство.

Передвигаясь ползком по траве, он ловко собрал охапку хвороста и подпалил его, с почтением осмотрев никелированный коробок со спичками.

— Ай, хороший коробка! Ай, хороший! — говорил он, поднося коробку к выцветшим глазам и щелкая языком.

— Возьми себе эту коробку, Искак.

Лицо старика приняло выражение растерянности и недоверия. Быстро и ужасно шевельнулась его искалеченная нога.

— Ты хочешь мне подарить, бояр?

— Ну да: у меня дома есть еще такая коробка.

Совсем детская радость засияла в погасшем взгляде этого обломка человека.

— Вот спасибо, вот спасибо! — коробка сейчас же исчезла в одной из бесчисленных дыр кафтана.

С чувством расположения я внимательно наблюдал дальше за этим больным и нищим стариком. Я не мог не удивиться его трогательной деликатности, с которой он старался обходиться с другими моими дорожными вещами, как старался всемерно делать вид, что он не замечает их, чтобы не показать мне, что он ждет нового подарка. Искушение — оглядеть дорожную фляжку, футляр для ножа — охватывало его, но он тревожно взглядывал на меня и отводил свои глаза.

Скоро был готов кипяток. Мы поделили между собой стакан и блюдце и принялись за чаепитие. Разговор шел о муллах.

— Ну, а как же, Искак, — сказал я, подсаживаясь ближе к башкиру, — у вас ведь тут есть хазрет, святой мулла, к нему ездят за четыреста верст.

— Святой? — с презрением переспросил Искак. — Какой же он святой? Грабит башкурт, а ты говоришь: «святой»! Наша башкурт глупы, тащит утка ему, барана тащит, овца тащит... И дом и палатку нажил хазрет, а бедным людям гроша не дает. Глупа наша башкурт, больно глупа.

4

Я с любопытством оглядывал своего собеседника. Щеки, веки глаз и серые губы Искака дрожали. Костлявая рука со сведенными ревматизмом пальцами пыталась налить в стакан кипятку и расплескивала его.

— Ты что же, — и башкир не любишь? — спросил я.

— Глупа башкурт, — повторил он. — Веревки из него мулла делает.

— Ну, а русские?

— А русский люди — совсем плохой люди. Разве урус чист перед народом нашим? Разве не он взял наши леса, горы, озера? Все наше забрал урсак, все тащил. Он украл, — и мы у него...

Эти речи я слышал не редко. Но было странно слышать их от беспомощного, едва живого, слабо двигавшегося старика.

— Я знаю, что мы, русские, много виноваты перед вашей страной, — тихо сказал я.

Видимо, Искак не ждал от меня такого признания.

Лицо его двинулось и покрылось сетью морщин; поднялись и плеснулись вниз руки; он глядел на меня несколько секунд недоверчиво, из его груди со свистом вылетало дыхание.

— Нет нам греха!.. — вдруг выкрикнул он и закашлялся... — Берем свое! Сто сотен денег взял он от нас, — вот сколько! Наши деды говорят: «Башкурт глупый народ был, простой, ничего не понимал он, знал бога своего и скот пас. А урсак пришел на земли наши и прогнал нас в горы». Хитрый урсак был, ой-ой, хитрый как! Он на вид показал, будто купит наши земли и — купил... Купил! — усмехнулся башкир, и погасшие глаза его вспыхнули, как искры в золе. — Серебряную монетку за десятину давал! Навешал башкурт на своих девок по волосам монетки, — «гайда, — кричит, — гуляй на наши земли, все твое...» И теперь урус богат, земля его от солнца до луны тянет, и куда птица летит, и куда солнце не ходит, тянет, а деньги, — копейку платил... У нас нет греха, нет греха!..

Искак опять закашлялся и схватился за грудь. Несколько красных капель упало на траву.

— Тебе нельзя так много говорить, Искак, — заметил ему я, — у тебя грудь, должно быть, болит?

— Болит, — ответил он, затихая. — Только мне что? Мое кончено: скоро помирал, а башкурт — народ жалеет, вот как! Бедный народ, малый народ... И живет, как умер.

Мы молчали. С закрытыми глазами, с поникшим костяным лицом сидел Искак и походил в своей неподвижности на осколок скалы, на серый памятник — столб башкирского кладбища. И тишина стояла вокруг, как на кладбище.

— И давно у тебя болит грудь? — спросил я.

— Давно. — Губы Искака почернели. — С той поры болит, как мулла меня колотил.

— Мулла? — спросил я с удивлением. — За что же он бил тебя?

— Сильно бил. Палкам бил. Перед народом башкурский бил, — безбожный я, кричал. Бога не уважал, законам не кланял...

— Вот как! Сердит же у вас мулла!..

— Мулла и раньше меня бил, да не больно бил. Все кричал, чтоб народ меня убил; потому, говорил, я богу противный. Через меня, говорил, пророк народ бросал и урус землям кончал.

Ну, а что же народ?

— Народ что? Народ больно мулла боял. Темный народ. Тоже бил. Камень брал — и бил. Вон, нога ломал, два пальца отшиб.

Я увидел, что на левой руке у него недоставало двух пальцев.

— Били камнями?

— Бил. Иной плакал, а бил, потому — муллу боял, потому — бог велел, против бога никто: всем смерть.

— А потом?

— Потом в гора отвозил. Думал мулла, — моя кончал. Так горам и живем. Рыба в реке ловим, ягода ашаем... А народ приходил. Тайком приходил, без муллы. Плакал народ, — говорит, — бог велел, не хотел бить, а бог велел. А мне что? Мое дело сделал: скоро умру, — dokonчил он с улыбкой. — Старый года моя, — ко мне уж смерть приходил.

— Как «смерть приходила»?

— Приходил, — подтвердил старик. — Недавно приходил. Большой пророк пришел; большой, как гора; один глаз во лбу, как желтый месяц. Пришел и говорит: «Довольно ты жил. Умирать пора, Искак».

— Ну а ты?

— Что я? — глухим и далеким голосом ответил Искак. — «Ладно, — сказал, — ладно... хорошо...»

Я всматривался в лицо Искака, думая, что он шутит, но башкир был серьезен, и строго-спокойным, исполненным суровой важности было его лицо.

Я молчал, раздумывая об этой странной искалеченной жизни. Молчал и Искак, охвативши голые колени руками. Внезапно он поднял голову и заговорил:

— Скоро на та свет пойдем. Твоих деда видаем.

Я опять поглядел на старика. Он говорил совершенно серьезно.

— Да что ты, Искак? Зачем тебе умирать?

— Пора, — отвечал, приподнимаясь, старик. — Моя пора кончатъ. Башкурт должны не такой люди быть. Умирать моя нужно... Ну, прощай, бояр, — вон люди идут. Они видать не должны моя, — не надо видать.

Башкир мотнул головой, как-то странно и жалко улыбнулся, показавши остатки зубов, и скрылся в кустах. Около горы, действительно, проезжали два башкира верхами. Я сел на лошадь и вместе с ними доехал до ближней деревни, откуда и направился домой.

Через три месяца я выезжал из Башкирии. Стоял знойный вечер; несмотря на то, что солнце уже село, было нечем дышать. Лошади плелись лениво, изнемогая от духоты. Мы подъезжали к лесу. Хоть и было поздно, но мне захотелось остановиться, чтобы дать отдых измученным лошадям, и я сказал своему возчику-башкиру, чтоб он подъехал к лесной опушке.

Башкир испуганно замахал руками.

— Нельзя, нельзя! — сказал он осекшимся голосом. — Там была смерть... Он быстро повернул лошадей в противоположную сторону, руки его дрожали.

— Какая смерть? — удивленно спросил я.

— Не поеду, нет! — забормотал башкир. — Ой, не поеду, бояр. Там страшно в лесу: там умер Искак.

— Искак? — переспросил я, припоминая свою летнюю встречу.

— Старик у нас жил, пророк была, — ответил башкир, погоняя лошадей прочь от леса. — Много обидел его народ, а он жил и жил. Любил людя Искак, как настоящий святой... И опять жил, и его бог кормил. Раз осень людя пришли. Лес палить, углям делать. Людя пришли, — а Ис-

как лежит. Мертвый лежит, и глаза открыты, — а около него бог сидел, большой, как гора.

— Какой бог, какая гора? — сердито переспросил я.

— Самый святой бог, который неба бывает. Лежит Искак и на бога смотрит. А бог сидит и смотрит на него. И глаз у бога — большой, как луна!

— Едем скорее!

Огромная черная туча закрывала своей пеленой бирюзовое беззвездное небо.

«Какая темь!» — думал я.

1901 г.

СВАДЬБА САФЕЯ

1

Еще не рассветало, как в окно моей комнаты бросил горсть песку Иван Петрович Кочергин: так он будил меня всегда, когда накануне мы уславливались ехать вместе на охоту.

Удивительная личность был этот Кочергин! В нем все было неизвестно: откуда он взялся, сколько ему лет, что он за человек и чем проживает. Появился он у нас в старом деревенском доме, когда я был еще маленьким, и жил во флигеле, в трехаршинной каморке, заставленной чучелами зверей и птиц. Чучела эти висели у него везде: на окнах, на потолке, на стенах... И одевался он оригинально: с раннего детства я привык видеть его в клетчатой синей рубашке, заправленной по-украински в широкие черные панталоны с одной ременной помощью, перекинутой наискось через плечо. Прошло много лет. Я опять приехал в деревню и опять увидел в крошечной комнатке Ивана Петровича Кочергина с его неизменными птицами, в его неизменном костюме.

Когда пара горстей песку оказывалась недостаточной, Кочергин начинал ломиться в окно, и, как бы я ни просил, он неотступно дубасил в раму до тех пор, пока я не выходил из комнаты.

В тот день мы решили съездить в дальнюю деревню Марзабулатово на свадьбу к башкиру Сафею, которого Кочергин, неизвестно почему, называл племянником. Я еще ни разу не был на башкирской свадьбе, и поездка меня интересовала.

После продолжительного чаепития на свежем утреннем воздухе мы забралась в нашу тряскую таратайку и, сопровождаемые массой лающих собак, выбрались за село.

В тот день Иван Петрович был настроен мрачно.

— Вчера опять у Прохора лошадей тяпнули! — рассказывал он, кивая на избу кузнеца Прохора. — Несчастный парень: каждую весну конокрады лосещают.

— И что же, их поймали? — спросил я.

— Какое! — Кочергин присвистнул. — Этих собак разве словишь?.. Воруют чисто. У них целая система сбыта. Уведут лошадь за деревню и передают своим подручным; те сбывают лошадь другим, другие — третьим... Так верст за шестьсот лошадь и угонят. Где отыскать!

— И часто крадут?

— Похоже. В прошлое лето такой на всех страх нагнали, что в деревне и пикнуть никто не смел. Придут конокрады в избу — «давай водки, денег...» А не даст, — рыжего петуха... не угодно ли? Но уж зато как попадутся в одиночку, спуску им не дают. Ужас как мучают: на кол сажают, топят, кости на руках и ногах бьют.

— Но кто же здесь занимается конокрадством? — спросил я.

— Все говорят, башкиры, — отвечал Кочергин. — Только, сказать правду, «на Савву слава». Нашенские крадут, а валят на башкир. Да вот недавно был здесь случай: поймали мужики башкира Усманку. Действительно ли был он конокрадом — никто не мог установить, но подозрение было: гулящий был башкир, дерзкий, нетрезвый...

— Однако по одному подозрению...

— Что поделаешь: настоящего-то конокрада поймать трудно, — вот и бьют, кто попадет под руку. Ловят все больше учеников да помощников, порой даже мальчишек. Ну, поймали Усманку и начали мучить... Уж я много видал, а и то ужаснулся. Все кости на ногах железными болтами раздробили.

— Позвольте, — заговорил я: разговор уже начал волновать. — Вы говорите, чаще всего свои воруют, — как же...

— Народ не разбирает, — сурово оборвал Кочергин. — Злой народ, дикий народ... Однако вот и Марзабулатово... Приехали.

Должно быть, родители Бибиесмы, невесты Сафей, жили не так бедно, как их односельчане. Изба была довольно просторная, чистая, даже зеленые занавески (правда самые дешевые) разделяли избу пополам. В настоящее время это было тем необходимее, что комната была одна, а невеста не могла показываться мужчинам — гостям, заполнившим комнату, — она и сидела за занавеской.

В избе и на дворе перед избой стоял несмолкаемый шум. Все было полно приглашенными. На столе посреди двора помещался огромный деревянный жбан с кумысом и деревянная чашка, стаканов на десять. Разговаривавшие гости подходили к столу, зачерпывали в эту чашку кумыса, опорожняли ее единым духом и, утершись рукавом, отходили, чтобы продолжить беседу.

Сафей, в праздничном бешмете, сияющий белозубой улыбкой, быстро подошел к нам и, радостно ухватив Кочергина за обе руки, заговорил что-то на своем языке.

Еще плохо понимавший по-башкирски, я с любопытством оглядывал галдящую и порядком уже подвыпившую компанию. Иван Петрович сейчас же засел у кумыса, в гуще почетных гостей, оставив меня одного с женихом. Пока Кочергин с озабоченным видом тянул кумыс, сконфуженный Сафей и я удивленно поглядывали друг на друга... Но подошел Кочергин и быстро распутал неловкое положение. Он представил меня башкиру как старого закадычного друга, и Сафей с радостью и расположением начал трясти мне руки. После первых приветствий мы направились с женихом в избу, где нам опять сильно и долго трясли руки. Впрочем, Сафей нас скоро оставил: ему было на этот день много хлопот и прежде всего надо было раздать подарки родственникам. С любопытством оглядывал я пеструю толпу, обступившую жениха, который раздавал им, за прежние услуги, кому чирик¹ чаю, кому платок, кому чашку, кому два чирика — вообще, смотря по его положению в обществе и степени полезности в его свадебном деле. Конечно, если бы Сафей был побогаче, он дарил бы гостей кумачом, ситцами и даже сукном, но все знали хорошо о средствах жениха и многого не требовали.

¹ Четверть фунта.

Жерло печи пылало огнями. В громадном котле, вмazanном в нее, бурлил жирный махан¹, на нарах была расставлена в глиняных чашках сладкая чак-чак² — крутое кушанье, коровье масло на меду, желтый и белый крут.

Угощение было готово, и все гости вождеденно на него засматривались, когда седой Уилдан, отец Бибиесмы, невесты Сафей, послал верхового за муллою. Наступал самый торжественный момент. Все гости оставили кумыс и битком набили комнату.

Вскоре явился краснобровый и рябой дряхлый мулла с пушисто-серебряной бородой. Он держался с необыкновенным достоинством, даже строго.

Все уселись на нары.

Мулла приподнялся.

— Охотой ли ты отдаешь ее? — спросил он отца невесты сухим и торжественным голосом.

— Охотой! — смущенно отвечал старик и склонил к земле свое желтое лицо.

— Охотой ли ты берешь ее? — обратился мулла с вопросом к жениху.

— Да, охотой, — сконфуженно и робко отвечал, склоняя голову, Сафей.

Мулла помолчал, шепча что-то усохшими губами, и потом, обернувшись к зеленой занавеске, за которой находилась все время невеста, громко спросил:

— А ты? Доброй ли волей идешь за него?

Минуту в избе стояло напряженное молчание. Мулла строго глядел по направлению к занавеске.

— Да, доброй волей, — тихо и робко прозвенел молодой и мягкий голосок.

Все гости в первый раз за этот день услышали ее голос. Счастливый жених вздрогнул и уставился в землю глазами. Строгий голос старого муллы выводит его из забытья:

— Какой калым дал ты за невесту твою?

— Пять... пять рублей, — шепчет он. — Барана еще дал.

Мулла берет себе за венчание известную часть стоимости калыма. Обыкновенно эта часть бывает не так мала, доходя до пятой всего взноса, почему башкиры зачастую и уменьшают цифру калыма.

¹ Вареное баранье (иногда лошадиное) мясо.

² Шарники из теста, приготовляемого на сале, облитые медом.

Старый мулла умывает лицо руками и тихо произносит:

— Слава тебе, господи!

— Слава господу! — гулко разносится по избе, и все начинают тереть себе лица руками.

4

Обряд кончен: повеселели все, словно тяжесть свалилась с плеч. Повеселел и мулла; строгое выражение его выцветших глаз сменилось веселым, самым житейским. Он поздравил старого отца невесты, поздравил жениха и сел на почетном месте на нарах.

Перед наиболее чтимыми гостями задымился жирный бишбармак — башкирское блюдо несложного приготовления, состоящее из квадратных кусочков теста и разрезанной на куски баранины. Бишбармак — значит «пять пальцев» и называется так потому, что едят его всей пятерней.

Мулла сотворил молитву и опустил руку в котел с бишбармаком. Вынув оттуда куски теста и баранины, он поднес их прямо ко рту отца невесты как самого главного гостя. Тот раскрыл рот, но отказался. Мулла преподнес ему почетное кушанье еще и еще раз. Старик все отказывался от такой чести. Тогда мулла положил бишбармак уже к себе в рот. После этого он опять захватил кушанье пятерней и поднес его к раскрытому рту старика. Тот уже не отказывался, не церемонился, а с достоинством принял из рук муллы бишбармак в свой рот.

После этого мулла стал дарить этой почестью всех по старшинству, собственноручно кладя всем в рот куски баранины и теста. Не обошли бишбармаком и меня с Кочергиным... Все башкиры ели поразительно много, точно наедались на несколько дней.

Скоро на нарах появились: махан, приторная чик-чага и крут, который гости стали есть вместе с медом. Этого кисло-сладкого вещества мне пришлось тоже отведать. Я все смотрел и дивился башкирскому аппетиту. Тогда еще я не знал, что сытно наедаются башкиры могли лишь по случаю празднеств.

Но вот сам жених торжественно принес жбан с кислым медом, в русских деревнях Башкирии называемым «савраской»; этот напиток приятен на вкус, но отличается непомерной крепостью и одурманивающей силой.

Сафей сейчас же поставил жбан перед старым Уилданом. Все гости были поражены; не скрыл своего удивления и Кочергин.

— Ого! — проговорил он. — Что это ты, Сафей, так раскутился? Уж не украл ли ты где чего, что деньги мотаешь!

Конечно, это было сказано в шутку, и жених улыбнулся.

Старик стал разливать «савраску» по чашкам — и опять по чину каждого гостя. Все следили за церемонией благоговейными взглядами.

— Благодарение господу! — выпил первым мулла и за ним по старшинству потянули свои порции пирующие. Еще более нестроен стал говор, жесты сделались развязнее, все наперерыв тянулись к «савраске», которая скоро начала оказывать свое действие. Комната наполнялась гуденьем и смехом, слышались споры и ссоры; безносый старик-башкир затянул монотонную, тягучую песню и порывался даже пуститься в пляс...

Старый Уилдан с потемневшим лицом и налившимися кровью глазами часто припадал бритой головой к плечу муллы, у которого совершенно исчезло строгое выражение глаз, и шептал ему заикаясь:

— Выпей, мулла, выпей, ученый.

На что тот с меньшими запинками отвечал:

— Так и быть... Пусть так. Так и быть, выпью; обижу свой ум, а выпью.

5

Гости разделились на кучки. В одной пели, в другой бранились, в третьей порывались плясать; кто-то хвастался, что зимой поймал руками темно-бурую лисицу, а отец невесты, потерявший из виду каким-то образом приятеля-муллу, медленно раскачиваясь, вдруг затянул низкой хрипотой песенку веселого содержания и, вероятно, для шикю, на русском языке, правда, весьма сомнительном.

Большой шапкам меховой
Набок надевался
И цепочкам золотой
По брюхам болтался.
Если ты меня не любишь,
То мы бросимся вода...

Дальше в этой песне рассказывалось, как молодой паренек при золотой цепочке и меховой шапке преследует любовью одну красавицу зингей¹; та ему не покоряется, и он запугивает ее тем, что по его смерти в озере от неудачной любви на его тело, огромное, как кит, придут «полицейские власти» и будут резать его кишки на кусочки, производя вскрытие.

Полицейская приходит
С каким-нибудь фельдшерой, —

пел Уилдан, —

Кишки-мышки вынимает,
На кусочкам режет их...

Песню эту собрались слушать все, даже не понимавшие русского языка. Должно быть, песня им нравилась: когда старик кончил, все подходили к нему и одобрительно трепали по плечу.

Однако жениха не было в избе. Должно быть, пользуясь суматохой, он скрылся у невесты.

6

После песни отца невесты как-то случилось, что все гости запели разом и пели до того громко, что у меня закружилась голова. Смутно я видел, как раскрасневшийся Кочергин размахивал руками и ругательски ругал одноглазого башкира за его похвальбу выпить единым духом ведро кумыса.

— Ставь заклад! — кричал одноглазый.

Кругом смеялись, подталкивали Кочергина и отпускали шутки по адресу одноглазого.

Общий гомон прервало появление Сафея с двумя здоровенными башкирскими молодцами, которые начали поднимать с нар «мертвые» тела с блаженно улыбавшимися сонными лицами и выносить их на прохладу во двор. Из-под некоторых поднимаемых тел выпадали на земляной пол опорожненные под шумок бутылки сивухи.

Поздно вечером уехал я; спавшего во дворе Кочергина обещал привезти отец невесты Сафея. Хозяева разнесли по домам окончательно захмелевших гостей; один только мулла не допустил себя нести, а пошел сам, слегка придерживаясь за плетень.

¹ Девушка.

Этим и закончилось брачное пиршество: ведь Сафей принадлежал к беднякам, — у богатых же свадьба обставляется сложными и своеобразными церемониями.

У богачей брачное пиршество бывает многократным. Первый раз пируют, когда отцы согласятся насчет калыма. Затем вместе с родителями появляется в доме невесты и жених; обычно перед выездом он посылает мальчику собирать со знакомых для невесты подарки. Подарки даются разные. Кто дарит платком, кто — ситцами, кто — серебром. Мальчик все полученное передает жениху, который, явившись в дом невесты, раздает пожертвования, правда не ей самой, а гостям. После этого в дом жениха являются отец и мать невесты. Те также приносят с собою ящик с подарками. Сверху вещей, назначенных для раздачи, обыкновенно кладется нарядный платок; его получает себе на память одна из женщин, которая открывает сундучок по приглашению матери невесты. Остальные дары раздаются всем присутствующим, причем мужчины должны отдарить за почет деньгами. Самую ценную вещь получает отец жениха; но и это не безвозмездно: он обязан дать за это лошадь, корову или овцу. Со времени обмена подарками жених может свободно бывать у своей невесты. Когда-то, в седую старину, это обставлялось тайной. Посещал жених невесту ночью, чтобы не видеть ее лица... В настоящее время это требование отпало. Жених зачастую живет в доме невесты даже по нескольку дней; совсем же он увозит ее к себе по уплате всего калыма.

Тут-то и начинается пиршество. Собираются все родные и знакомые, приглашается мулла. С утра до поздней ночи пьют и едят. Призываются музыканты; кто-нибудь из искусных пляшет, другие хлопают в ладоши.

Жених и невеста на этих увеселениях не присутствуют: они сидят в особой комнате, куда могут приносить им яства только женщины.

Ночью невесту внезапно уводят от жениха и прячут. Жених должен искать ее, и это нелегко: иногда ее прячут в чужом доме, и найти невесту ему удастся лишь только к утру.

Но и здесь ее не отдают жениху: он должен уйти к гостям. И только по уходе гостей к нему вводится невеста.

— Сними сапоги! — приказывает он ей, и та должна это исполнить.

Молодые остаются наедине.

На следующий же день она переезжает в дом жениха навсегда.

7

Конечно, Сафей, и без того потратившийся на угощение свыше сил, не мог и думать о таких пышных свадебных церемониях; но он и не жалел о том, что не может угостить родственников более одного раза. Он был рад, что гости разошлись: весь он был подле Бибиесмы.

Упала ночь.

Сафей вышел с невестой во двор и сел под тополем. Бибиесме было лет пятнадцать; в сущности, она была еще девочкой: мелкие черты лица и хрупкость фигуры придавали ей совсем ребяческий вид. Она выглядела озабоченной и тревожной; отклоняя ласки мужа, она пытливо и серьезно заглядывала ему в глаза.

— Отчего ты так печальна, как ночь? — спросил он наконец Бибиесму. — Разве ты не пошла за меня доброй волей, разве ты не сказала мне, что я тебе дороже матери и отца?

И он жался к Бибиесме и пытался поднять руками ее опущенную голову.

— Почему молчишь?

— Ответишь ли ты мне правдой, Сафей?

— Конечно, отвечу. Зачем буду я лгать своей любимой?

— Тогда скажи мне, — голос Бибиесмы осекся в волнении, — откуда ты взял денег на такое богатое угощение?

Сафей молчал.

— Женщины говорили, — продолжала Бибиесма, — что за все последние годы в нашей деревне не было таких дорогих свадеб и что ты получил деньги на свадьбу неверным путем... Почему ты не отвечаешь, Сафа?

— Нечего отвечать, — после раздумья сказал Сафей глухим голосом. — Старые бабы на то и существуют, чтобы брехать. Старая баба — хуже собаки, — тебе незачем было слушать, Биби; не косая ли Зюгря наболтала тебе про меня?

— Да, старуха Зюгря! — удивленно подтвердила Бибиесма и повела на него тревожным взглядом. — А почему ты догадался? Что у тебя за дела с Зюгрей, которая дает у себя в доме приют неверным людям?

— Говорит Зюгря — что ветер веет. Что делает Зюгря у себя в доме, я не знаю: не бываю я у нее.— В голосе Сафея послышалось смущенье.— Я вот сейчас дойду до старухи и заставлю ее сознаться в том, что она налгала на меня.

— Ты хочешь идти к ней? Но ведь поздно: она, верно, спит.

— Ну, нет, она еще не спит, зачем спать?

— А почему ты знаешь, что она не спит, раз не бываешь у нее?

Сафей нервно поднялся.

— Пусть сейчас же она подтвердит, что сказала ложь.

Кубовое полотнище неба полыхало разноцветными звездами; неизвестно отчего образовавшаяся на дымном горизонте багровая полоска разливала мутный, тревожный свет; в лесу, на окраине села, сонно ухал филин.

— Я боюсь...— тихо вздохнула Бибиесма и положила руки на плечи Сафея.— Она дышала нервно и пытливо всматривалась в его глаза встревоженным взглядом.— Ты сказал мне правду, Сафа? Свадьба была честной? За тобой нет ничего плохого?

— Вот я за волосы притащу сюда ведьму, раз мне ты не веришь! — сердито крикнул Сафей.— Я сейчас же буду, — не уходи!

И Сафей поспешно вышел со двора.

8

Лачуга старой Зюгрии стояла на окраине села, тут же у леса. Ходу Сафею было десять минут, и он шел торопливо.

— Проклятая болтунья! — бормотал он, гневно сжимая кулаки, вступая в лес.

Притаенный свист, пронесшийся по лесу, заставил его вздрогнуть. На освещенной всплывшей луной зелени листья метнулись черные тени. И в тот же момент брошенный в Сафея железный шкворень сбил его с ног.

— Попался, проклятый! — закричали над его головой.— Дави конокрада!

Сафей хотел двинуться, но страшный удар плети по голове заставил его раскинуть руки.

— Попался! — кричали над ним. — Бей конокрада!

И в липком тумане чувствовал Сафей, что огромные, тяжелые сапоги топчут его по груди, по животу, по ногам...

Вскоре после ухода Сафея проснулся и Кочергин. Серdito он оглядел лежавшего рядом отца Бибиесмы, который после «савраски» храпел с блаженством. Вышел на двор, опять выбранился и, растолкав хозяина, потребовал у него лошадь. Старик не скоро понял Кочергина.

— Куда ты? — удивился он, протирая глаза. — Ночью-то?

— Ладно, не разговаривай, — хмуро ворчал гость. — Луна теперь. — После попок он всегда бывал в самом мрачном настроении. — А мой дурень укатил без меня.

Серdito уселся на тощую лошадь старика Кочергин и погнал ее, нахлестывая хворостиной. Длинные ноги его свисали с облезлых боков лошади и чуть не чертили по дороге.

— Не мог подождать, лоботряс! — ворчал он, подъезжая к лесу. Дорога круто сбегала в овраг. Внезапно лошадь остановилась. Полная круглая луна заливала поросшие вишенником обочины оврага, на дне которого копошилась темная кучка людей.

Смутное чувство тревоги заставило Кочергина притаиться в кустах. Затаив дыхание, смотрел он, как над темным, полуголым, чуть прикрытым рваньем телом башкира копошилась кучка крестьян. Поспешно, не роняя слов, привязывали они башкира по рукам и ногам к четырем крепким палкам, скрепленным наподобие носилок. Привязав, они взялись за концы палок, приподняли башкира высоко над головой и бросили жертву на камни. Раздался протяжный глухой стон. В висках Кочергина застучало, сердце замерло: он узнал Сафея. При свете луны он видел, что рот башкира был заткнут жгутом.

Сафея подняли еще раз. Кочергин не выдержал зрелища казни. Не помня себя, он бросился вниз и закричал во весь голос:

— Остановитесь, дьяволы!.. Остановитесь, звери!..

Его самого стукнули чем-то по голове, и когда Кочергин пришел в себя, около никого не было. Не только убийц, но и их жертвы; не было и орудий этой ужасной казни; только лошадь спокойно бродила по дну оврага: они не тронули чужого добра; это были не воры, а жестокие мстители за конокрадство.

БАШКИРСКИЕ СКАЧКИ

1

Павел Николаевич Алехин служил в пограничном городе на востоке России, в губернском присутствии, состоя там чиновником особых поручений при губернаторе. Разъезжать ему приходилось много, но с особенной охотой ездил он в командировки по Башкирии, которая очень интересовала его оригинальной природой, своеобразными людьми. Он говорил, что совсем не такова стала теперь эта сторона; еще доводилось ему ранее видеть башкирские кочевки, видеть исполинские леса. Ныне все измельчало. Башкирия позаселилась.

Но и теперь отдельные уголки этой далекой стороны привлекали Алехина. Горные места меньше подвергались заселению, еще сохраняли свой колорит. Громадные, отвесные, с нависшими над тропами каменными глыбами, лысые, обнаженные и поросшие лесом, горы невольно подавляли своим величием. Любил Алехин и серебряные речки, бегущие среди гор по лесам; стремительность этих рек, прозрачных и холодных от массы поддонных родничков, казалась единственно нарушающей суровое молчание природы.

Как разбросанные рукою титана, громоздятся утесы к самому небу; в утесах ямы, пещеры; в горе Альян была святая пещера, куда, говорили башкиры, простому смертному не войти; жил там Альян, башкирский вождь, и пока был жив, процветала Башкирия; умер Альян,— и вместе с ним умерла страна.

Тихи, как горы, были и башкирские деревни; любил Алехин присматриваться к их своеобразной жизни, любил говорить с их жителями и часто ездил к башкирам в гости.

По дорогам — обычное зрелище — встречались ему на скрипучих телегах башкиры. Алехин знал: едут в село на базар; лошади — мелкорослые, хмурые, лохматые; обожженные солнцем скуластые лица хозяев равнодушно-покорны и мрачны; не было, казалось, слов, чтобы изобразить великое горе народа.

2

Въедет, бывало, Алехин в поселок. Тихо все, точно вымерло. Редко-редко можно увидеть черного и грязного башкиренка, играющего в альчики или вишневые кости, да длинноногая, остроносая, необыкновенно худая собака твякнет сонным голосом и снова уткнется в землю ищущим прохлады носом.

Возле селений леса пожжены на уголь и порублены. Разросшиеся на пепелищах кустарники прячут от взгляда почерневшие пни.

Конечно, еще оставались в Башкирии леса; только не часто они принадлежали башкирам.

— Чей это лес? — спрашивал Алехин проезжавших башкир.

Удивлялись башкиры вопросу.

— Бояр лес! Бояр!

— Какого барина?

— Свистухин — бояр.

Доводилось узнавать Алехину, что кроме дворянских и генеральских детей на башкирских землях широко разводились и дети чиновников и мещан: служилые люди в изобилии снабжались в старину землями от своих щедрых на чужое начальников.

— Чей это дом? — спрашивал проезжих Алехин, увидев среди вязов зеленую затейливую крышу с петухами на трубах.

Сурово и глухо отвечали башкиры:

— Баринов дом!

— Какого барина?

— Пилатка¹ барин. Чиновник служил, чернилам макал, бумагам писал.

А вот на крохотной чалой с разрезанными концами ушей лошади плетется в рыдване древний старик. Еле тянет воз сена колченогая лошадь.

¹ Филатов.

— Знаком¹ — остановит его Алехин.

Апатично обращается на него высохшее лицо с редкой, точно выщипанной бородой.

— Чья это роща за рекой?

— Бояр.

— А ваши леса?

Башкир только хлестнет лошадь и поллетится дальше.

3

Заезжал по делам Алехин и к помещикам, жившим по селам, пограничным с Башкирией.

Не довольствуясь своею землей, помещики снимали в аренду земли и у башкир; снимали, конечно, за бесценок и жили привольно, развлекаясь охотой и поездками в горы.

Из числа последних могикан уезда особенно любопытным Алехину казался помещик Разгильдяев. Был он из отставных военных, называл себя кавалеристом, и хотя недолго прослужил в полку, выйдя в отставку ротмистром, но это не мешало ему считать себя отчаянным храбрецом и дуэлянтом.

Разгильдяев любил рассказывать о своих подвигах на войне в последнюю турецкую кампанию и всегда обижался, когда кто-нибудь из гостей сомневался в его участии в геройском штурме Баязета.

Когда же кто-нибудь из простодушных родственников начинал доказывать Разгильдяеву, что во время турецкой войны он уже состоял в отставке и мирно охотился в своей деревенской глуши на зайцев, он начинал браниться и на весь день терял хорошее расположение духа.

Нельзя было сказать, чтоб у Разгильдяева не было охотников на его рассказы. Самым доверчивым слушателем являлся его десятилетний сын Гриша, которого отец прочил в гусары, но было много и посторонних клиентов, и к числу их относился бледный, худосочный юноша из духовной семинарии, с сладким, чахоточным голосом, по фамилии Вонмигласов. В семинарию он попал только по воле родителей: его отец, сельский благочинный, не находил возможным отступить от семейной традиции постав-

¹ Друг, приятель.

лять родине священнослужителей. Обыкновенно тихий и застенчивый, часто красневший, семинарист Вася становился во время рассказов ротмистра совершенно неузнаваемым: тусклые, точно вылинявшие глаза его принимали фосфорический блеск, лицо покрывалось красными пятнами и даже волосы на голове взъерошивались, как у ежа.

Алехин тоже принадлежал к числу охотников на военные рассказы, но слушал больше от скуки.

Была у Разгильдяева и еще одна слушательница — старая тетка генеральша Шугаева, но к ней он относился враждебно, так как генеральша нередко засыпала на самом интересном месте его рассказов и своим храпом препятствовал их продолжению.

В этих случаях рассерженный до последнего хозяин ожесточенно хмурился и с бранью уводил слушателей в другую комнату.

Но генеральша была неотвязна: немедленно, с мопсом в руках, она вновь появлялась в обществе и вытягивала шею, внимая прерванному сном рассказам племянника.

Разгильдяев сердился.

— Опять вы, тетушка, явились, — хмуро говорил он. — Еще снова заснете...

Вообще с теткой Разгильдяеву было немало неприятностей. У генеральши, несмотря на старость, был острый язык, и когда в своих повествованиях Разгильдяев приводил точные цифры, сколько он освободил из плена болгар, старуха отмахивалась и кричала, ехидно кривя высохшие губы:

— Ой, поубавь! Ой, не столько! Вчера сказывал наполовину меньше!

4

Раз, в конце лета, перед отъездом из Башкирии, Алехин заехал к Разгильдяеву в усадьбу.

Встретил он хозяина во дворе. В чесучевой рубашке и военных рейтузах, Разгильдяев стоял в обществе кучера Вавилы перед лежавшим возле него на траве связанным волком и дразнил его хлыстом.

— Ах, вот кто! — ласково заговорил он, направляясь к Алехину своей раскачивающейся походкой и протягивая ему обе руки. — Рад, очень рад, — посмотрите, батенька, какого шельмеца поймал гололобий Хакимка!.. Ну, дядя, вставай.

И Разгильдяев потрогал ногой угрюмо дышавшего волка.

Алехин сказал ему, что пришел проститься.

Тучная шея Разгильдяева стала наливаться краснотою. Он взволнованно замахал руками.

— Что вы, что вы! — закричал он. — Слово гусара — вы поедете на скачки.

— На какие скачки? — удивленно спросил Алехин.

— Я устраиваю скачки под Сурашевым, и вы обязаны на них быть!

Алехин протестовал, отговариваясь недосугом, но ничто не помогло.

— Служба — дружба, а скачек вы нигде не увидите! — кричал Разгильдяев.

Не давая гостю возможности сопротивляться, он потащил Алехина в комнаты и приказал подавать завтрак.

Уже начали собираться гости, приглашенные на скачки. За завтраком Разгильдяев долго распространялся о скачках и о подарках-призах.

Завтрак кончился. С криками хозяин начал носиться по комнатам, собирая ковры, подушки, корзины с провизией и бутылки с вином. Его пушистые, под генерала Скобелева, бакенбарды взмокли от суетни и оставляли черные полосы на чесучовой рубашке, но он не замечал ничего этого в своей отчаянной спешке.

Алехин должен был покориться воле хозяина. Он еще не бывал на башкирских скачках, и рассказы Разгильдяева заинтересовали его.

К крыльцу дома стали подавать экипажи, и все домашние начали сносить погребцы, ковры, подушки и одеяла; любитель-хозяин все укладывал самолично, не допуская до этой процедуры гостей.

Среди приглашенных на скачки были по большей части знакомые Алехину окрестные помещики с семьями; явился на празднество и местный благочинный, отец Васи-семинариста, тоже Василий, — пышный мужчина с «христовым», как говорили местные дамы, обликом и волнистой бородою; прибыл с женой и рыжеволосыми веснушчатými детьми становой пристав Уздечкин и холостяк акцизный, которого почему-то звали «Скакуном». Стоял оживленный говор, сияли шелками, как солнца, красные и оранжевые дамские зонты, сверкали дула помещичьих двустволок, блистали двухаршинные охотничьи сапоги, пояса с кавказским на-

бором, отставные кокарды на красных околышах,— зрелище выглядело достаточно экзотическим.

— Живей! Скорее!— раскатываясь шаром, командовал неутомимый хозяин.

Когда наконец гости и тюки разместились по экипажам, процессия по команде Разгильдяева тронулась в путь.

Собаки лаяли, кидаясь на экипажи, деревенские мальчишки бежали за поездом, а впереди всех скакал устроитель веселья в каком-то синем опереточном костюме с аксельбантами и трубил в серебряный рог.

5

С шумом миновали деревню, выбрались в поле. В отдалении синели горы, и экипажи как бы сами катились по отлогому ровному пути.

Проехали молчаливую башкирскую деревню, долго пробирались меж гор и лесов, наконец, прибыли к месту скачек. Там уже расположилась вся сельская интеллигенция, приглашенная на празднество, но не приглашенная на дом. Старшина, сельский староста, богатые кожевники, фельдшер и их семьи пестрым оживленным говором встретили приезд Разгильдяева. Мужской персонал был почти поголовно навеселе; подвыпили в ожидании и некоторые из местных дам.

Разгильдяев приказал разостлать ковры под деревьями на высокой площадке, откуда открывалась широкая панорама вниз на дорогу и окрестности, и позвал к себе башкирских старшин.

— Все ли готово? — спросил он.— И башкирята на лошадях?

— Все, все, мулла, готово! — отвечали те.— А подарки принес?

Вместо ответа Разгильдяев велел кучеру принести тюки.

— Первый приз,— крикнул он башкирам,— вот: часы! Смотрите у меня, скакать чтоб шибче! Часы — серебряные, с ключом и цепью!

— Ай, хороша! ай, хороша! — твердили башкиры, разглядывая часы.

Разгильдяев стал показывать им и прочие призы. Тут были: халаты и шали, коврики и туфли, пестрый ситец, красные штаны и зеленые тюбетейки, чай и сахар фунтиками.

Башкиры рассматривали все и хвалили.

После этого Разгильдяев приказал привести башкирят, которые, собственно, и должны были скакать.

Появились башкирские дети — подростки — смуглые, худошавые, в заплатанных, оборванных тюбетейках на головах. Они вели за собой поджарых скакунов, которых еще за неделю до скачек обыкновенно перестают досыта поить и кормить.

Разгильдяев внимательно осмотрел лошадей и, вспомнив про Алехина, подвел его к наездникам.

— Вот,— сказал он,— вы — городской житель. Этаких дел вы нигде не увидите! Каковы каналы? А это вот Замахтин — самый лучший джигит¹.

И он поспешно отошел к волостному старшине, помогавшему ему в устройении скачек, с приказанием, чтобы наездники отъезжали в деревню Сурашево, откуда должны были начаться скачки.

Джигиты уехали.

6

Разгильдяева окружили с почтительными лицами приглашенные на скачки. Разомлевшие от жары и закусок дамы смотрели на него влюбленными глазами.

— Ну, господа,— возгласил он торжественно, как жрец,— скоро начнется! Советую всем занять места поудобнее: скачки обещают быть особенно интересными... Первый приз отдаю я, второй отдает Павел Николаевич... Держите!..

Он швырнул в Алехина куском ситца.

— Вы, становой, отдадите третий приз — коврик для ног,— распорядился он далее.— Вы, Федор Иванович, дадите мои туфли... Эй, вы, там, варите бишбармак, варите махан!

Под тенистыми ветлами было разостлано в ряд несколько огромных ковров. Рядами же были накиданы по концам их подушки для дам и наиболее почетных гостей, а посредине, на скатерти, возвышалась целая батарея бутылок со всевозможными водками и доделанными наливками; там же стоял и кислый башкирский мед — асыбал — в глиняных кувшинах; бочонки с кумысом, одина-

¹ Наездник.

ково любимым как не русскими, так и русскими обитателями Башкирии, завершали обширную коллекцию питий.

Оказавшийся большим любителем торжеств, благочинный отец Василий был рьяным помощником Разгильдяева по гастрономической части. С большою охотой он ползал по коврам между снедами и, благословляя яства несколько дрожащей рукой, расставлял их в примерном порядке.

— Прошу, дорогие гости, откусать! — сказал он, когда все было устроено.

Но едва уселись закусывать, как снизу послышался шум.

Прискакал башкир. Он задыхался, был бледен и долго не мог говорить. Его обступили, отпаивали кумысом.

— Начали! Скачут! — наконец выкрикнул он. Его конь был взмылен и пошатывался под седоком.

Побледнев, Разгильдяев поднялся, отбросив ногу жареной индюшки.

— По местам! — гаркнул он и, надув щеки, затрубил в свой опереточный рог.

Все бросились к краю площадки, откуда был вид на дорогу, и, поспешно расталкивая друг друга, заняли свои места; дамы действовали локтями не хуже мужчин; беспомощно пищали покинутые младенцы; обгоняя людей, бежали с лаем и задранными хвостами не менее любопытные псы.

Вдали послышался звук рожка. Рожок откликнулся ближе, уже несколько громче. Затем рожки начали перекликаться, приближаясь.

На горизонте показалось синеватое облачко пыли; облачко все темнело и кудрявилось. Это скакали джигиты. Вскоре затем стал виден силуэт первой лошади.

Наблюдавшие скачки вдруг прорвались ревом.

По дороге, перегоняя друг друга, скакали во весь опор черномазые ребята в тюбетейках и драных рубахах самых ярких цветов. Джигиты старались изо всех сил получить подарки и нещадно хлестали своих сухопарых скакунов.

Вдоль этого же пути разместились и взрослые верховые башкиры — отцы и родственники наездников. Как только они примечали в числе скачущих своих детей, — подскакивали к ним и сами начинали изо всей мочи хлестать нагайками, подгоняя их лошадей.

Алехин тоже подвинулся к краю площадки и глядел с тревожным чувством растерянности. Внезапно с дороги

раздался оглушительный крик. Он посмотрел вниз — и понял.

В пыли лежали лошадь и два всадника. Одна лошадь, без седока, скакала, бешено галопируя и брыкаясь, по дороге.

Оказалось, что отец одного наездника, желая обеспечить сыну первый приз, кинулся, по обычаю, с нагайкой к его скакуну, но, должно быть, второпях, не рассчитав бега своей лошади, наскочил на джигита, выбил его из седла и упал сам. Старика откинули в сторону, и он долгое время лежал без чувств.

Алехин хотел отойти, но его удержал Разгильдяев сильным толчком в спину.

Наступал захватывающий момент скачек: наездники приближались к финишу. Впереди всех скакал Замехтин.

Разгильдяев топал ногами, подпрыгивая на одном месте, кричал, свистал и даже взвизгивал, обращаясь к скакавшему джигиту:

— Скорей, собака! — орал он истощенным голосом, рискуя свалиться «от кондрашки». — Скорей, кутенок! Живо!.. Вот они, вот часы-ы!

И размахивал над головой часами.

Не отставая от главаря, орало и галдело все сборище.

Помещики, пристав, кожевники и староста надрывали глотки в своем экстазе; семинарист Вася выл осипшим тенором, суча ногами, как щенок, а сельский фельдшер, по видимому, главный любитель скачек, влез на березу и, с риском обрушиться на священника, прыгал по толстому суку дерева и ожесточенно кричал:

— Жарь!.. Жарь!.. Дьяволы!.. Мерзавцы!..

Джигиты близко от заветной цели. Уже слышны их гортанные крики, видны утомленные, пропыленные, побледневшие лица... Впереди все еще скачет лучший джигит Замехтин. Его догоняет кто-то, они сшибаются, несколько секунд заминка, вопли у финиша, вой и толкотня наблюдающих. Вот Замехтин почти у флага... Доскакал!..

Общее галдение рассекают торжественные звуки фантастической трубы Разгильдяева. Его военный китель треснул в плечах, под его глазом — синяк, одна щека расцарапана, но он дудит, как архангел.

— Ага! — радостно говорит он первому джигиту, вручая ему часы. — А ведь если б я вовремя не крикнул на тебя, не получить бы тебе часы!..

Замехтин хватает обеими руками полученный приз и растерянно прижимает его к груди. Сердце часов и сердце джигита бьются в унисон. Счастливица обступают взрослые башкиры с завистливыми лицами и чмокают губами.

— Ай, хороша! Ай, хороша!

У каждого мысль: «мой сын не получил, мой сын не доскакал».

— Чего же вы стали, Павел Николаевич? — обращается к Алехину Разгильдяев. — Давайте джигиту второй приз! — Алехин отдает оттянувший ему руки ситец.

7

Теперь его миссия была окончена. Улучив минуту, когда Разгильдяев углубился в споры относительно призов, он отправился посмотреть разбившегося на скачках старика.

Ему объяснили, что старого башкира снесли к реке.

Алехин направился туда.

Когда он проходил лесом, до слуха его долетели странные, никогда не слыханные им музыкальные звуки, довольно мелодичные, но в высшей степени своеобразные.

Были они похожи на игру аристана или арфы, но поражало в этой неслыханной музыке обилие придыханий и гортанных звуков, — звуков, как бы исходивших из живого человеческого горла...

Визг, звон, свист, хрипенье и, наконец, плавные, музыкальные звуки странно плыли, надвигаясь один на другой, сшибаясь, смешиваясь, и сплетались вместе, образуя что-то дикое и мелодичное. Высокие ноты живо чередовались с низкими, тяжелыми, басовыми, еще более своеобразно окрашивая этот музыкальный хаос.

Алехин направился на эти звуки и увидел небольшую кучку приглашенных Разгильдяевым на скачки гостей. Перед ними сидел на траве, поджав под себя ноги, старый башкир, похожий на мумию своим окостенелым неподвижным лицом. Рот его был открыт, но губы не шевелились; тронутые трахомой глаза были дико выпучены, и сам он, казалось, находился в столбняке.

Но оказалось, что именно он и издавал эти странные звуки.

— Что это? — шепнул Алехин фельдшеру.

— На горле играет, — с удовольствием ответил тот, осклабясь. — На глотке... Да-с. Сам сидит и не движется,

собака, а музыка, значит, идет из внутренностей его. Хитро, что и говорить-с!..

— Сыграй «перовский» марш, Мисташка-Фисташка!— крикнул кто-то из гостей и бросил две копейки.

Старик жадно схватил монету, опять выпучил глаза, как-то странно кашлянул и заиграл что-то похожее, в самом деле, на марш.

— Кашляет он завсегда,— объяснил Алехину тот же словоохотливый фельдшер: — нутро в порядок приводит!

Алехин пошел было прочь, но в это время где-то рядом громко захохотали. Алехин обернулся и увидел сидящего на траве перед толпой гостей пожилого башкира; башкир делал какие-то странные движения, вызывавшие у публики хохот. Алехин подошел и содрогнулся: башкиру кидали медные монеты, и он за это ловил пригоршнями мух и ел их на глазах грохотавших от удовольствия зрителей.

Алехин поспешно отошел и стал отыскивать разбившегося башкира.

Нашел он его у речки, внизу, под обрывом. Он лежал на траве и стонал, а около него сидел мальчик лет пятнадцати и плакал. Должно быть, это и был джигит-неудачник. Девушка, тоже подросток, в изношенном кумачовом платье, мочила в воде грязные тряпки и прикладывала к лицу и груди башкира. На лбу, щеках и груди старика была сорвана и рассечена кожа. Он был в беспомощности и слабо хрипел.

Алехин поговорил с наездником. Он все всхлипывал: все жалел, что не получил ни одного приза. Девушка поглядывала на Алехина большими, словно козьими, глазами.

— Сестра, что ли, твоя? — спросил он, но сверху слышались отчаянные крики. Разгильдяев отыскивал Алехина.

— Павел Николаевич! — ревел он по лесу.— Куда вы запропастились?

Посыпался песок, к реке полетели комья земли, и тучная фигура отставного гусара скатилась с вышины.

— Вот вы где! — закричал он на Алехина.— Что вы тут делаете?

Он увидел лежавшего у воды башкира и начал бранить его неизвестно за что. Кончилось все-таки тем, что он дал молодому джигиту гривенник. Проходя назад к гостям, он заметил притаившуюся за деревом девушку и сейчас же

перевел хитрый взгляд на Алехина; его широкое лицо походило на огромный, смазанный маслом помидор.

— Понимаю, понимаю: старого гусара не провести!

Впрочем, Разгильдяев был так пьян, что тут же полез к девушке целоваться.

— Айда, зингей, урманга!¹ — начал было он, но девушка прыжком серны перескочила через речку, и Алехин, не очень вежливо подталкивая Разгильдяева, повел его обратно на скачки.

8

Собственно, скачек уж не было, но увеселения далеко еще не кончились.

На широкой площадке оживленно беседовала группа женщин и мужчин. Сидели они кругом, образуя кольцо, посредине которого находились фельдшер и несколько башкир — детей и взрослых.

Здесь под деятельным руководством фельдшера происходила «французская» борьба.

Фельдшер распределял борцов по парам и ожесточенно кричал, а Разгильдяев тут же воссел на короб с призами и дудел в рог.

Два подростка сцепились друг с другом и начали подпрыгивать, борясь. Один старался схватить другого, приподнять на воздух. Зрители хохотали, отпускали по их адресу замечания, а фельдшер-руководитель стоял около с лицом убийцы. Сурово он наблюдал за ходом состязания и как только замечал, что борьба выходила из правил, сейчас же подходил к увлекшемуся борцу и отвешивал ему пару ударов по спине.

Наконец, одному из борцов удалось опрокинуть другого и прижать к траве.

— Bravo! Здорово! — в восторге кричали зрители, и Разгильдяев, соскочив с короба, опять победоносно трубил в рог. Когда его музыка окончилась, короб раскрыли и выдали победителю кусок зеленой материи на панталоны. Победитель целовал с восторгом полы затейливого костюма Разгильдяева.

— Молодчинище! — говорил тот, сверкая на солнце галунами своей венгерки. — Ловко скovyрнул кутенка! Но-си, брат, эти штаны. Хвалю... Стойте, Алехин, не уходите! Новый номерок! — Он уже вцепился в плечи Алехина и

¹ Пойдем, девушка, в лесок.

продолжал распоряжаться: — Эй вы, сударь! — кричал он фельдшеру. — Эй, доктор прав! Доктор медицины! Поди-ка сюда. Да и пьян же ты, шельма-лекарь, как я погляжу.

Фельдшер подошел.

— Заставь-ка, братец, с этим ловкачом вон того старого псину побороться... Для оригинальности. Кто кого кувырнет этак, а? «Бене», что ли, по-твоему — по-латински-то?

— Просто «бениссима», — ответил фельдшер.

Среди старых башкир нашлось много охотников получить ситец.

Сгорбленный, тощий старик, с унылым беззубым лицом, схватился с молодым джигитом.

Тот стиснул его мускулистыми руками. Старик забился. Его тонкая и иссохшая коричневая шея стала синеть, на виске, как веревка, вздулась жила. Борьба продолжалась недолго: не прошло и минуты, как старик черкнул по воздуху костлявыми ногами и перекатился через голову присевшего победителя. Послышались стоны.

Зрители загалдели. Разгильдяев затрубил.

Алехина всего передернуло; он пошел прочь.

— Куда вы? — крикнул на него Разгильдяев и, подбежав, схватил его за руку.

— Оставьте меня! — резко сказал Алехин.

Разгильдяев посмотрел ему в глаза и опечалился.

— Вы рассердились? — ласково спросил он. — Вот городской житель! Ну ладно, не дуйтесь. Я велю им перестать, если уж вам так не нравится... Ведь не даром же они, черт возьми!.. Стойте, я покажу вам еще диковинку. Нигде в мире не увидите! Смотрите...

Алехин оглянулся. Кругом расставляли большие котлы, в которых белело что-то похожее на молоко.

9

— Что это? — спросил он у Разгильдяева. — Это для башкир приготовлено?

— Для башкир, — отвечал тот, загадочно усмехаясь.

— Обед, что ли? — любопытствовал Алехин, не понимая загадочного вида Разгильдяева. — Ведь это простокваша или кислое молоко?

— Да, да, — отвечал Разгильдяев и подмигивал гостям, делая им знаки молчания. — Это кислое молоко, и башкиры есть его будут, только не сейчас...

Он опять надул щеки, вытаращил глаза и завел свою музыку.

Поднялись все, даже дамы и ребятишки: должно быть, «номер» был очень интересным.

— Все сюда! — рычал Разгильдяев. — Смотрите, Павел Николаевич, — обратился он к Алехину, — вам, как городскому жителю, это должно быть очень интересно! Только в Башкирии увидите — больше нигде! Начинаю! Смотрите!..

И он бросил в жидкость котла двугривенный.

К котлу подошел башкир, склонился и вдруг опустил голову в чан. Все захохотали.

— Что это? — с испугом проговорил Алехин, обращаясь к Разгильдяеву.

Тот молча улыбнулся и пригрозил ему пальцем.

В это время башкир вынул свою голову из котла, всю вымазанную текущей с нее молочной жидкостью...

— Нашел! — крикнул кто-то. — Вот ловкач!

Алехин взглянул. В зубах башкира виднелся двугривенный.

— Что, каково? — со смехом обратился к Алехину Разгильдяев и потрепал его по плечу. — Какова ловкость у собаки, а? Из кислого молока зубами выудил! А?

— Слушайте! — закричал Алехин и побледнел. — Это же свинство! Это издевательство! Наглость! — Ему вдруг невыносимо захотелось опустить в котел потную голову Разгильдяева. — Да как вы смеее так унижать человека!

Громкий хохот был ему ответом. Он быстро осмотрелся по сторонам. Смех относился совсем не к нему. Его не замечали, его не слышали.

Кто-то из гостей бросил в чугунок с кислым молоком еще двугривенный, — и новый башкир, быстро склоняясь к котлу, опустил в жидкость голову.

С азартом толпились вокруг него наблюдатели; здесь были и женщины, и дети. Все напряженно ждали результата.

Повозившись в котле, башкир высунул голову. В его зубах двугривенного не было.

— Оборвался!.. Здорово! — заорали в толпе.

Башкир опять полез в котел, а Алехин бросился прочь. Его ухода никто не заметил.

Разгильдяевский рог гремел.

1901 г.

ПОСЛЕ ЗИМЫ

Как-то довелось мне приехать в Башкирию ранней весной. От Оренбурга пришлось ехать с препятствиями, какие не забываются. Раза два мы вязли в оврагах в размякшем снегу; раза два тонули в разлившихся ручьях. Довелось через одну речку переправиться «вброд»: парома на ней, за ранним временем, еще не было устроено. Течение реки было необычайно быстрое; тщетно мой кучер, старый башкир Кузюм, говорил мне, что в такое время по Башкирии не только человек, но и «сам шайтан» не ездит, — быть на месте было необходимо, и мы поехали.

Боязливо вступали в холодную воду даже привычные ко всему башкирские лошади. Сначала было хорошо: вода бежала мимо, прозрачная, как стекло; можно было пересчитать на дне реки гальки; затем начала мутнеть; камни постепенно покрылись туманом и, наконец, исчезли; лошади все замедляли шаги, поминутно останавливаясь. Я посмотрел вперед; проехать надо было еще сажен тридцать; оглянулся назад, берег был далеко. Мы зыбко стояли на середине быстрой реки, и вода, шумно ворча, неслась мимо нас, клубясь и извиваясь около лошадиных ног и колес брички.

— Ну, трогай! — крикнул я Кузюму.

Старик обернулся и сердито дернул плечами, — руки его дрожали. Он тронул лошадей вожжами и затем ударил кнутом. Лошади пошли. С усилием сдвинули они с места бричку, на колеса уже наплывала цепкая тина; бричка вздрогнула, заскрипела, закачалась. Скоро оси скрылись в воде, на дне экипажа что-то зашипело, всплыла покрытая

пенной настилка, показались пузыри; грязная вода метнулась и закрутилась в тарантасе. Пришлось поднять ноги на барьер брички; еще резче засвистела вода внутри экипажа; всплыли узелки с хлебом и платьем; я приподнялся выше, и вдруг бричка дернулась и, казалось, отделилась от земли; по ее покачиваниям я понял, что она поплыла. Мы потеряли дно.

— Ты сбился! — сказал я Кузюму. — Сбился, плывем!

В это время бричку качнуло в сторону, и лошади оказались вправо. Вот поплыли и они. Ворчанье реки сделалось нестерпимым.

Бледное суровое лицо Кузюма повернулось ко мне.

— Эх, бояр!.. — Глаза его засверкали гневом.

— Держи влево! — крикнул я кучеру. — Мы перекувыркнемся.

2

Он только пожал плечами: где было тут управлять лошадьми? Единственно, что следовало сделать и что было возможно, это предоставить дело спасения самим лошадям. Некоторое время мы плыли по реке, бричку кидало то вправо, то влево, иногда и лошади и экипаж вытягивались в линию по течению реки, трещали оглобли, храпели лошади; серые волны перекатывались через их спины... Сидя наполовину в воде, я мельком видел, как уплывали из брички вниз по течению мои узелки... Наконец все-таки лошади осилили. Бричку сильно дернуло, и она стала: попала на шлях. Живо побежала из экипажа вода. Берег был близко.

— Ну, бояр, — сказал мне Кузюм, — как хочешь, а больше с тобой я не поеду. У меня дети.

— Я и сам не поеду, — отозвался я.

Мы выбрались на берег. Я обернулся. На вид река была такая маленькая и спокойная! Казалось даже, что и течение ее не было особенно быстрым.

Дальше ехать пришлось по целому морю галек. Езда по ним крайне неприятна. Под колесами они издают такой режущий уши скрип, свист и шипение, что вам кажется, будто у вас над головой провозят рельсы... Сначала еще можно было терпеть; вначале у берега идут мелкие гальки, вроде песку; но чем дальше мы двигались, камни крупнели, скрипели и раскатывались под копытами лошадей, застре-

вая в колесах; наконец дело дошло до самых крупных галек, величиною с булыжник. Лошади явно выбивались из сил. От несмолжаемого визга я зажимал уши; скоро я уже не был в состоянии сидеть. Я вылез из экипажа и, отстав от лошадей, чтобы не слышать отвратительной музыки, пугаясь и ежеминутно скользя, пошел пешком. Разъезжались в разные стороны ноги, я спотыкался и падал; пришлось снова сесть в экипаж... Но вот камни стали мельчать и мельчать, стали совсем крохотными, а вот и песок, и среди желтого моря зеленеют кусты. Наконец-то миновала тяжелая часть пути! Мы даем отдых лошадям и себе.

3

Но это было еще не все. Еще проезжая по галькам, я замечал чахлые кустики талов, растущих среди камней. Но чем дальше — талы начинали попадаться все чаще и чаще. Стали показываться купы этих талов, затем потянулись кусты вязника, шиповника, осинки... Вот и лес, и с ним снова мученье.

Если приподняться в экипаже и взглянуть перед собою по дороге вперед, можно прийти в ужас: вся дорога сплошь состоит из ям, рытвин, косогоров, луж и куч хвороста. Буквально нельзя проехать пяти-шести саженьей, чтобы бричку не подбросило кверху, не стукнуло бы на дне крутой ямы, не накренило бы на косогоре так, что приходилось балансировать в экипаже, а встречные ветви то и дело хлещут по лицу и плечам; беспомощно скорчившись в экипаже, нагнув на голову шапку, пригнувшись к коленям, я сидел под непрерывным хлестом ветвей, охватив руками голову и не делая попытки спастись, — только и ждал конца экзекуции.

Но вот лес позади. Открываются картины горной природы. Забываются перенесенные муки; смотришь вокруг жадным взглядом... Улыбается даже Кузюм, молчаливый мой кучер.

— Все наша была! — мечтательно говорит он, указывая кругом на землю. — Как жили! Ай-хай-хай!..

Забавно грустно прищелкивает он языком; угрюмая молчаливость его сразу прерывается.

— Какие стада водили! Как кочевали! — взволнованно говорит его голос, и бурые сморщенные щеки его нервно дергаются.

Я уже знаю, что потянутся пестрою лентой рассказы о былом. Так и есть.

— Бывало, придешь на кочевку, — говорит Кузюм, — старики сидят в суконных чекменях¹, на груди — серебро, на полах — золото! Одни ичиги² на ногах стоят столько, сколько теперь вся наша изба. У простых башкир — и то сарыки надеты. А у женщин на головах — кажбовы!³ — все из кораллов с серебром и бисером! У дочери муллы — калябаш!⁴ — пятьсот рублей калябаш! Как пели, как плясали, бывало! А кончат плясать — борьба начнется: храбрые борются, слабые смотрят... Весело было! Потом начнут обедать... чего только нет? Катык⁵, баламык⁶, чурпаря⁷, курмач⁸... Ай-ай-ай! Теперь в год столько не съедаем, как тогда в один день!

Я слушал рассеянно: беспокоила и дальнейшая дорога: предстояла еще одна переправа через реку; хотя мне и писали, что там ходит паром, все же, после только что пережитого, брало беспокойство... К счастью, паром оказался на деле.

4

Молодой одноглазый башкир подбежал ко мне и стал кланяться, улыбаясь; он меня признал. Общими усилиями свели мы с кручи лошадей и поставили их на середине паррома. После этого Тазей (так звали паромщика) закрыл шестами плот с двух сторон и взялся за канат. Паром двинулся.

Лошади стояли спокойно и сторожко посматривали вперед. Река была широкая, но не столь быстрая, как та, через которую мы недавно переправлялись. Паром подвигался медленно. На козлах дремал Кузюм.

Я неподвижно сидел в бричке и смотрел на блестящую на солнце воду. Резало глаза; лицо обдувало ветром. Было

¹ Длинный кафтан вроде халата, но сшитый более изящно.

² Мягкие цветные сапоги из лошадиной или козьей кожи.

³ Повязка вроде чепца. Носили только замужние.

⁴ Очень нарядная шапочка с рядами нитей, унизанных серебряными монетами.

⁵ Заквашенное молоко.

⁶ Вареное мясо с мукой и крутом.

⁷ Вареные пирожки с бараниной.

⁸ Вареный в масле ячмень с конопляным семенем.

скучно... Тазей, щурясь, смотрел куда-то вперед своим единственным глазом и двигал руками по канату. До уха моего долетели заунывные звуки. Это пел Тазей.

«Маклашка, маклашка, куда плывешь?
— На родина. Скажи, моя батюшка-матушка?
— Твоя сынка больно плоха стала.
— Стада-а свои
Совсем кончал!
Железным лопаткам
Земля копал...»

Я слушал эту песню раз и другой. Затем — четвертый, пятый... Кончалась песня, — Тазей опять ее начинал:

«Маклашка, маклашка...»

Тоска, наконец, взяла меня от этой песни: нестерпимым унынием веяло от ее тягучего напева. Так и чувствовалось неизмеримо тяжелое и тоскующее большой скорбью в исковерканных русских фразах. В маленьких, чужих словах плавала великая грусть кочевника, потерявшего стада — бывшие богатства — и принужденного «копать землю» чужой сохой...

— Тазей! — крикнул я, когда башкир запел свою песню в десятый раз. — Что такое поешь ты?

— Скучно, бояр, — коротко и серьезно ответил паромщик и сильнее задергал руками канат. Острые лопатки его выступали на рубахе, пропитанной потом. Паром закачался.

5

Опять начал я смотреть на воду. Солнце слепило глаза. Тазей, видимо, забылся: начал вновь свою однотонную песню. Однако он тут же оборвал ее и смущенно покосился на меня.

— Тазей, а где твоя родина? — спросил я.

Башкир не двинулся.

— Далеко, бояр. Уфимская губерния. Под самой Уфа.

— И что же, у тебя живы родители?

Голос Тазея дрогнул.

— Живы.

— И отец и мать?

— Да, и отец и мать, — ответил паромщик, и в голосе его зазвенели печаль и удивление.

«Скажи, моя батюшка-матушка», — начал он и опять робко смолк.

Мне делалось все тоскливее.

— Почему же ты уехал с родины? Зачем бросил отца и мать?

Тазей внимательно, с печальной улыбкой посмотрел на меня.

— Больно тяжело там, бояр. Больно тяжело.

— А здесь разве легче?

— И здесь тяжело! — В ответе послышалось изумление, точно он лишь впервые сейчас открыл, что и здесь одинаково трудно.

— А ты бы съездил, Тазей, на родину...

Тазей вздохнул.

— Денег надо!.. Много денег! Без них отец не велел приходить.

— А сколько?

— Полсотни серебра надо! — В этом выкрике звонко вскинулось отчаяние. Стало неоспоримо ясно, что полсотни рублей не собрать Тазею за всю его жизнь.

Бедный Тазей! Я не мог ему дать столько денег.

«Как жили!» — припомнились мне слова Кузюма. — «Пятьсот рублей калябаш!» Куда все это делось?..

При прощании я дал Тазею рубль. Башкир, широко раскрыв глаза, мотнул головой, замахал руками. В слепом его глазу стояли слезы.

— Ай, бояр!.. Ай, бояр! — растерянно бормотал он и вдруг бросился в ноги.

— Прощай пока, Тазей! — крикнул я ему, отъезжая. — Может, увидимся.

Тазей все смотрел мне вслед и все кланялся, вертя в черных руках поблескивавший на лучах солнца рубль.

6

По дороге мне попало пар восемьдесят упряжных быков, шедших с возами на базар.

— Все ему перевозить — Тазейке, — сказал мне Кузюм, — паром один.

— Неужели он всех перевезет сегодня?

— Нет, всех куда. Половину перевезет, — остальные переночуют. Завтра остальных доконает.

— А как они ему платят?

Кузюм удивился:

— Ему — ничего: от хозяина он. Ну, даст кто-нибудь две копейки — кто богаче, — и то хорошо, а все хозяин получает.

Тут только я вспомнил, что по выезде около меня вопросительно остановился какой-то коренастый краснолицый мужчина в кожаном пиджаке. В задумчивости я ему ничего не заплатил.

— Это и есть хозяин? — спросил я кучера.

— Какое! Приказчик. — Кузюм усмехнулся. — Сам хозяин — купец. Сальников фамилия. Разве он пойдет сюда? У него тысяч двадцать десятин одной земли. За пятьсот рублей у нас купил. Вот.

— И давно это было?

— Давно. — Кузюм презрительно плюнул на круп лошади. — Еще до французов купил... Вот шалая лошадь!.. Деды его ¹.

7

Мы выбрались из леса на равнину. Тут же за пригорком показалась, словно вырнувшая из кустарников, башкирская деревня Коларово — цель моей поездки.

— Что это? — ужаснулся я, когда мы подъехали к деревне.

Точно мор посетил это селение, — его нельзя было узнать. И так до последней степени бедно всегда в ней жили башкиры, — теперь же, смотря вокруг себя, я не знал, каким словом назвать мне ту подавляющую нищету и тот ужас, каким веяло от изб и людей. Почти все избы были без крыш, — с этим еще можно было мириться, — солома ушла на корм скоту — дело обычное; но в некоторых дворах за покосившимися плетнями, я заметил, стояли лошади. Я никогда не видывал таких лошадей! С облезлой шерстью, с облезлыми хвостами, неподвижно смотрели они мутными глазами куда-то перед собой и не двигались и не ели, а только морщили ссохшуюся кожу на щеках и на провалившихся бедрах. Можно было сосчитать все ребра! Над глазами зияли глубокие, круглые впадины; кожа точно хрустела на черепе, когда мигали глаза. Я не знал, как назвать их; это были лошади-мертвецы!

¹ Подобный случай установлен: в конце XVIII века Белорецкий завод купил в Башкирии 300 тысяч десятин на 300 рублей.

— Кузюм, да что это? — с ужасом спросил я своего кучера.

— С зимовки! — хладнокровно ответил старик.

Я не понимал. Я не часто тогда бывал в Башкирии по веснам.

— Что такое? С какой зимовки?

— После зимы. — Кузюм жестко усмехнулся. — Зимую скоту ашать нечего. Да это что — лошади; посмотри ты людей!

И, как бы по слову черного волшебника, из шалашей полезли люди. Я не мог надивиться: равнодушные, костлявые, с пергаментной кожей и мутным взглядом провалившихся в ямы глаз, словно только что пробудившиеся от долголетнего сна, они тихо слонялись из стороны в сторону, греясь на солнце, качаясь, как резиновые, и, казалось, не было слышно ни их голоса, ни шагов. Они скользили, как тени. Это были не люди, — это были тени живых существ. Когда они засмеялись каким-то тихим, воркующим смехом, я вздрогнул: смеются мертвые!.. И самое ужасное было то, что все они были спокойны и не видели в своем положении ничего необычного: точно так и должна была идти им отведенная жизнь — зимой умирать, с весенним солнцем подниматься, и так до новой зимы.

«Как жили!» — снова вспомнились мне слова Кузюма. Почему умирает этот народ, у которого было столько земли?

Тут же, по дороге, наехали мы на труп павшей от голода лошади. Ребра выступали на облезшем боку, как железные. Невыносимо-тошнотно несло трупным запахом. Желтые зубы были оскалены, точно мертвец чему-то грозил или смеялся. Страшно блестел на солнце, как оловянный, открытый, наполовину склеванный птицами глаз. Неподвижно-жутко смотрел он вверх и точно спрашивал:

— «Почему?.. Почему?..»

АХМЕТ УСМАНЫЧ

1

Сажу на крыльце своего деревенского дома. Напротив меня, упершись руками в бока, торжественно восседает Ахмет Усманыч. Лицо у Ахмета Усманыча седенькое, морщинистое, глаза серые, хитро прищуренные, усы седые, жесткие, коротко подстриженные и торчат щетиной, около губ — плутоватая складка. Когда Ахмет Усманыч смеется, лицо у него делается похожим на лисье... Но человек он прямой и добрый. Ахмет Усманыч не простой башкир: он — «аписер», «офицер» блаженной памяти башкирского эскадрона. Чин его — зауряд-хорунжий.

Своим званием Ахмет Усманыч настолько гордится, что из дома на улицу показывается не иначе, как в полной военной форме. Мне неизвестно в точности, сколько десятков лет тому назад прекратилось существование башкирского полка; также неизвестно, сколько десятков лет и мундиру Ахмета Усманыча. Стародавний мундир зауряд-хорунжего — музейная редкость.

Мундир Ахмета Усманыча похож не то на халат, не то на подрясник духовного лица. Давность его позволяет думать, что ныне мраморный халат был красного цвета; отвороты халата синие; на плечах и у ворота — остатки галунов. На голове у Ахмета Усманыча громадная папаха с красным верхом и тоже как будто галуны; под первым халатом еще один — нижний, синего цвета; на груди что-то вроде серебряного шнура кренделем.

Я люблю слушать, когда Ахмет Усманыч рассказывает о башкирском эскадроне. Он много говорит о своем офицерском звании и замалчивает только одно: что звание это

он получил потому, что прислуживал у одного помещика в качестве камердинера; помещика этого назначили командиром, а тот из расположения возвеличил и своего верного слугу. В те времена сделать это было нетрудно.

Конечно, меня мало интересуют эти подробности; гораздо интереснее то, как объясняет свое офицерство Ахмет Усманыч.

— Моя боевой аписер, — говорил он на своеобразном русском языке. — Многим боям была, — вот какой аписер!

Я не расспрашиваю Ахмета Усманыча, в каких боях он был. Мне известно, что дальше своей деревни Даушевой он никогда не выезжал.

— Под чьим же начальством вы служили? — спрашиваю я Ахмета Усманыча.

Лицо зауряд-хорунжего становится важным.

— Беклемишев наша командовал! Полковник была, славный человек!

— А кто устроил этот полк?

Несмотря на то, что спрашиваю об этом я Ахмета Усманыча каждую пятницу (он приезжает ко мне в гости по пятницам — в свои праздничные дни), лицо зауряд-хорунжего выражает изумление.

— Не знаешь? Перовский устроил, генерал-губернатор! — с азартом объясняет он. — Все башкирское войско он устроил. Царем тут жила. Перовский марш играем — вот что!

— Где же вы стояли, Ахмет Усманыч?

Ахмет Усманыч начинает долго и пространно рассказывать, как башкирский эскадрон кочевал по рекам Ику и Белгушу. Там же были устроены бараки, где помещались солдаты эскадрона. Мало разнообразная в обычные дни, посвященная заурядной муштровке жизнь этого оригинального войска вся преобразалась, когда на кочевки приезжал «сам Перовский». В это время эскадрон представлял необыкновенное зрелище: в лагерь привозились бочки с водкой, резались жирные бараны, лошади... начинались маневры, скачки, песни, борьба.

— Башкам кончал, — вот как угощал! — с удовольствием вспоминает Ахмет Усманыч.

2

О Перовском он знает множество анекдотов: как Перовский гулял с башкирскими офицерами, как он пировал

с местными помещиками, как брался с солдатами эскадрона. Ахмет Усманыч картинно рассказывает, как графа Перовского избили сторожевые башкиры, которым он дал приказ не пропускать никого в цепь войска, а сам после этого вздумал инкогнито пробраться туда для проверки.

— Попала Перовский к нам, — говорил Ахмет Усманыч, — мы и давай его тумакам. Перовский кричит: «Пустите, собаки: я граф Перовский!», а мы ему: «Наша Перовский велел всех тумакам». Больно потом благодарил! — заключал Ахмет Усманыч свои анекдоты.

— А много ли жалованья получали?

Лицо Ахмета Усманыча развело от волнения.

— Ай много! ай много! — зауряд-хорунжий прищелкивал языком. — Большой жалованью получал! Семнадцать рублей. Зауряд-аписер была. Семнадцать рублей. Хорошо жил.

Теперьшнее житье Ахмета Усманыча было очень неприглядно. Жил он с женой Зулехой в маленькой, квадратной, похожей на чулан избушке на одно окно и целыми днями дремал, вспоминая свое прошлое и предоставив работу к дому и свой прокорм старухе-жене. Чем жила Зулеха, было неизвестно, сам же Ахмет Усманыч питался по большей части визитами к помещикам. Таким образом, его профессией были рассказы о былом.

Немало рассказывал мне Ахмет Усманыч и об учебном времени в башкирском полку. Учение там производилось ежедневно и дважды в день: утром — «пешее», после обеда «конное». Солдаты по большей части не знали русского языка, и строевое обучение их было поставлено как нигде в мире. Задача обрусения, видимо, проводилась настойчиво, и вместо командования на родном языке русские капралы и хорунжие командовали башкирскому войску на строевых занятиях оригинально-ломаными русскими фразами.

— Шарип, вперед! Два хороших людя, вперед! Юсупка, правым ногам не пускай! Смотри право, левую не пускай! Пикам не махай (закидывай), шашкам вынимай! Жи-ва-а!

Как рассказывал тот же Ахмет Усманыч, эта своеобразная затея создавать из башкир конные эскадроны просуществовала недолго.

При генерал-губернаторе Обручеве башкирских полков в Оренбургском крае уж не было. Не было их и при Катенине, и при Безаке. Только в генерал-губернаторство Кры-

жановского попробовали восстановить башкирское войско с уходом же его эти полки отошли в область предания.

3

Как-то осенью, еще в том же году, довелось мне проездом еще раз увидеть Ахмета Усманыча. Подвыпивший, оборванный, но в той же громадной папахе, он шел под проливным дождем по улице за станovým приставом и дудел ему в спину заплетающимся языком:

— Ты что так хвалишься! Я — тоже аписер... башкирского эскадрона! Ты — аписер, и я аписер, и мы оба — хорошие люди!

Через два года снова приехал я в Башкирию. Конечно, мне захотелось повидать своего друга, зауряд-хорунжего, но в Даушеве уже не было и следов об Ахмете Усманыче и его жене. На том месте, где стояла их избенка, виднелась только груда горелых бревен да унылые приبلудные козы щипали лебеду на печальном пепелище. Я стал расспрашивать о зауряд-хорунжем соседей. Одни говорили, что Ахмет Усманыч умер, другие — что перебрался в город со старухой-женой и служит на дровяном складе сторожем.

На обратном пути из Башкирии я разыскивал Ахмета Усманыча и в городе, но безуспешно. Так и не довелось мне узнать, жив ли отставной «боевой аписер».

И все же я часто вспоминаю неутомимого рассказчика. Я представляю себе, как, подбоченясь, Ахмет Усманыч сидит у меня на крыльце в своем диковинном мраморном халате и командует своему забытому башкирскому войску:

— Башкирский эскадрон, шашкам выдержай!

— Сейчас тащим, ваше благородие!

1902 г.

К ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ

1

Спокойное и ясное стояло утро, когда я выезжал из села, но мой кучер Семен настойчиво сулил ненастье.

Упрямый старик еще с вечера отсоветовал мне поездку в горы и приводил свои неопровержимые аргументы, вроде того, что Саврасый ночью храпел, а у Белянки глаза были мутные.

Сопровождаемые неистовым лаем деревенских собак, мы выехали за околицу, в поле. В вышине раскидывалась песня жаворонка; воздух реял прозрачный и нежный; над украшенными росой полями спокойно стлалось весеннее небо — яркое, бездонное и прозрачное; в бледно-молочном тумане тонули горы; лес, густой и темно-зеленый, надвигался со стороны реки.

— Ну, вот ты говорил, непогода начнется, — сказал я кучеру, все сидевшему в угрюмом оцепенении и даже не говорившему с лошадьми, — верный признак его немилостивого состояния. — А посмотри, как ясно в небе: ни тучки, ни облачка.

Семен молчал, не поворачиваясь ко мне; ситцевая, непонятного цвета рубаша его с широкими, как окорока, рукавами надувалась от ветра подобно парусу и делала и без того коренастую фигуру старика еще величественней.

— Да уж там что ни сказывай, — вдруг заговорил он оборачиваясь, — буря-то будет. Будет, говорю, — как есть. Так и жди. Быть бычку на веревочке.

Продолжая предсказывать, он повернулся всем корпусом к небольшому болотцу, мимо которого мы проезжали,

и, протянув по направлению к нему черную волосатую руку со скрюченными пальцами, заметил сумрачно:

— А вон и кулик свистит. Это — тоже к дождю. Не выезжал бы, — не слушаешь старых людей.

Откинувшись в глубину брички, я блуждал глазами по степи. Совсем гладкая равнина красива даже в своем зеленом однообразии; но стоит только на горизонте появиться какой-нибудь живой фигуре — и красота ее еще более увеличивается; яркая точка — красная, коричневая, желтая, — разрастаясь и принимая те или другие очертания, двойится и тройится в своей окраске; вы видите серый бешмет башкира, его красные кумачовые штаны, костлявую белую лошадь, телегу... Из-за спины башкира выглядывает яркое платье женщины, поблескивают на ее груди медяшки...

Пожилой суровый башкир и молодая жена, прикрывающая лицо краями зеленого халата... Глаза башкирки смеются, — разве это не живая картина в живой бархатной раме изумрудно-вешней травы? Вот пашет землю русский крестьянин; спокойно и легко тащит соху его сытно накормленная лошадь; тут же болтается и беловолосый мальчишка, бегающий с хворостиной по взбудораженной черной полосе... А вот в далекой ложине притаилось стадо; дружно сжавшиеся в кучи овцы похожи на груды нестаявшего снега, а бурые коровы на лучах солнца кажутся яркими буграми золотого песка...

Прядая ушами, под мягкий рассыпной звон бубенчиков не бегут, а словно танцуют на месте лошади; это старая, дружная пара — Беянка и Саврасый, — как сжились они с этой бричкой, с этим неугомонным ворчуном Семеном!.. А вот на горизонте всплывает еще темная точка; она приближается, вы видите едущего желтого и сухого, как кирпич, башкирского старика. В облезлом меховом малахее, надвинутом на погасшие глаза, с редкой бородой, через которую просвечивает тощая шея, он кажется каменным. У старика глаз не видно: и так они малы, а он еще щурит их от ярких лучей; костлявые руки, горб; как веревки, жилы на шее, изрытое оспой лицо...

Как обглодан он болезнью, голодом, трудной жизнью и непрестанной работой, этот суровый молчаливый человек!

— Гляди-ка! — услышал я над собой сердитый голос

и, слегка вздрогнув, увидел нахмуренные, черные, как сажа, брови Семена. — Ведь говорил тебе, — нет!

Я поднял голову и взглянул туда, куда так озабоченно тыкал кнутом старый кучер: в небо.

— Она вот и есть, невзгода-то. (Семен вместо слова «непогода» говорит «невзгода».) И молонья будет. Вот!

2

Я с удивлением глядел на небо, еще столь недавно бывшее таким уверенно-ясным и голубым. Ни одной тучки еще не было на нем, но весь купол его вдруг равномерно-скучно окрасился охрой. Казалось, что в бирюзовое море налили желтых чернил, и море, потускнев, вдруг потеряло краски.

— Вон и трава задушила, запахла трава, — продолжал кучер с торжеством. — Да сейчас и туча поднимется.

И, точно подслушав нас, внезапно над горой всплыла неширокая лиловая лента; мы въехали в овражек — и лента спряталась, зато, когда поднялись на горку, она снова показалась, потемневшая и вдвое более широкая. Края ее уже потеряли правильность линий и, расплывшись по небу, изогнулись круто, как бахрома тяжелой грозовой тучи. Была она огромна и цепко охватила всю глубину горизонта... Смотреть было неприятно: такой резкий контраст давала она яркой, еще не захваченной тучей половине неба и блиставшему полю...

«Уж не ехать ли назад?» — мелькнуло в голове: мне вовсе не улыбалась перспектива промокнуть на ливне; но Семен, как бы предугадав мои мысли, завозился на козлах, задергал вожжами и погнал лошадей.

— Теперь уж не убежишь, — ворчал он сквозь зубы и, словно торжествуя, гнал лошадей. — Я говорил: быть бычку на веревочке. Д-да!

А туча росла, заволакивая собою помертвевшее небо; и по мере того, как надвигалась она, воздух становился удушливее, гуще и терял свою легкую прозрачность. Когда же свинцовое покрывало заволокло стоявшее посреди неба солнце, — и без того чуть заметный ветерок стих совсем. Чудилось, что в природе мгновенно вымерло нечто огромное, светлое, одухотворяющее; а вместе с этим замер и пульс окружающей жизни; потускнели деревья, и не только в листве, но и в окраске коры, и особенно заметно это было

на нежной бересте, потерявшей сходство с серебром... Трава местами казалась темно-синей, местами — черной.

Становилось знойней; дышать делалось все тяжелее; смутное, тоскливое чувство заползало в душу. Все время надувавшаяся рубаша Семена повисла, обмякнув, и сразу как-то съежилась, уменьшился в размерах и коренастый Семен; резко выдавались бугорки позвонков на прилегшей к его спине рубашке, и было что-то жалкое во всей фигуре старика.

Бледно-желтое пятно с неровными зеленоватыми краями появилось на туче на том месте, где ею было спрятано солнце; казалось, что диск солнца смотрел, как заключенный, через грязное маленькое окно тюрьмы.

Ласточки низко летали над травой, предостерегающе каркали вороны и стонали кулики. Со странным чувством недоброжелательности смотрел я на ни в чем не повинных и тоже обеспокоенных птиц; ящерицы проворно извивались в траве, спеша по домам; беспокойно проносились к норам суслики; лошади бежали тише, точно утомленные; пристыжная жалась к кореннику, у обеих были опущены уши...

3

Мы въезжали в высокий осокоревый лес. В нем сделалось еще темнее, и глаз невольно с острой тоскою оглядывал оставшийся позади клочок чистого неба; уголок был такой ясный, было так хорошо за спиною! Казалось, все говорило «назад», — мы же продолжали ехать туда, где сливалось с горизонтом сине-красное багровое небо.

Что-то резко затрещало над головой, точно по высокой каменной горе покатались вниз тяжелые плиты. Не сразу я понял, что это прогремел гром, — первой молнии заметить не удалось; но вот сверкнула вторая: длинный огненный язык, рассеченный, казалось, на части в беспорядке расставленными деревьями, сверкнул перед глазами; особенно яркий на темном фоне исполинской тучи, он внушил мысль, что в лесу опасно.

— Нехорошо в грозу быть под деревьями! — сказал я Семену.

Далеко вверху запел кто-то сильный и неприятный. Сначала появилось именно такое впечатление, как будто пели; но сейчас же закачались ветви деревьев, захлестались

кустарники, и стало понятно, что налетел предвестник дождя — вихрь.

— Сейчас полет, — проговорил Семен, останавливая лошадей и слезая с экипажа. — А ты оденься.

Снова ударил гром, снова перед его грохотом сверкнула молния. Блеснула она, чудилось, прямо перед глазами и так ослепительно, что лошади шарахнулись в сторону и потащили по траве экипаж.

Надевавший в то время чапан старик побежал за бричкой, неистово ругаясь и не попадая в рукава.

Вожжи запутались в спицах колес, закрутились в них, натянулись и лопнули; Семен всплеснул руками, сделал злые глаза и крикнул:

— Ироды! Порвали!.. Четыре рубля вожжи-то!

— Скорее, старик, — торопил я, надевши чапан. — Смотри, сейчас пойдет дождь.

— Да чего «скорее»? — ворчал кучер, высвобождая из колес перепачканные мазью обрывки вожжей и завязывая их узлами. — Нешто лошадь понимает: четыре рубля!

Между тем ветер уже овладел всем лесом. Деревья скрипели и стонали, а молнии при сгущавшихся сумерках становились все ярче и слепили глаза.

— Далеко ли тут до деревни? — беспокоило спрашивал я.

— Да кто знает, сколько верстов-то, — хмуро бурчал в ответ кучер, садясь на козлы. — Должно, все же близко. Тут хибарки в лесу бывают, да ведь в них не живут.

Семен начал было что-то объяснять, но не договорил и усиленно закрестился: как раз над нами сверкнула удивительной формы молния, в виде креста.

— Опасная! — побледнев, крикнул Семен. — Намедни вот так же в лесу башкирку убило. Бежала она с косой. Коса блестит, — известное дело — молонью манит. А она, несуразная баба, и не сообрази...

Семен опять не договорил: над нами громыхнуло сухо и коротко, но с такой силой, как будто треснула гора. Молния — и сейчас же гром: гроза была уж над нашими головами.

Скоро пошел и дождь. Мы не успели проехать и десятка саженьей, как с потемневшего неба стали падать капли величиной с горошину; однако вскоре они уменьшились, но зачастили — дождь лил уже струями. Через минуту я про-

мок весь; холодные ручейки заливали лицо, руки и текли за шею...

— Теперь будешь слушать старых людей? — укоризненно говорил мне Семен кривыми губами; залитый дождем, с обвисшей бородой, он походил на промокшего старого козла.

Кутаясь в отяжелевшие чапаны, мы все осматривались по сторонам, ища, где укрыться. Но жилья не было, а ветер крепчал; лошади ступали робко, так как дорога сделалась скользкой и ямы наполнились водой; обожженный молнией осокорь попался на дороге, черный, мертвый.

Но вот лошади выбрались из леса, и перед нами показалась заброшенная лесная изба; не мешкая, мы забрались в нее, привязав к старому пню лошадей.

4

По всей вероятности, в этой избе некогда жил лесник. Но уже давно она была покинута хозяином. Вся хибарка носила вид крайнего запустения; маленькая, косая, с кривыми, кое-как законопаченными стенами, с запыленным крохотным оконцем, с заросшим травой полом, она походила на жилище сказочной ведьмы. Ни стола, ни скамей не было; единственным убранством ее была засыпанная седой пылью полуразвалившаяся печь; ветхая, осыпавшаяся, она еще более увеличивала общую неприглядность покинутого жилища. Дверь хижинки давно не запиралась, и ветер свободно разгуливал по ней.

Усевшись на подоконник, я развернул мешок с провизией и уж приготовился было позвать Семена закусить, как внезапно услышал странное шипение, раздававшееся в глубине печи. Я подошел к ней, осмотрел лежанку. Никого не было, но шум продолжался; послышалось хриплое ворчанье, и вслед за тем из жерла печки показались ноги, обутые в козловые ичиги.

Немало изумленный, я смотрел, как ноги все выдвигались из печи и как, наконец, появилась и вся человеческая фигура: башкир в сером истрепанном бешмете, подпоясанном зеленым платком.

С большим удивлением смотрели мы друг на друга; башкир раскрыл рот и, потеряв себе лицо ладонями, проговорил не без страха:

— Пришел русский человек.

Я поспешил успокоить башкира и спросил его, зачем он забрался в печь.

— А гроза! — воскликнул старик, и лоб его собрался в морщины. — Грозы боюсь. Убил бог мою дочь. Гульсым умерла.

Я невольно вздрогнул. Какие тяжелые бывают в жизни случайности! Не эту ли башкирку убило грозой?

— Она бежала с косой? — спросил я.

Лицо башкира стало бледнеть.

— А ты как знаешь? — его голос перешел в шепот, пугливо он отошел к двери. — Разве ты колдун?

— Никогда им не был...

Я все всматривался в лицо башкира. Лицо у него было необыкновенное: тонкое, правильное, сухое, удивительной красоты, оно напоминало лицо кавказского горца.

— Да ты башкир ли? — спросил я у него.

Старик осмотрел меня с ног до головы (видимо, он все еще опасался меня) и ответил неторопливо:

— Башкир, — так родился. Сурей, красивый Сурей, — вот как меня все зовут.

— Знаешь что, Сурей, — давай-ка, пока непогода, вместе с тобою закусим.

Вид закусок рассеивал недоверие; Сурей одобрительно кивнул головой, и мы тотчас же присели на полу у окна. Он ел сурово и строго, точно священнодействовал.

5

— Где же ты живешь, Сурей? — спросил я его за завтраком.

— Теперь живу везде. — Голос башкира стал приглушенным, брови сдвинулись. — Был дом, была жена, была дочь. Умерла дочь, умерла жена. Умер дом. Вот и хожу.

— Давно ли... и жена? — спросил я осторожно. Ясно ощущалось великое горе, висевшее над человеком, и чувствовалось, как должны были его беречь лишние слова.

— Умерла! — повторил Сурей негромко и опустил голову. — Увидела свою дочь и умерла. И я ушел. Бросил дом. Один остался красивый Сурей.

— А где же ты жил раньше?

— Жил хорошо! — Видимо, старик отвечал только своим затаенным мыслям. — Была у меня жена Бабай, была

дочь Гульсым. Всякий говорил: какой счастливец этот Сурей, у него всегда самые красивые женщины. Когда я был молодой, меня любили семь девушек, но я любил только Бабай. И потом любил дочь Гульсым... и теперь ухажу.

Слова оборвались, точно звякнула медь, и поверх наивных фраз всплыло тяжкое человеческое горе.

— Куда же ты пойдешь теперь, Сурей?

— Пойду на Уфу... Челябинск пойду, Сибирь. Много стало мне места. — Башкир усмехнулся тихо и скорбно. — Где-нибудь найду его... и умру. Отступился бог от своего народа и бьет его с двух сторон. Нет бога, нет бога, нет бога, — есть только зло!

Мы помолчали.

— Отцы сказывали: в Уфимской еще остались у башкир земли, — заговорил он после паузы. — Туда и пойду: пусть свои схоронят. Видеть больше не хочу зла. Всякий здесь ходит, чтобы сделать удар. А там, старики сказывали... — Прекрасные глаза Сурея вдруг вспыхнули, как звезды. — Там, сказывали они, еще нет чужих, еще приволье!

Я смотрел на старика в волнении: какая яркая, неотменяемая, неистребимая мысль!

— Не входил в те земли чужой человек, — продолжал Сурей нараспев и раскачивался, сидя, из стороны в сторону, — и кочуют там дети степей со своими стадами. Не умирают с голода: там много овец, там стада кобылиц. Пусть примут меня, у которого небо взяло Бабай, взяло Гульсым. Пусть примут. Говорили отцы: грамота есть, чтоб владеть той землей башкирам всегда. Святой Султан дал эту бумагу, приложил кровью тамгу¹. И смертью умрет тот, кто ломает печать святого Султана! И чужие боятся входить, и велики там степи, и выше человека травы, и чисты, как небо, озера, и полны луга всякой птицы, леса — пушистых зверей... И ходят по кочевьям слепые певцы, и сладко их слушать народу, когда поют они про дела степных батыров... Великое счастье попасть в страну святого Султана! Там я опять возьму себе жену, возьму несколько жен!.. И будут у меня дети, будут все мальчишки, которых уж не убьет злая гроза, потому что нет зла в земле святого Султана!..

Сурей говорил, и голос его звенел и вздрагивал от пред-

¹ Печать.

вкушения грядущего счастья: лицо его порозовело, на губы всплыла блаженная улыбка... Я не прерывал. Сурей не знал, что и там беспросветно. За выдуманную им землю он держался последними силами сломанной души, и было бы жестоко отнять у него его мечту, рожденную горем.

Через полчаса мы простились. Я отъезжал, а Сурей, выпрямившись во весь рост, вытянув шею, смотрел в заалевшую даль, откуда из-за разрозненных клочков сизых туч косыми лучами брызгало солнце... И красивое лицо старика сияло восторгом безумия.

1902 г.

НОЧЬ НА ПАСЕКЕ

1

Желто-красное, важное, изрытое морщинами лицо, с лоснящимся не то выбритым, не то лысым черепом, маленькие, узкие и раскосые глаза с нависшими космами белых бровей, редкая, скупая, медлительная улыбка, обнаруживающая странно, в беспорядке расставленные, неровные зубы и полное отсутствие растительности на губах и подбородке — вот каким припоминается мне теперь старый пчеловод Хаким.

Познакомился я с ним совершенно случайно и во все время знакомства не подозревал, что в тех местах он пользуется таким уважением и популярностью.

Помнится, забрел я раз летом в огромный липовый лес, необыкновенно красивый в тех цветущих уголках, и разлегся в его тенистой прохладе, пропитанной ароматом молодого, ласкового и нежного цвета. Неуклюжие «коромысла» реяли надо мною своими прозрачными крыльями, с угрюмым гулом носились пузатые шмели, изредка пролетали огромные ядовитые «шерстни», а на цветущих палевых лепестках лип громоздились и работали неутомимые пчелы.

Очевидно, я попал на пасеку; краше место для нее и подыскать было трудно. И в самом деле, я скоро набрел на расставленные под деревьями и подвешенные на старых липах ульи. Висевшие на деревьях ульи обращали на себя внимание по особым приспособлениям, которыми башкиры ограждали целостность их от покушений лакомок-медведей: трава под ними была часто утыкана заостренными кольями, а близ каждого улья, на одном из крепких сучьев,

немного ниже улья, было привязано по тяжелой вязовой «чебурашке», подвешенной на веревке. Знакомый башкир рассказывал мне, что ему доводилось неоднократно видеть, как вороватый медведь дрался с этой «чебурашкой», влезши на дерево, как, постепенно свирепея, отталкивал ее лапами, пока, оглушенный ударом, не сваливался вниз, на колья.

Не менее интересны были и расставленные в кустах ульи: почти на всех было привязано по лошадиному черепу; у некоторых ульев эти черепа были подвешены и на кольях.

Разглядывая ульи, я ходил от одного пенька к другому и неожиданно натолкнулся на сидевшего перед ульем на корточках старого башкира.

Башкир заметил меня и повернул ко мне свое ничем не закрытое от пчел лицо.

— Умарта смотришь, — пчел? — обратился он ко мне медлительно-важно, как степной патриарх.

— Да, — отвечал я. — Чьи они?

— Мои. — Старик с удовольствием погладил свою лысину. — Я — Хаким.

— А почему ты, Хаким, сидишь без сетки на лице?

В груди старика медленно заиграли какой-то марш куранты. Очевидно, это заменяло ему смех.

— Пчелы не кусают меня, — объяснил он. — И не будут: они знают своего хозяина. Пчела умна.

Хаким достал из улья маленькую клеточку-маточник и дотронулся пальцем до царицы пчел.

— Не жалит людей. — Его голос был непререкаемо уверен. — Жало свое бережет для другой матки, когда ссориться будет...

Мы проговорили до сумерек. Мне нравилось спокойствие старика, его медлительность, чисто восточная важность, столь схожая с мудростью.

С большой приветливостью старик пригласил меня в гости пить чай с медом и повел к себе.

В своем старом доме Хаким жил с двумя внуками: жена его умерла еще в дни его молодости от сибирской язвы.

В убогом убранстве низкой и темной комнаты Хакима не замечалось ничего башкирского: не было нар, не замечалось тазов, кумганов, ярких занавесок, подушек — этого, кажется, единственного богатства башкира; вместо всего

этого в углу стояла деревянная, некрашенная кровать да рядом — сосновый стол и две скамьи...

Но кушанья, которыми Хаким угощал меня, были все чисто башкирские; его крепкий асыбал, который он настаивал какими-то, одному ему известными горными травами и цветом шиповника, сморил и меня.

В первый же свой приезд я заночевал у старого пчеловода и до поздней ночи слушал его неторопливые рассказы о жизни пчел, о их работе и отдыхе и о зимовках в ульях.

Хаким о пчелах говорил, как о людях; у него были, говорил он, любимые пчелы, которых он звал по именам. Лицо его изменялось и теряло свою важность, когда заговаривал он о своих крылатых выводках.

С тех пор я часто заглядывал к пчеловоду и подолгу засиживался у старика.

2

Как-то, в исходе лета, перед отъездом из Башкирии, под вечер, я заехал к Хакиму.

На этот раз старый пчеловод встретил меня совсем не по-обычному. Он выглядел испуганным, растерянным, ходил мелкими и кривыми шажками и все прятал глаза.

— Ай, рад, вот рад, бояр, — говорил он с преувеличенною, если не с фальшивой, любезностью. — Давно не приезжал к нам... А внуки мои к тетке уехали!

И все бежал и суетился.

Возбужденно держался старик и за вечерним чаем: то он присаживался к столу, то опять поднимался с бегающими глазами, выходил в сенцы, точно кого-то ждал, и начинал тихо и смущенно смеяться.

Это уже совсем не походило на строгого, важного Хакима.

За ужином, устроенным им с непостижимою быстротою, он пытался развлекать меня своими рассказами из жизни пчел, но на этот раз говорил так торопливо и бессвязно, что сразу становилась явной владевшая им тревога.

— Я говорил тебе, как умны пчелы, — рассказывал он. — У моего старого улья треснула от жары кора, и кусок ее загоразживал вход пчелам. Тогда я вижу: прилетела пчела и стала возиться, чтоб отодрать кусок мешавшей коры; не смогла и полетела звать на помощь. Я все ждал.

Прилетели две пчелы, и тоже не удалили кору. Тогда они вызвали себе на помощь десяток, и все бились сообща до тех пор, пока не устранили неудобства.

Хаким рассказывал это с нервной торопливостью и несколько раз вставал во время рассказа с лавки, чтобы посмотреть в окно.

Видя, что старику не по себе, я сказал ему, что устал и хочу спать. Хаким предложил мне устроить постель в палатке на пчельнике.

— В доме жарко, а на пчельнике у меня хорошая кибить, — говорил он и опять суетился и скрипел пружинами в груди. Я, конечно, не имел ничего против ночи на пасеке, и Хаким пошел меня провожать к месту ночлега.

Во дворе, в сумраке вечера, нам дорогу заступила темная плотная фигура в стеганом заячьем бешмете.

— Кто пришел? — беспокойно крикнул хозяин, и, узнав пришедшего, забормотал радостно: — Здравствуй, друг, здравствуй! Я не знал, что это ты.

Он сейчас же представил мне гостя, объяснив, что это — Салимбай, великий башкирский певец и поэт.

— Мы все пойдем в кибитку, — беспокойно говорил Хаким. — Я тоже побуду с вами в кибитке. Ночь хорошая, светлая ночь.

Мы пришли на пасеку. Там, действительно, стояла кибитка, крытая белой кошмой. Это была значительная роскошь для старика. Расставив на кошме угощения, Хаким поспешно вышел, пробормотавши несколько бессвязных фраз.

3

Мы остались одни. Я с интересом разглядывал башкирского поэта, который, по-видимому, не обнаруживал ни малейшего желания вступить в разговор и молчал самым авторитетным образом, уписывая расставленные хозяином снеди. Особенное тяготение он чувствовал к кумысу, которого лил в себя, почти безостановочно, такое невероятное количество, что я начал беспокоиться не на шутку об участи певца.

Появился с зажженной лампой Хаким и тревожно присел около певца, все время оглядываясь на дверь. По-видимому, с движением ночи его беспокойство росло.

— Почему же ты не угощаешь Салимбаю? — обратился Хаким ко мне, очевидно, как к своему другу и заместителю. — Салимбай — поэт; чтобы поэты заговорили, их надо вкусно кормить: без этого у них не льются песни.

Башкирских поэтов видать мне раньше не приходилось.

Я знал, конечно, как популярны на востоке сказители, под аккомпанемент думы передающие слушателям повесть о прежних героях-богатырях, но в Салимбае было что-то напоминавшее хазрета Хайбуллу, и это к нему заставляло относиться настороженно. Однако душная ночь, не дававшая сна, влекла к беседе. Я поглядывал на твердый, как барабан, живот поэта, на его круглые, как яблоки, щеки и думал, что Салимбаю живется неплохо. Остановливал внимание и его стеганый заячий бешмет, который поэт не снимал, несмотря на температуру плавления тел.

— Я рад тебя видеть, — по-башкирски сказал я Салимбаю, прервав долгие молчание. — Рад буду и послушать песни твои.

Конечно, я несколько не рассчитывал на ответ, но приподнятый тон моей речи, кажется, польстил поэту.

Салимбай торжественно усмехнулся.

— Так ты уже слышал обо мне? — спросил он и прибавил огня в лампе.

Я отвечал на его языке приблизительно так, что слава о певцах идет по всему миру, что песни поэтов — слаще меда, и в заключение попросил его спеть мне что-нибудь.

Неизвестно, чему я обязан был — действию ли питательного башкирского напитка или каким-либо внешним причинам, только Салимбай дружески похлопал меня по плечу и проговорил, выпренно улыбаясь:

— Так ты не слышал моих песен, которыми наделил меня славный пророк? Если не слышал, то открой свои уши: я тебе пропою...

И, сытно рыгнув, он закрыл глаза и, усевшись на корточки, негромко запел, поводя на меня круглыми глазами. Некоторые из его экспромтов сохранились у меня в памяти.

Салимбай пел:

Блестящее солнце пылает над горою,
А милые девушки чешут свои душистые косы.
Но ты, моя дева, для меня лучше и солнца и луны:
Ярче горюшь ты огня и светлее светишь.



Твои брови подобны черному углю,
И лицо твое похоже на круглый месяц.
Лоб же твой так высок, что его не заслону я рукою,
Будь моя ладонь шире четверти.



Ну-ка, подойди ко мне, крепкоголовый богатырь,
Ну-ка, начни со мной биться.
Кости мои стали крепче горы,
И, как горный хрусталь, жестко сердце мое!



А ну-ка, дотронься до меня, нежная рука девушки!
Вот, прекрасная, начала ты ласкать меня.
Смотри: косточки мои обращаются в воск,
И растеклось сердце мое, как мед предутренний.

Своеобразные песни Салимбая, звон цикад и переключения в росе перепелов создавали, при рожке крутого месьяца, экзотическую картину.

Я хотел было попросить поэта продолжить, но он уже лежал на кошме и удовлетворенно ворочал слипавшимися глазами.

Через несколько секунд Салимбай уже храпел на всю кибить.

4

Спать по-прежнему не хотелось. Я вышел из кибитки и уселся подле нее на почерневшем от времени пне. Эти пни тянулись по лесу длинной вереницей; огромные, в несколько обхватов, они печально свидетельствовали о хищном чужом топоре.

Ночь была хороша — светлая, теплая, звездная и ароматная; весь пропитан был липовым цветом воздух; чистый, спокойный, он малейший звук доносил тотчас же до уха.

С лесной опушки все неслись сухие звоны цикад; они не смолкали ни на минуту; где-то вдали жалобно свистела бессонная птица; ухал филин; совы металась между пнями; дергал коростель...

Осторожный шорох в стороне заставил меня вздрогнуть. Какой-то зверек выполз из кустов и растянулся на траве, — должно быть, суслик. Новый, более явственный шум. Зверек поднял мордочку и прыснул в кусты. Мимо меня прошли к дому Хакима два башкира в меховых малахаях.

Меня удивило это позднее появление башкир.

Я поднялся и направился к дому старика. Оба гостя шли робко, оглядывались по сторонам; но не успели они дойти до двери дома, как на пороге показался старый Хаким и сурово простер руку, точно преграждая вход. Пришедшие разом упали на землю.

Старый Хаким прождал несколько секунд и шепнул им голосом жреца:

— Встаньте!

Башкиры поднялись на ноги, но не сразу.

— Я знаю, зачем вы пришли, — продолжал старик торжественным тоном. — Пророк мне сказал!

Хаким значительно помолчал, а башкиры переглянулись.

— Ты, Сулейман, — проговорил Хаким, — явился за лошадью. Но пойдите в дом мой: там я с помощью силы укажу вам все.

Все трое вошли в дом. Я менее всего ожидал того, что услышал. Пчеловод был, значит, совсем не так прост и незатейлив. Было очень любопытно, как проведет ловкий старик свою роль гадателя-вещуна.

Видя, что в данном случае эксплуатируется невежество башкир, я без всякого стеснения приник к окну.

Изба была освещена: стол и скамьи были отставлены в сторону. Гости, показавшиеся на вид мне знакомыми, смиренно стояли в уголке, между тем как старый пчеловод торжественно восседал посреди комнаты. Выражение лица его, обращенного ввысь, было полно таинственности.

— Слушайте меня!

Башкиры опять робко переглянулись и попятились в угол.

— Я молился, — медленно продолжал старик, — и там услышали мою просьбу. Твою лошадь, — обратился он к Сулейману, — угнали слуги шайтановы за три тысячи верст, но я своей силой вырву лошадь у него...

Хозяин достал из-под скамьи чашку, из которой обыкновенно угощал меня кумысом, и поглядел в нее.

— Я увижу сейчас, где твоя лошадь, — сказал он башкиру. — Этот священный кумыс укажет мне, где она...

И старик зашептал свои заклинания, не сводя глаз с чашки.

5

Я стоял у окна и глядел на чародея во все глаза.

— Увидел я твою лошадь! — объявил колдун. — Вот она стоит в темном дубовом лесу около моста шайтана. И держит ее злой дух. И требует он, шайтан, выкуп. Завтра я принесу ему жертву!

Молодой башкир, уже видно наученный, как надо поступать, робко подошел к Хакиму и положил на скамью звякнувшие монеты.

— Подойди ко мне! — приказал чародей.

Сулейман робко поглядел на товарища, как бы спрашивая совета, и нерешительно подошел к вещуну.

— Смотри! — Хаким указал ему на чашку. — Видишь, где стоит твоя лошадь?

Башкир молчал.

Чародей строго повторил свой вопрос.

— Йюк, — пробормотал Сулейман. — Не вижу.

— Смотри лучше! — приказал Хаким. — Вот видишь дубовый лес? Вот мост. А вон и лошадь твоя. Далеко она, но я сейчас верну ее у шайтана. Присядь и молись.

Сулейман молитвенно присел на корточки и потер лицо руками.

— Я поборол шайтана! — объявил через минуту Хаким. — Слушай. Завтра до восхода солнца ступай ты в Карасеирский лес. Лошадь твоя будет ждать там тебя у ручья. Но ты не прикасайся к ней раньше молитвы, иначе она пропадет, как сухая трава под огнем. А от меня в помощь возьми вот это...

Старый Хаким повернулся к окну, чтобы взять что-то, и, увидев меня, вскрикнул и пошатнулся. Его глаза на мгновенье остекленели.

Я отошел от окна и отправился седлать лошадь. Уже светало.

Через неделю я встретился на базаре с башкиром Сулейманом.

— Что, нашел свою лошадь? — спросил я у него.

— Слава богу! — радостно отвечал тот. — Нашел.

— В Карасеирском лесу?

Лицо башкира дрогнуло от удивления, смешанного со страхом.

— Я все знаю, мне сказал Хаким.

— Сам сказал? — спросил Сулейман.

И прибавил с благоговением:

— Все видит наш Хаким, все знает...

С «чародеем» я больше не встречался. Мне передавали, что он зимой выехал куда-то, пораспродав ульи и прочее имущество.

1903 г.

МАТЬ

1

Чаща становилась такой непролазной, что пришлось остановиться. Дальше не было сил идти.

Я уже жалел, что остался в Карасеирском лесу один, что отпустил Кочергина отыскивать шлях. Может быть, впервые был смущен, уходя, даже такой бывалый охотник, как Иван Петрович Кочергин. Казалось, не было для него положения, из которого он не нашел бы выхода; но здесь выхода не оказалось в самом буквальном смысле: деревья и кустарники стояли непроницаемой стеной.

Сначала дело шло хорошо. Собравшись на охоту за утками, мы обогнули овраг, представлявший старое течение Аселя, и вступили в сплошь заросший тальником и вязом круглый островок, пронизанный отдаленными криками птиц. Старое течение реки не сплошь усохло: заросшее камышом озеро, называемое «Старица», должно было быть тут же вблизи. Это из его зарослей и кричали утки. Надо было во что бы то ни стало добраться до воды; проникнуть к ней через чащу кустарника было делом нелегким. Однако присутствие дичи окрыляло наши усилия, и мы продирались через завитые хмелем стены жимолости, не жалея ни лиц, ни рук, ни одежды.

— Тут, знаете, легко, похоже, и на рысь напороться,— сказал мне Кочергин, с досадой отирая о листья кровь расцарапанного лица. — Но зато уж криквы — мое почтение!

Израженный, испачканный в грязи, опутанный по рукам и ногам гирляндами хмеля, Иван Петрович походил на

вернувшегося с битвы индейского воина; но я и сам был не лучше.

— Не стоило нам залезать на этот рысий остров! — с усталым упреком сказал я Кочергину. Занемевшие от трехчасовой безостановочной ходьбы ноги подкашивались, хотелось сесть, но сесть было негде: под сапогами так угрюмо чавкала вода, что более благоразумным было, конечно, не медля выбираться из болота. — Напрасно мы направились сюда!

По обыкновению, лицо Кочергина побурело, как глина; он замахал руками:

— Ну вот, так и знал! — прокричал он, и рот его скосило от негодования. — Ну какие вы охотники, — молодозелено! Вам бы на печке соску сосать, а не охотиться по Башкирии! Приезжают этакие из Москвы!

Неизменная клетчатая рубаха Кочергина и его засаленные черные брюки были прорваны в десятке мест, обнажая смуглое и крепкое, как мореный дуб, тело старика. Не снимавшаяся ни днем, ни ночью ременная помощь его шаровар, всегда перекинутая через плечо наискось, теперь была сорвана и висела сзади на одной пуговице, болтаясь, как хвост.

Как я ни был взволнован, невольно рассмеялся.

— Ну, вот что! — объявил, покосившись на меня, Кочергин. — Вы побудьте-ка здесь, у этой ветелки, а я пройду в нскосок: тут сейчас же за старым днищем должна деревушка быть, Гильдеево называется... Бывал я в ней, — и духом вернусь.

— Но почему же нам не отправиться вместе? — спросил я.

— «Почему, почему!..» — закричал он и опять его рот поехал в сторону. — Потому, что вы — неженка, неприспособленный, крутить я с вами во все стороны буду?.. Мне бы только на шлях натолкнуться, — сейчас же вас вызову.

И не давая мне времени возражать, сейчас же поспешно пошел прочь по болоту.

— Только помните, коли встретится часом рысь, — не стреляйте: костей не оставит! — с этим успокоительным советом Кочергин скрылся в чаще.

2

Оставшись один, я прежде всего попытался выбраться из болота. Стараясь ставить ноги на корни валежника и

поросшие мохом кочки, прыгая с одного бугорка на другой и опираясь на бесполезное ружье, как на лопату, я пробрался по чаще саженной на сорок и неожиданно выбрался на сухую поляну.

Правда, радоваться было преждевременно: и здесь отовсюду стенами возвышались деревья и кустарник; но уже то, что под сапогами не хлюпала вода, а над головой голубело небо с быстро бегущими облаками, наполнило сердце радостью: ведь в тех зарослях, из которых я выбрался, даже в полдень было как в сумерках.

Теперь надо было искать Кочергина, словно канувшего в воду; но сколько я ни кричал, мне никто не откликнулся.

Слева с набевшим ветром, потянуло запахом дыма, — где-то за лесом было жилье, — и, продолжая звать своего исчезнувшего спутника, я стал пробираться через кустарник влево.

Опять скрылось небо под непроницаемым шатром листьев и сучьев, но здесь, по крайней мере, было сухо.

Теряясь в догадках о причинах исчезновения Кочергина, я брел по чаще, ежеминутно останавливаясь, отгибая ветви и спотыкаясь о кочки. Чуть не скатившись в ложбину, покрытую цепким, выше роста кустарником, густо усеявшим дно, я внезапно услышал треск валежника и с дрожью отпрянул: шагах в десяти от меня, через чаще осторожно-медленно продиралось на колеблющихся лапах длинное серое чудовище.

«Рысь!» — пронеслось пулей в моей голове, и я вскинул двустволку. Но я сейчас же опустил ее, вспомнив совет Кочергина. Да и что, в самом деле, могло сделать мое, заряженное мелкой дробью, ружье, которым я даже не мог хорошенько прицелиться из-за частоты обступивших меня кустов? Опустив двустволку, затаив дыхание, стоял я, полуспрятанный от зверя той же чаще, которая прятала и его, и только смотрел, куда он направится. Я видел, что его серое туловище было выгнуто, как спина исполинской кошки, — это-то мне больше всего и внушало мысль, что передо мною — рысь. Я замечал, что передние ноги животного были словно короче задних, более развитых и уверенных, и, передвигаясь, чудовище из стороны в сторону покачивало крупом, словно хромало.

Я стоял неподвижно, пока зверь не пробрался дальше и не скрылся в кустах. После этого, держа ружье наготове,

я начал продвигаться вслед за ним, и вскоре же увидел, что я его настигаю.

В чаще было по-прежнему сумрачно, и я смутно различал выгнутую, словно бурую, спину животного. Походило бы оно и на собаку, если бы не было таким большим; но было и больше рыси, больше волка.

Видя, что оно меня не примечает в чаще, я со всеми предосторожностями попытался зайти ему в бок — и, внезапно выронив ружье, чуть не лишился сознания. Передо мною была не рысь, не волк, не собака: передо мною полз на четвереньках серый, костлявый человек в рубище, — старый человек, старая, разбитая параличом женщина-башкирка.

Признаюсь, мне не сразу удалось удержать сознание на грани реального. Ведь это же было в самом деле видение апокалипсиса: человек-зверь, человек-животное, передвигающееся на карачках; старая женщина, медленно ползущая на руках и ногах, как четвероногое животное, как собака, как зверь!

Можно было предположить какую угодно случайность, увидеть какую угодно фантазмагорию, но только не это. В дикой глуши, по корням, сучьям и травам пробиралась одинокая парализованная женщина, и таким ужасным, никогда мною не виданным способом.

Я видел теперь, почему ее спина и таз возвышались над опущенной совсем по-звериному головой: она ползла не на коленях, а почему-то на согнутых, искривленных ступнях своих ног; и было в этом особенно жуткое, что женщина принуждена была передвигаться таким образом.

Впечатление ужаса и растерянности не покидало меня. В сознании, при виде этого передвигавшегося звериным способом человека, неотступно стояло ощущение какого-то дикого кошмарного озорства природы; всеми силами я заставлял себя думать, что это — не сон, не бред. Я поспешно прошел по чаще вперед и остановился на пути следования женщины.

3

Она передвигалась по неровному пути с известной долей ловкости, очевидно выработанной привычкой; она двигалась так, как будто и вообще нельзя было человеку двигаться иначе, как будто все люди на земле двигались так.

Она что-то бормотала про себя спокойным, пониженным голосом и вся была какая-то привычно-спокойная и простая.

Так же спокойно и тихо, проползая мимо меня, женщина подняла на меня свое лицо — старое, изношенное, покрытое сетью морщин смуглое лицо, и я с острой дрожью увидел на глазах этой женщины очки, — старинные серебряные или стальные очки, возвышавшиеся над спокойными, строго глядевшими, ничему словно не удивлявшимися, старыми глазами.

Я не мог себе объяснить, почему это именно очки так удивили меня; я видел еще, что подняла старуха голову тяжелым усилием шеи, что спиной хребет ее мертв... Но почему-то больше всего поразили меня на лице этого ужасного и скорбного, единственного в своем роде полужверя эти очки, — символ какого-то соприкосновения с миром, с людской «культурой», с людским обиходом. Старая, парализованная, полуслепая женщина, одиноко ползущая среди коряг и болот, — вот был единственный по кошунству образец «культуры» этого мира, этого чудовищного «обихода» людей!

4

Я пришел в себя только тогда, когда почувствовал, что меня кто-то совсем нелюбезно встряхивает за плечи. Передо мной стоял взбешенный до последнего Кочергин. Его рот был раскрыт, как пасть жабы, он кричал у самого моего уха:

— Да вы что, очумели? Зачем вы ушли, когда я вам велел дожидаться?

Несколько секунд я смотрел на него в самом деле ошалело: я забыл про чашу, про охоту, забыл про Кочергина; я весь был во власти посетившего меня видения. Я все еще думал, что это было только чудовищное виденье, след крайнего утомления; но, бросив взгляд перед собой, я увидел продолжавшего ползти своей дорогой человека и, оттолкнув Кочергина в сторону, закричал:

— Подите вы от меня к черту! Подите к черту!

Странно сказать, но мой окрик сразу смахнул с лица Ивана Петровича его ярость и негодование. Должно быть, он приписывал мой гнев его неуважительному со мной обращению; его лицо стало смущенным и мягким, неизвестно откуда в нем взявшимся голосом он проговорил:

— Да я же для вашей пользы, в самом деле! Ведь я уж вернулся туда через две минуты, — я сразу нашел шлях и дорогу на деревню, — а вы в это время упрыгнули, словно блоха!

Вместо ответа я показал Кочергину рукою на продолжающее уплывать от нас ужасное тело.

Сверх ожидания, Кочергин рассмеялся. С невиданным в нем добродушием он вскинул голову кверху и издал урчанье, похожее на скрип колеса: так всегда он смеялся. В знак полного примирения, он похлопал меня по плечу.

— Это вы говорите про старуху Ямал? Я давно ее знаю. Занятная старуха; мы зовем ее — Мать.

И смех Кочергина и веселые обыденные фразы действовали на меня, как уколы электричества. Мне опять захотелось крикнуть, но, вспомнив свою выходку, я из всех сил попытался сдержаться и сказал, насколько мог спокойно:

— Вы знаете эту женщину?

— Ее все знают здесь, — просто ответил Кочергин и стал свертывать папироску. — Она из этой же деревеньки, которой я так добивался... Она живет вот тут же, за лесом, на опушке. Занятная у нее жизнь. — Иван Петрович с удовольствием покачал головою и лизнул края сигарки. — Занятная жизнь!

Я все поглядывал на его спокойное, словно тесаное из кремня лицо, на его невозмутимо-ясно смотревшие из-под спокойных пучков бровей дымчатые, как у барана, глаза и думал: «Как спокойно и просто живут люди! Как спокойно относятся ко всему на земле... Может быть, и в самом деле надо жить так, — именно так?»

— И что же, она, эта женщина, живет одна? — спросил я Кочергина, пряча глаза, чтоб не выдавать свое волнение.

— Да, пожалуй, и одна, — так же невозмутимо ответил Кочергин. — То есть там, собственно, имеется у нее внучка или племянница, что ли, — Зюлейха по имени, — только разве молодую девку подле старухи удержать! Ну, воды принесет, зимой дров наколет... Но вообще и сельчане ее навещают, — по-соседски, — я же говорю: все зовут ее — Мать.

— Почему — Мать? — уже чувствуя что-то вновь тревожное, осведомился я.

— А я же говорил вам, — дело очень занятное. Старуха была замужем, имела детей; двое померли, третьего убила... Вот и выходит — мать!

Я изо всей силы стиснул себе руки, чтобы вновь не про-
рваться криком.

— Как «двое померли, третьего убили?» — прошептал я, но, должно быть, шепот мой был настолько тревожным, что Иван Петрович вновь примирительно потрепал меня по плечу.

— Э-эх, вы, — молодо-зелено, — сказал он. — То-то вот вы приезжаете московские! А у нас здесь все попросту: живем, как осока: стоим себе и молчим, пока не срежут.

— Я прошу вас, Иван Петрович, — сказал я, чувствуя, что к горлу моему подступает ощущение тошноты, — зайдемте куда-нибудь в деревню... Я так устал. Голова кружится.

Кочергин внимательно поглядел на меня.

— Да вот к ней и зайдем, — к этой старушенции!

Я вздрогнул от слова «старушенция» — такого жуткого и оскорбительного по отношению к этому обломку человека.

Но я решил держать себя на узде и проговорил кратко:

— Только скорее: она уходит.

— Ничего, — ответил Кочергин с тем же разящим спокойствием. — Далеко не уползет: вы видите, как она ковыляет!

И я шел рядом с Кочергиным по заросшей тропке и поглядывал на это ископаемое, вспоминая, как мой собственный дед, которому доктор без наркоза отпиливал зараженный трупным ядом палец, сидел подле него в кресле и кричал, правда, очень побледневший: «Да пили ты, черт! Отпиливай скорее, лекарь: не чуешь, что больно?» И на это доктор, продолжая пилить, отвечал: «А ты терпи, Николай Алексеевич; сейчас кончу. Ты что, барышня, чтоб кричать?»

5

Я не мог, я не решился сразу войти в землянку этой женщины. Я попросил Кочергина устроить чай на лужайке под молодой липкою, где так ярко золотились шапки подсолнухов, где алела своими узорными головками «барская спесь».

Так мила и цветуща была эта лужайка и такой яркий контраст давала она словно выпиравшим из-под земли черным бревнам землянки, что в самом деле было трудно сразу с солнца войти внутрь этого черного логова.

Кочергин только припечатал своим густым баском эту мысль.

— Оно понятно: чай пить на полянке вольготнее, чем в этой дыре: ведь там вонища — не продохнешь!

Ярко начищенный, точно радующийся солнцу самовар, вынесенный Кочергиным из землянки, тоже противоречил его угрюмому виду.

Самовар скоро загудел в умелых руках Ивана Петровича, и тут же на мураве гудели пчелы, перекатывались жуки.

Почти сказочным было это бездумное солнце, заливавшее поляну; совсем не верилось, что мы только что выбрались из цепкого плена ветвей, сырости и болот.

Точно во сне я оглядывался: как это случилось, что из сумрака чащи мы сразу попали в слепящий зеленый простор, на эту ясную, смеющуюся равнину, лишь на горизонте очерченную синей дымкой гор?

Оказалось, что эта равнина как раз стлалась непосредственно за лесом, который мы прошли. Точно срезан был лес исполинскими ножницами: два ряда черных пней — и сразу село и эта цветущая зелень.

— Может быть, позвать старуху? — предложил за чаем Кочергин. — Она сейчас же приползет.

С нервной дрожью я поспешил отказаться. Во мне тлела боязнь вiovь поддаться чувству ужаса, внушенного мне этим неслыханным человеческим горем.

— Нет, подождем немного, Иван Петрович, — проговорил я и начал рассматривать пестрокрылого кузнеца, попавшего в чашку. — Лучше вы расскажите мне о ней.

6

— Надо вам сказать, — заговорил Кочергин, прочищая шомполом свою одностволку: он не мог сидеть без дела и всегда каким-либо «занятием» утилизировал время досуга, отпускаяшегося им на рассказы. — Надо вам сказать, что эту самую старуху Ямал я знал еще девкой. Вот девка была! Вот девка! Бывало, принесет вашему дедушке в чиялке клубники, — не знаешь, то ли на ягоды смотреть, то ли на эту Ямал.

— Хороша, что ли, была, — попытался я навести рассказчика.

— «Хороша!» — с презрением ответил Иван Петрович и плюнул. — Это вы говорите «хороша!» — Красавица! — сурово поправил он и сурово же плюнул на подошедшую хохлатую курицу. — Таких теперь у башкиров и не водится — вот какая была красота! Ягода!

— И что же, ее замуж выдали? — в нетерпении узнать самое главное торопил я.

— «Замуж!» Сама убежала! — Иван Петрович сердито нахмурился. — Убежала от почтенных бедных родителей в деревню Юшкино, влюбилась в русского конокрада Ильюшку Гвоздева, дура!

Положительно, в негодовании Кочергина ощущалась примесь чего-то личного. Но я, конечно, не расспрашивал об этом рассказчика. Он сидел с полуприкрытыми глазами, точно передумывал наново что-то давно бывшее, и суровые морщины двигались на его окостеневшем лбу.

— Оттого, должно, и судьба наказала! — вдруг подвел он итог своим думам. — Ведь бил ее конокрад смертным боем, потому что пьяница был... Даже годику с ним не выжила: обратно к своим убежала.

— К кому же? В семью, что ли?

— Побила мать, а все же приняла: дочь, ничего не поделаешь!.. А прибежала-то она, сударь вы мой, брюхатая; и тут же, — должно от побоев, — двойню и родила.

— Вот как! — сказал я.

— Да, вот как. Родила, сударь вы мой, двойню, а в башкирских деревнях знаете как: «кяфыр» да «кяфыр», иначе сказать — нечистого родила, от русского, значит, — от нас! Вот гололобые! Считают нечистым русского человека! — Кочергин яростно зашлепал губами.

— Да, это нехорошо, — поспешил я успокоить рассказчика. — Но дальше-то что было?

— Дальше — больше. Ребята стали, понятно, расти; питаться, похоже, нечем; учить — не полагается. И мать и бабка как скаженные работали, — а тут, видишь ли, и третий родился.

— Как, третий? Ведь мужа-то она бросила?

Лицо Кочергина стало темнее кастрюли.

— Третий, — угрюмо и кратко бросил он, поставив точку, и засопел носом.

Я уже готов был воззриться на моего рассказчика, но дело объяснилось проще.

— Бабенка красивая, понятно, — продолжал он после-

паузы. — Жить и кормиться нечем, а тут помещики в горы ездят, становой пристав... А вы знаете, как у нас в глуши отказать в чем приставу?..

И Кочергин уже свирепо плнул сапогом в зад ту же самую любопытную курицу, отлетевшую с жалобным хлоптаньем.

— Тут рассказывать долго нечего! — крикнул он. — Прошло десятка два лет, у Ямал трое сыновей выросли. Двое пареньков — от конокрада-то — вышли дельные, а третий — от пристава ли или от какого другого случая — конокрадом, черт, уродился! Вон оно куда воровская кровь перекинулась! — закричал он и поднялся.

7

— Нет, уж вы доскажите, Иван Петрович, — проговорил я, удерживая Кочергина за рукав рубахи. — Вы до самого главного не дошли. — Я усадил его и поспешил налить чарку из дорожной фляги. — Как эта ваша красавица Ямал в этакую превратилась — вот что надо узнать.

— Сначала ей, точно, стало жить словно легче, — продолжал Иван Петрович, пропустив «посудинку». — Двое парней, как говорил я, были толковые, начали подсоблять, на работу ходили, да вот, поди же, — в один день оба и померли!

— Как померли?

— В колодце задохнулись. Копали оба колодец мулле, понятно?

Кочергин гневно глянул поверх меня.

— Нисколько не понятно, — возразил я. — Какой колодец? Зачем мулле?

— Вот, поди ж: понадобился во дворе колодец мулле Ибрагиму, — он и приказал им копать. А чтобы люди ему бесплатно работали, придумал, будто колодец этот святой, и он будет лечить больных целебной водою... Ну, и полезли братья копать. Воды все не было, мулла был жаден. «Глубже! глубже!» — все приказывал. — Ну, копали братья, копали. Потом стало уже трудно на глуби дышать. Лазили поочередно: пороеет один, дернет веревку — и вылезет. Затем лезет другой... Похоже, долго копали, — только вдруг слышит один брат из глубины колодца крик или стон. Он веревку вниз, туда-сюда, — не выползает брательник. Тогда он сам — второй-то — на подмогу кинулся. А мать—это

Ямал-то — обедать им принесла. Присела с чашкой и ждет, а никто не вылезает. Тут уж и хозяин мулла вышел, народ стал сбегаться. Кричали, звали, потом видят, что все тихо, — спустили багор...

— Как, багор? — переспросил я. — Какой багор?

— Железный багор, с крючком, — сомов им на Сакмаре вытаскивают. Ну, зацепили одного, проткнули — и потянули кверху... Вот, брательники-то — оба мертвые — и полезли. Один, значит, еще будучи живым, привязал себя к задохнувшемуся брату и пополз было кверху, да не осилил и газом тоже задохся: острые там газы в глубине: «святой колодец», понятно!

— Ну, а мать?

— Что — мать? — еще суровее повторил Кочергин, губы его кривились и дрожали. Очевидно, взбудораженный воспоминаниями, мог волноваться и этот окаменелый, заношенный тяготами жизни человек. — Вытащили брательников, — одному багром, значит, плечо пробило, а другой и без того бездыханный. Положили обоих на траву, народ шумит, мулла позеленел, дергает себя за бороду; кто кричит «откачивать», кто водой поливает, а я, значит, прежде всего дыханье искусственное...

— Как! Вы там были?

— Случился, — смущенно, кратко ответил Кочергин. — К Ямал тогда заезжал с охоты. — Ну, начал народ шуметь, — прибежал я и вижу: лежат оба брата, рядком, молодые, белые, как ошкуренные деревца, лежат обнявшись, и глаза открыты, а в ртах у обоих тина, плесень...

— А мать? Мать? — крикнул я и дернул Кочергина за плечо.

— А мать — что же: сидит, смотрит, окаменела. Чашка с едой у нее из рук выкатилась, — собака, значит, бишбармак поедает... Ну, поднялась, подобрала чашку и пошла. А потом как вернется, да закричит, да с кулаками на муллу! В бороду ему вцепилась, — еле пальцы разогнули. Уж бил ее сапогами мулла, бил...

— Мулла же и бил?

— Мулла. Человек привилегированный. Его нельзя было бить. Народ разорвет. Потому-то я взял его и тихонько — в колодец.

Я глядел на Ивана Петровича во все глаза. В таком освещении он еще никогда не представлял передо мною.

— В колодец? Вы?

— А куда же? Понятно, для шутки пустил, вниз головой, чтоб опамятовался. Мулла, конечно, за сруб уцепился, руками держится, ногами болтает. Ну, вынули его из колюдца башкиры, а мы прочь пошли.

8

— А третий сын? — спросил я. — Который тоже умер?

— О третьем и говорить нечего. — Кочергин стал надевать ягдташ, готовясь к отходу. — Плохой был парень, конокрад ютменный; из-за него все со старухой и приключилось.

— Это каким же образом — все?

— Украл Тазейка коня у Тимофея Ивановича — трактирщик у нас был, — угнал верст за двадцать и скрыл, значит, в горах. Но попутала его нелегкая: на месте кнут забыл. Стали по этому кнуту догадывать, кто такой, чей кнут? А подозрение на Тазейку было большое. Кабатчик в деревне — лицо почтенное, всякий рад ему помочь. Село этак на коней десятка два охотников — и прямо в эту деревню... сюда! — Кочергин широким жестом указал на взгорье и затем бросил руку на дверь землянки. — Сидит, значит, там внутри Тазейка, притаился, чует погоню, а мать — Ямал-то — на сундуке шерсть валяет.

— Ты чего, говорит, сегодня дома, сын?

— А мне что-то нездоровится, мать, — отвечает.

Ямал смотрит: на парнишке лица нету.

— Позвольте, да кто же вам все это рассказывал? — возбужденно прервал я.

— Сама и рассказывала. — В Кочергине, видимо, уже затихало давно пережитое, и его голос становился обычно-бесстрастным. Или здесь уже влияло то, что та Ямал, о которой он вначале вспоминал как о красавице-ягоде, сейчас лежала там в клетке ужасным нечеловеческим обломком?

— Ты и в самом деле болен, сын, — говорит ему Ямал. — Может быть, ты в реке продрог, как купался?

А Тазейка и отвечает:

— Я, — говорит, — мать, не в реке купался, а я в русской деревне коня украл.

— Два сына у меня умерли, — отвечает мать. — И ты тоже хочешь?

— Я, говорит,— не хочу умирать, мама,— только едут они за мною!.. Спаси, спаси меня, мать! Спаси, милая мать! И лезет под нары.

Смотрит мать: сыну нет восемнадцати, и такой красивый собой уродился. Все, значит, в нее пошла телом, а душою — в отцов.

И слышит мать, что уже въехали во двор всадники, и слезают с коней, и идут гурьбой к этой самой землянке, и стучат в дверь.

Мой взгляд молниеносно перенесся к черной, много видавшей двери. Может быть, это стучало мое сердце, но я явственно слышал стук.

— Отвори, кричат, старуха, конокрада своего выдай нам!

— Спаси меня, мать! — шепчет с полу сын.

И подходит к нему Ямал и говорит, отирая слезы:

— Я спасу тебя, сын. Жизнью своей спасу.

Открывает дверь, выходит. К ней бросаются с плетью люди.

— Моего сына нет в доме: он уехал в горы,— говорит мать.

Суровый взгляд Кочергина перекидывается на облитое дымкою взгорье. Смотрю туда и я, в немом страхе.

«О, если бы он убежал в эти горы!» — бьется в голове мысль.

9

— Ты врешь, старая ведьма, ты спрятала сына! — говорит кто-то из приехавших и входит в землянку. За ним входят все.

И вот они начинают перерывать все в каморке. Обшарили и обстучали печь — дело, видно, знакомое,— разбросали в углу дрова, раскидали подушки, раскрыли сундучок. А мать стоит у окна без движения.

— А где же,— спрашивают,— у тебя твой сын, старуха? — Говори, куда спрятала, куда убежал?

Отвечает мать:

— У меня нет здесь сына, даю в этом клятву. Два дня сын не приезжал ко мне. Не знаю, где сын.

Тут смотрят люди и видят на нарах малахай Тазея.

— Что же у него, богача, несколько малахаев? — спрашивает один из пришедших.— Смотрите, малахай еще мокрый, а старуха говорит,— два дня его не было.

И ударяет старуху в лицо так, что она пошатнулась.

— Где сын?

— Нет у меня сына,— отвечает мать, отирая кровь со щеки.

— Питать будем, переломаем кости,— отвечай, где сын?

И ударили мать по груди поленом; она падает на нары и закрывает руками то место, где спрятался сын, и кричит:

— Нет сына! Неправда!

А в это время наклоняется первый над нарами и выгаскивает за ногу конокрада.

— Спаси меня, мать! — кричит сын.

Мать бросается на тело сына, прикрывает его собою от ударов и продолжает кричать:

— Нет сына! Нет сына! Нет сына!

Вот почему ее называли «Мать», заключает Кочергин.

10

Мы сидим неподвижно, клонится солнце. Все небо залито багрянцем, и похоже, что это — кровь матери, смешанная с кровью сына. Даже на руке Кочергина алеет сгусток крови; даже в зрачке его — багряная искра.

— И что же с матерью, и что с сыном? — тихо спрашиваю я.

— Сына затоптали ногами; матери шкворнями перешибли спину.

Стоит молчание. Немое, как жалоба матери, отдавшей себя за сына-вора.

— Два года она болела. Думали, умрет. Однако выжила.

— Вас, конечно, в то время там не было, Иван Петрович?

Кочергин поворачивается ко мне профилем,— острым, как нож.

— Конечно, не был,— сурово говорит он.— А то бы... Его рука сурово тянется к одностволке.

— Поболела, выжила,— но спина отнялась. Приезжал как-то доктор, смотрел; дал очки, чтоб не слеpla, называл мудрено болезнь. Окаменеваает она, что ли...

Кочергин поднялся.

— Так и лежит; иногда выползает, соберет ягод. Лежит и молчит. Мы называли ее — Мать. Может, хотите взглянуть?

11

Мы входим в землянку. В этот момент последний луч солнца заглядывает в окно и пронзает сумерки подземелья алым пыльным треугольником. В углу, овевая этой сверкающей пылью, на нарах, ровная, как покойница, лежит старая, много испытавшая, многострадальная мать. На глазах ее — серебряные или стальные очки; но глаза спокойны, строги.

— Ну, вот, мы и пришли к тебе, Мать,— говорит Кочергин.

Молчание. Старуха спокойно поводит на нас глазами.

— Лежишь? — спрашивает еще Кочергин.

— Лежу,— отвечает ровный, бесстрастный голос.

— А вот он приехал из Москвы,— говорит еще Кочергин и тычет в меня пальцем, черным, как гвоздь.— Он там пишет, в Москве, про ваше, про башкирское.

— Не нужно ли чего вам сделать, Мать? — тихо спрашиваю я.

Глаза женщины спокойно передвигаются на меня — один за другим,— как стрелки на старинном пожелтевшем циферблате.

— Мне уже ничего нельзя сделать,— ровно отвечает Мать.— Вот, сделай молодым.

Тем же взглядом, передвигающимся, как стрелки, она указывает на худенькую девочку лет пятнадцати, сидящую с поджатыми черными ножками в противоположном уголке нар. Как забралась сюда эта девочка, похожая на козленка, как вошла неслышно и сидит, притаясь? Ее щеки алеют вешним солнцем, ее губы — как вишни.

— И ты тут, Зюлейка! — на мгновенье подобрев, говорит Кочергин и обращается к старой женщине:

— Ну, лежи, Мать, лежи. Не скучай. Еще приедем... А ты за бабкой ухаживай! — строго добавляет он девочке.

— Прощайте, бабушка! Хороша у вас внучка.

— Хороша, гость!

— Она будет жить счастливо, не увидит темного.

— Будь по-твоему, гость.

ЖЕЛАНЬЕ СТАРОЙ ЖЕНЫ

1

На рассвете ко мне в спальную врывается с неистовыми криками какой-то старый большоголовый башкир.

— Пусти меня, дура-баба! — кричит он растерянно следующей за ним Пелагее Васильевне, моей старой и неизменной печальнице о несложном холостяцком хозяйстве.— Моя — самый лучший друг твоего барина, долго его не видал, а ты не пускаешь!

Первым моим впечатлением со сна было: «какая огромная у этого человека голова!» Но сейчас же, даже в сумраке предутра, я начинаю примечать, что голова вошедшего — в огромной козьей папахе с красной тульей, и это открытие решает все.

— Ахмет Усманыч! — радостно вскрикиваю я.— Неужели это вы, Ахмет Усманыч! А мне говорили, что вы давно умерли!

Морщинистое, седенькое, сероглазое лицо вошедшего наполняется неподдельным негодованием.

— Да ты что, ума кончал? — спрашивает он меня, и его узкие, как шнурки, губы с подстриженной щетинкой усов образуют презрительную гримасу.— Да с какой стати моя на тот свет? Моя еще семьдесят лет нету, а ты — «умирал!»

По праву старшинства и старой дружбы Ахмет Усманыч обращается ко мне на «ты», я же отношусь к нему на «вы», и мы прекрасно понимаем друг друга.

— Но откуда вы взялись, драгоценный Ахмет Усманыч? — спрашиваю я, и мы радостно трясем друг другу

руки.— Ведь я объездил все ваше Даушево, и никто не мог сказать мне, где вы.

— Люди — глупый народ,— кратко замечает зауряд-хорунжий и садится в своем полном пыли историческом мундире ко мне на кровать. Я вижу, с каким негодованием всплескивает руками старая Пелагея Васильевна, замечая, что она с быстротою ящерицы выскальзывает в дверь и хлопает ею так, что звенят стекла, но я весь в радости свидания со своим старым другом. Я в самом деле думал, что его нет в живых, я был на его пепелище,— и вот он сам, зауряд-хорунжий башкирского эскадрона, сам Ахмет Усманыч сидит живым на моей постели и, взяв мою руку в обе свои шершавые ладони, трясет ими, точно выбивая из них пыль.

— Люди — глупый народ, люди ничего не понимают. Зачем я буду умирать? Я перебрался в Сурашево, слава богу, у моей Зулейхи умер отец, и я получил его дом, и две козы получил, и сундук получил, и кумган, и самовар.

— Но мне в Даушеве говорили, что вы перебрались в город и служите на дровяном складе?

Снова презрительная усмешка искривляет губы Ахмета Усманыча, и я вижу давно знакомые, съеденные табаком и временем корешки его зубов.

— Моя, зауряд-хорунжий и боевой аписер, на дровяной склад! Вот глупый люди! Вот хамчадал! — Ахмет Усманыч хлопает себя по бокам так, что вокруг нас поднимаются облака желтой пыли, и раздражается смехом.— Ахмет Усманыч — дровяной сторож! Скажи, пожалуйста!— И он опять ударяет себя по бокам.

В новых облаках пыли, словно диск луны, появляется багровое от гнева лицо Пелагеи Васильевны.

— Слушай, ты, башкирин!— совсем нелюбезно говорит она.— Ты бы хоть ноги для почтения вытер, а то пылит, как на мельнице! Ступай в прихожую, оботрись! — кончает она уже явным окриком.

Ее искренний гнев начинает воздействовать на Ахмета Усманыча. Он послушно поднимается с моей постели и замечает тоном смущения и примиренности:

— Ну, чего ты ржешь, как моя кобыла Зулейха? Пойдем, я оботру ичиги. Зачем кричать?

— А я пока оденусь,— посылаю я вдогонку уходящим.— А вас, Пелагея Васильевна, я прошу самовар.

Через десять минут я появляюсь на террасе. За столом в ряд выстроились и блистают два ярко начищенных самовара: один — с бурлящим на нем чайником, другой — представляющий собою умиротворенный лик Пелагеи Васильевны. Согласно тысячелетним обычаям своей гостеприимной страны, Ахмет Усманыч явился с парой тетеревов, и это сообщило любезность суровым чертам моей домоуправительницы.

Отмытый насколько можно и почищенный, Ахмет Усманыч сидит на табурете и с вожделием посматривает на бутылочку арака, вынесенную вполне утихомиреной тетеревами Пелагеей Васильевной.

Увидя меня, она поднимается и, бросив красноречивый взгляд на серебряные ложки, выходит. Одновременно с неисчислимыми достоинствами моей ключницы я знаю и ее немногие, но забавные недостатки; из них главный — ее подозрительность. Хотя она и знает исключительную честность башкир и особо — Ахмета Усманыча, но раз на столе появились серебряные ложки, она ни за что не уйдет до моего появления, что бы у нее ни пригорело на кухне. Так и есть.

— А ведь у меня, должно быть, шанги ¹ подгорели! — испуганно сообщает она и опять уносится стремительно, как исполинская ящерица, оставляя по себе замирающий звон стаканов на столе. Мы остаемся одни с Ахметом Усманычем. По уходе строгой Васильевны он не чинится со мною: твердой, уверенной рукой он тянется к бутылке, наливает себе в стаканчик арака и, по многолетней привычке, полюбывавшись содержимым на лучах летнего солнца, выпивает с наслаждением.

— Ну, вот мы и увиделись, бояр! — звучно кашлянув, говорит он мне, плюет на пол и нюхает, тоже по стародавней привычке, хлебную корочку. — А ты говорил: моя кончал! Его умиленный взгляд набегаёт на строго выдвинувшуюся из дверей кухни Пелагею Васильевну, и он смущенно крякает в сморщенный кулачок:

— А стерва-баба твоя Васильевна: совсем моя Зулейха!

¹ Серая пшеничная лепешка с творогом.

— Ну, теперь рассказывайте, Ахмет Усманыч, как вы живете в Сурашеве и зачем перебрались из родной деревни? — спрашиваю я, когда четыре жирных шаньги со всем творогом переместились с блюда в желудок зауряд-хорунжего.

Уже понизил на полтона свою песенку наполовину опорожненный самовар, и скромно опустела и стоит, как сиротка, бутылочка арака, засветившись румянцем на сморщенных щеках Ахмета Усманыча. Румяно-белые, не постижимо далекие плывут по бездонному башкирскому небу бычки, сшибаясь и сталкиваясь на двух противоположных зенитных ветрах. Время от времени из соседней осокоревой рощи на хлеба перелетают черные тучи грачей и галок, и тогда все небо над нашими головами становится черным, и даже солнце блекнет на минуту, как при затмении.

Слушая эту летнюю тишину, слушая слитное карканье грачей, дыхание лета и запах горячего солнца, я слушаю и бесконечные рассказы Ахмета Усманыча о его жизни за последние годы.

Дом в Даушеве погорел; эта старая скворечница Зулейха говорит, что сгорел от папироски, которой угощался дремавший на нарах ее лежебока (Ахмет Усманыч); сам Ахмет Усманыч уверяет, что пожар приключился от самовара Зулейхи, которая стала так же слепа, как была глупа.

— Зулейха всегда так: ежели моя сказал «иди», она съедет; ежели моя сказал «черно», она, дура-баба, говорит «белый как снег».

— Но, однако, ваша Зулейха заправляет всем домом, — рассеянно, убаюкиваемый тишиною, замечая я в интересах справедливости. — Ведь не будь у вас вашей жены, вам бы жилось несравненно труднее, Ахмет Усманыч! Даже ваше благополучие на новом месте устроилось только благодаря Зулейхе!

И внезапно на сухоньком лице зауряд-хорунжего стягиваются возбужденными складками его бесчисленные зацементированные грязью морщины.

— Зулейха! Зулейха! — выкрикивает он и даже поднимается с табурета. — Из-за нее, этой дуры Зулейхи, моя и гулял к тебе сегодня, бояр, за четырнадцать верст!

— Да что такое случилось? — все еще сонно спрашиваю я: так убаюкивало это солнце, и бродящие под ним

тучки-бычки, и эти перелеты грачей и галок, и тихие рассказы Ахмета Усманыча, что не хотелось ничего экстраординарного в этой невыразимо-ласковой зыби жизни. Между тем по лицу зауряд-хорунжего было видно, что произошло именно что-то исключительное в его жизни, нарушившее ее мерный покой.

— Случилось то, что моя старая Зулейха сошла с ума!

Теперь уже я поднимаюсь с своего табурета.

— Ваша Зулейха сошла с ума? Так ли я слышу, Ахмет Усманыч!

— Совсем ума кончал, головам решал! Она хочет уходить из дому, со мной разводить, меня бросать!

Я снова сажусь на табурет.

— Вы разводите? В шестьдесят лет?!

— В семьдесят лет,— скромно поправляет меня Ахмет Усманыч.— Моя Зулейха старая, как черт: она моложе моего только на два года. Вот волчиха!

4

С минуту мы сидим друг перед другом, всматриваясь один другому в глаза. Если один врет, то другой, наверное, плохо слышит.

— Ну, хорошо, Ахмет Усманыч, давайте не волноваться,— наконец говорю я.— Расскажите все по порядку, как это произошло.

— Пока еще не произошло! — сердито отвечает зауряд-хорунжий и остервенело закусывает мятный пряник.— Но оно произойдет сегодня-завтра, потому моя к тебе и гулял!

— Конечно: говорите кратко!

Ахмет Усманыч, опасливо оглянувшись на дверь кухни, забирает свой табурет и подсаживается близко ко мне.

— Надо тебе сказать, бояр, что на новом месте в Сурашеве мы стали жить с Зулейхой ловко-богато...— Он пересчитывает по пальцам:— у нас есть самовар, кумган, сундук, две козы... Чего можно еще желать на этой земле человеку? И вот...— он делает горькую и значительную паузу,— это самое богатство и погубило все.

— Но как же, как все это случилось? — заинтересованный до последней степени, я уже тороплю своего гостя.— Люди всегда довольны богатством, а вас оно приводит к беде!

— Да еще какой! — подтверждает Ахмет Усманыч и щелкает языком. — Ты, бояр, можешь лопнуть от чуда, как услышишь: вообрази, что она мне сказала, эта старая волчиха: «Бери себе, старый кот, еще одну жену!»

Ахмет Усманыч был прав: табурет подо мной закачался. Я ждал всего, — только не этого.

— Как? Еще жену? И она же сама и требует?

— Сама; да еще какую требует: чтоб женился на молодой!

Хорошо, что в это время в обратную сторону пролетели над нами галки и оставили на шаньгах и на скатерти несколько теплых следов. Это значительно разрядило гущенную атмосферу. С бранью Ахмет Усманыч начинает счищать черным ногтем со скатерти визитные карточки птиц.

— Совсем самасшедший птица! Что делает!..

— Подождите, — взволнованно обрываю я рассказчика. — Вам жениться еще раз и на молодой! Да в чем дело?

— Моя и сам не понимает, в чем дело. А она объяснил.

5

— Мы, говорит, живем вместе сорок лет, — так? — Так. — Мне, Зулейхе, стало немножко почти семьдесят лет, — так? — Так. — Я, говорит, устал работать, моя спина больше не гнет, нога не ходит, моя глаз не видит, как шить, рука — как коза доить, как хлеб печь, как просо обдирать. Так? — спрашивает Зулейха. Я говорю: Так. А она говорит: — И вот я хочу все это кончать. Бери, говорит, себе другой жена. И непременно — молодой.

— Но почему именно молодую? — растерянно спрашиваю я.

— Ффа! Моя сам не дурак. Моя сам спрашивает: почему непременно молодой? Почему не старый? А Зулейха говорит: — Что же ты, старый волк, хочешь, чтобы я ухаживала за двумя лентяями? Старуха, говорит, будет болеть, ты будешь болеть, а мне работать над вами двумя? Непременно, говорит, бери молодой; молодая работать будет, а я буду хозяйкам сидеть и пить чай. Вот, все.

Ахмет Усманыч кончил и, прищурившись, смотрел на меня своим выцветшим глазом. Было похоже, что, несмотря на свою беду, он торжествовал надо мною и моей растерянностью. Он видел, как я был обескуражен его сообщением.

И в самом деле, я был в полной прострации. Я никак не ожидал, что жизнь могла создать такую неслыханную ситуацию.

Старая, уставшая от работы жена требует от мужа, чтобы он ввел в дом молодую жену, которая освободила бы ее от непрестанной работы по дому и дала бы отдохнуть от нее хотя бы под конец жизни...

К каким невиданным странностям и абсурдам не приводил отживший, ветхозаветный уклад жизни!

— Ну, что же, бояр?

— Да, положение сложное,— наконец отозвался я.— Но почему, Ахмет Усманыч, вы с этим делом обратились именно ко мне? Разве нельзя было найти кого-либо другого, более сведущего в законах, в вашем быту?

— Ты — моя друг, ты и решай! — безапелляционно отвечает зауряд-хорунжий.— Твоя — человек образованный, профессор!

— Но позвольте,— взмолился я,— я никогда не был профессором: это мой дед был профессор!

— Все равно: раз твоя дед был профессором, то ты — тоже профессор. Моя дед был башкир — я тоже башкир. Ага? — Видимо, наслаждаясь непобедимостью своей аргументации, Ахмет Усманыч снова показывает мне корешки своих зубов.— Наконец, ты — ученый человек, ты знаешь, как пишут книги, как люди живут.

— Но такого в книгах еще совсем не записано,— пробою я защищаться.

— Не записано, так ты сам запиши. А если не сделаешь, моя старая волчица Зулейха...

Опять между нами устанавливается угрожающее и веское молчание.

6

— Хорошо, давайте вместе думать,— с отчаяньем проговорил я.— Прежде всего: что явилось причиной недовольства вашей жены? Ее перегруженность работой; так?

— Так.

— А если так, то надо прежде всего добиться, чтобы работы у нее было меньше. Так?

— Так.— Ахмет Усманыч глубокомысленно кивает головой. Он вполне удовлетворен моими заключениями.

По глазам его было видно, что он доволен, что обратился ко мне за советом.

— А если так, Ахмет Усманыч, то вы должны облегчить положение вашей жены: вы должны часть домашней работы взять на себя.

— Что? — Ахмет Усманыч откачивается от меня в сторону, словно от прокаженного, и несколько секунд сидит на своем табурете, как статуя Будды. Затем морщинистое лицо его начинает быстро наливать такой угрожающей синевой, что я сейчас же подхожу к нему со стаканом воды.

— Ты говоришь, что моя должна работать в доме? — осипшим голосом спрашивает он. Глаза его были круглы и моргали безостановочно. — Ты говоришь, моя сам должна готовить кушанье, подметать пол, доить титьку коза?..

— Ну, если и не доить козу, то хоть дрова колоть, принести воды, истопить печь...

— Моя, зауряд-хорунжий, колоть дрова?.. вода нести?.. — С каждым новым вопросом в голосе Ахмета Усманыча возрастает искреннее возмущение. — Моя, боевой аписер, пол подметать? — Убийственное пренебрежение к моему неразумию заливает его лицо. Ахмет Усманыч уже явно сожалеет, что обратился ко мне за советом. — Ты, бояр, может, еще скажешь, что моя должна вместо старой бабы Зулейхи своя рубашкам стирать?.. — Хош, бояр. Прощай! — И оскорбленно передернув плечами, не подав мне руки, Ахмет Усманыч идет прочь с террасы.

Обиженно поблескивает на его плечах и шее потускневшее серебро позументов. Я молча смотрю ему вслед. Разговоры были излишни: даже в этом тощем теле, прикрытом стародавним рваньем, ветхий мир не сдавался и не шел на уступки.

Я видел еще, как молча подошел к своей захудалой лошаденке хорунжий, как отвязал ее повод и, вскочив в седло, дал своей кобыле шпоры в бока.

Карьером он вынесся со двора и сидел прямой, оскорбленный и высокий, исполненный смешного и устаревшего, но своеобразного величия степного дикаря. Здесь было дело не только в том, что Ахмет Усманыч почитал себя зауряд-хорунжим, был «аписер», — к сожалению, среди ветхозаветной той жизни женщина все еще оставалась рабыней, и невидная, черная, но направлявшая всю домаш-

ною жизнь работа ее ценилась ниже стоимости кобылы или козы.

Больше с Ахметом Усманычем я не встречался, и до сих пор не знаю, уступил ли он своей Зулейхе в ее своеобразном требовании или дожил свой век одиноко, как старый обугленный пень среди дикой степи.

1904 г.

БАТЫР МАЛИК

1

Солнце только что поднималось, когда я въезжал в село Юлдаши. Ехал я к своему давнему знакомому башкиру Зулкарнаю, жившему на самом краю села в небольшом, покосившемся, одноглазом домике, точно влипшем в тинистый берег озера, с которого он с незапамятных пор гляделся в воду.

Внутренность дома, состоявшего из двух крохотных комнат, походила бы на обычное жилье башкира среднего достатка, — обычная печь, обычные нары с горкой подушек и одеждой, развешанной на гвоздях по углам, — но было и кое-что своеобразное в убранстве комнат: по стенам висели пучки высушенных трав, веток, корешков и корней; такие же пучки были привешены и к потолку и разложены по полкам.

Зулкарнай был ученый человек — мулла, лекарь; своими травами он, как и старый Угей, лечил окрестных жителей от разных недугов.

Каким образом Зулкарнай постиг тайны медицины, он не любил рассказывать; односельчане знали, что в дни молодости он состоял переводчиком при какой-то палате в Оренбурге, и об этом свидетельствовал десяток темных, замасленных книг, которые он читал по праздникам, надев на конец носа синие стальные очки в перевязанной нитками оправе.

Зулкарнай знали очень многие в округе и любили бывать у него. Постоянно приветливый, радушный, услужливый, он умел угодить, понравиться, — и не оставался в накладе. Конечно, и сушеные травы, развешенные по дому, не

мало поддерживали его бюджет: ведь лечились по большей части состоятельные люди — бедняки обходились заговором, молитвою и постом.

Въехав во двор Зулкарная, полный гогочущих гусей, коз и совершенно нагих ребятишек, я подвел лошадь под плетеный навес, привязал ее к колоде, не расседывая, и вошел в дом.

У хозяина было в тот день какое-то торжество; дом был полон гостей, и я попал как раз к обеду. Жена Зулкарная, старая Фарига, обходила сборище с тазом и кувшином. Гости тщательно мыли руки, зная, что это — предобеденные приготовления. Зулкарная строго соблюдал заветы отцов, — жил по-старинному, поэтому процедура кормления гостей в его доме была интересной.

Увидав меня, Зулкарная с любезной улыбкой поднялся с нар и заговорил на своеобразно-ломаном русском языке:

— Ай хороша, бояр, ай хороша! А я боял, ты забыл меня. Входи, — будешь гость. Ты попал в добрый час — прямо к обеду.

Я отвечал, что приехал ненадолго, и Зулкарная, с сожалением почмокав губами, повел меня к нарам и усадил на почетном месте. По обычаю, я должен был отказаться от такой чести, а хозяин должен был настаивать. С минуту мы топтались на месте, но дело кончилось тем, что мне все-таки пришлось водвориться в почетном углу.

2

В доме праздновалось незаурядное событие: в котле варился целый — правда, некрупный — баран; в печи бушевало такое пламя, что нельзя было к ней подойти на сажень.

— Что за торжество у тебя, Зулкарная, что такое пышное угощение? — спросил я, усевшись на нарах.

Зулкарная отвечал, что барана поднесла ему жена муллы в благодарность за излечение от желудочных колик, которые мучили ее несколько месяцев. Несомненно, угощение сельчан тайло и цель — ознакомление с медицинскими способностями хозяина, который выглядел именованным.

Гости шумно беседовали друг с другом, не спуская, однако, пытливых и заинтересованных глаз с котла, где варилось лакомое и для большинства редкое кушанье, доступное лишь по большим праздникам. Все с любопытством

следили, как старая Фарига хлопотала у печи, и очень оживились, когда барана извлекли из котла на большой жестяной лист, заменявший блюдо. Смолкли все разговоры, прекратились даже передачи новостей, из которых главной была весть о появлении в горах знаменитого баранта Малика. От барана поднимался густой пар, здесь было не до батыра, — глаза гостей искрились, точно смазанные жиром, и даже сам Зулкарнай, минуту перед тем толковавший слушателям о силе медицины, бросил теплый взгляд на вкусное блюдо.

— Удивительный баран! — говорили вполголоса люди и чмокали.

Между тем Фарига поставила перед мужем целый столб деревянных чашек, от верха к низу увеличивавшихся размером и вложенных одна в другую, подобие елочных деревянных яиц.

Гости затаили дыхание.

— Все ли здесь? — громко, почти строго спросил Зулкарнай и приподнялся на нарах.

— Все, все! — зашумели из разных углов, и я подивился тому, как крохотная изба оказалась способной вместить столько публики.

— Благодарение небу, — провозгласил хозяин. — Будем обедать.

Как будто по команде, разом у всех очутились в руках ножи, кривые, небольшие, похожие на обломки кос. Руки гостей потянулись к барану, и через несколько минут от него остались лишь кости да мелко изрезанные куски, сложенные в большую гору на железном листе. Кости, предназначенные для собак, были очищены от мяса так тщательно, что могли доставить последним много хлопот, но мало удовольствия.

Зулкарнай сделал опять торжественное лицо и приблизился к вороху мяса. Опрокинув на стол посуду, он взял самую большую чашку, нагреб туда пригоршнями куски баранины и с почтением подал мне первую чашку. Я отодвинулся в сторону, ловя на себе полные зависти взгляды, и стал отказываться от чести. Поднялись новые уговоры и просьбы; я отказывался, — мне предлагали; в конце концов мне пришлось уступить.

Обеденная церемония продолжалась. Теперь любезный хозяин взял несколько меньшую чашку и, наполнив ее мясом, передал сидевшему невдалеке от меня старику в зе-

леном шелковым халате; еще наложил баранины в посудину меньшую и подал ее следующему гостю, и продолжал раздавать таким образом чашки, смотря по общественному положению и званию угощаемого лица. Самую последнюю, похожую на наперсток чашку, на дне которой было три-четыре куска, пришлось получить тощему башкиру с подбитым глазом, в бешмете настолько изорванном, что, казалось, обладатель его одет в разноцветные, увядшие листья дерева.

Когда все разместились, Зулкарнай осмотрел общество и, кладя себе в рот кусок мяса, громко сказал:

— Слава тебе, господи!

Все приподнялись и повторили хором:

— Слава тебе, господи, — и хозяин строго следил, чтобы говорили все.

Обед начался.

3

Я чувствовал себя неудобно. Мне не хотелось есть, но нельзя было и огорчать хозяина. Беспомощно осматриваясь по сторонам, как вдруг, обернувшись в сторону седого старика в зеленом бешмете, увидел, что тот делал какие-то жесты в сторону лиц, обделенных бараниной. По его знаку поднимался один из сидевших в темном углу неимущих и, подойдя к старцу, раскрывал рот, а тот с важностью, не спеша, опускал руку в свою чашку и, забравши в кулак баранины, клал ее подошедшему прямо в рот.

Мне оставалось делать то же самое, и таким образом сгладились неравенство обедающих. Все были довольны и чавкали так усердно, что казалось, будто близко над головою пролетает в теплые края стадо журавлей.

По окончании обеда я просидел у гостеприимного Зулкарнай недолго: мне хотелось осмотреть пещеру у подножия горы Таш-Мурун, и было условлено, что Зулкарнай к определенному часу туда подъедет. Переводчик и врач, он при надобности являлся и чичероне.

Проездив часа два по окрестностям деревни Юлдаши, расположенной в тесном и душном ущельи, я пробрался цепью кустарников к следующему башкирскому селению Марзабулат и остановился под горой Таш-Мурун, в березовой чаще, выросшей по берегам бездонного, стародавнего омута.

Привязав лошадь в тени, я разостлал на земле чапан — широкий кафтан из грубого сукна — и разлегся под берегами, охваченный тишиной степного полудня.

По правой стороне горы, угрюмо поднимавшейся к небу, лепилась деревня Марзабулат. Словно игрушечные, разбросались в беспорядке по уступам Таш-Муруна избы, полуприкрытые кудрявой зеленью, похожей издали на вишенник, а на самом деле этот кустарник был высоким лесом.

Таш-Мурун, облитый горячим солнцем, точно курился в степном мареве, оголенные бока его с левой стороны были унижены кучами четырехугольных белых плит, издававших от солнечных лучей нестерпимо острый блеск.

Я задумался, сонно прислушиваясь к хрустению травы на зубах лениво жевавшей лошади.

— Саям-алейкум, бояр! — послышался голос. — Здравствуй!

4

Я поднял голову. Ко мне подходил башкир, совсем не похожий на Зулкарная. Мулла был высокого роста и длинный, как жердь. Этот же был невысок и крепок, необыкновенно коренаст и походил на тех людей, о которых говорят «неладно скроен, да крепко шит». Большая физическая сила чувствовалась у него во всем: и в жилистых красных руках, и в складках шеи, и в багровом скуластом лице, обросшем черной густой бородой. Борода эта, начинаясь от самых глаз, росла по всей шее, и даже из ушей торчали пучки волос. Но самым необычным в лице подошедшего было выражение какого-то иронического спокойствия. Спокойствием и смелостью дышала и вся его фигура. Одет был башкир не богато, но чисто. Тюбетей был на нем с прошивью; ичиги — тоже шитые, по-видимому, недешевые; бешмет — из тонкого сукна; малахай оторочен каракулем. И только глаза моего случайного гостя, узкие, слегка раскосые, смотревшие бегло из-под густых, нависших красными пучками бровей, портили общее впечатление силы и мужества.

Башкир, развязно ослабившись, подал мне руку и сел рядом, устремив на меня неприятно испытующий взгляд; невольно я посмотрел, цела ли моя лошадь.

— Ты откуда, знаком¹? — спросил я не без чувства неловкости.

— Из лесу, — отвечал тот, снова усмехнувшись, как показалось мне, не особенно доброй усмешкой.

— Что же, в лесу и живешь? — осведомился я, не сводя глаз с лошади и ожидая, что вот-вот башкир бросится к ней.

Незнакомец засмеялся. Жестко и неприятно прозвучал его смех.

— И в лесу живем, и в поле гуляем, и в воде живем. Везде живем, рыбу ловим. Как зверь живем, как птица летаем.

— Да ты веселый, видно, — сказал я, стараясь не обнаруживать охватывающего меня неприятного чувства.

— Больно весел! — осклабился тот. — Песня поем, ногами пляшем.

Он откашлялся и продолжительно свистнул.

Свист этот встревожил меня, я инстинктивно ощупал у пояса револьвер и отодвинулся от незваного собеседника.

Но башкир, казалось, совершенно не замечал моей тревоги: посмеиваясь словно беззаботной усмешкой, он запел на исковерканном русском языке:

Погибла мой молодца,
Погибла совсем...

Я не сводил с него глаз, когда он пел. Лицо его имело и насмешливое и суровое выражение; точно он играл с бессильным и забавлялся. И никак нельзя было предположить, что он был пьян: глаза его глядели осмысленно, из постоянно бегавшие, блестели, как жемчуг.

5

Не без чувства страха я поднялся, взял в руки чапан и, подойдя к лошади, повел ее под уздцы на более возвышенное, открытое место. Мне стало казаться, что дальше сидеть в закрытой, глухой котловине небезопасно.

Башкир, должно быть, догадался, что он мне не внушает доверия, и засмеялся, оборвав песню. И хохот вышел жесткий, отрывистый, похожий на собачий лай.

¹ То есть друг, приятель.

Он пошел за мной следом. Чтобы не дать ему оставаться у меня за спиной, я поспешил обернуться. Я находился на высокой площадке, откуда был вид на дорогу. Здесь место было удобнее, чем в закрытой со всех сторон яме.

Башкир догнал меня и, дотронувшись до плеча, сказал:

— Ай-бай, бояр, думаешь, что за человек попался... Да что: веселый человек. Давай посидим.

Я взглянул на часы. Зулкарнай должен был прибыть каждую минуту.

Тихо посвистывая, башкир взял у меня из рук чапан и, разостлавши его, удобно уселся. Лицо его вдруг сделалось серьезным:

— А давно гуляешь наша сторона, бояр? Начальник, что ли, земский, — или так ходишь-бродишь?

Я не отвечал; тот прождал минуту и сказал:

— А чем угощать меня будешь? Ашать захотел. Вон у тебя мешок привязан на лошади. Давай развяжем.

Надо было соглашаться, но башкир и не дожидался моего согласия. Ловко подскочив к лошади, он стащил с нее сак и стал открывать. Замок саквояжа был сломан, и ручки его были перевязаны бечевой.

— Ножика у тебя нет?

— Ножика нет.

Башкир дотронулся до узла. Крепкая крученая бечева разлетелась в куски, как нитка.

— Ого! — проговорил я не без удивления. — Сила-то у тебя есть.

— Ладно, — осклабился тот. — Ничего, пока живем. — Он подошел к кусту куриной слепоты и ухватил его за основание ствола. Должно быть, растение сидело в земле глубоко: у башкира потемнело лицо, как старый кирпич, глаза налились кровью.

Однако через несколько секунд он держал передо мною вырванное с корнем деревцо.

— Старик становлюсь. Прежняя пора, как асыбал¹ много пил, проходит; а тогда и березки рвал с корнем и подковы ломал. Не дашь покурить?

Я молча подал папироску и спички. Он закурил и принялся с аппетитом уничтожать закуски.

¹ Кислый мед.

— Что же, бояр, — спросил он, усмехаясь, — часто бываешь у нас тут?

Я все смотрел на дорогу, поджидая Зулкарная: тревожно было.

— Да, часто.

Башкир сделал удивленное лицо и снова свистнул протяжно и сильно. Я опять посмотрел на лошадь.

— Что же, все один гуляешь?

— Один.

Вдруг стало тихо, как будто жизни и не существовало. По лицу моего странного гостя пробежала легкая, чуть заметная судорога.

— И не боишься ты? — вдруг спросил он, ощерясь, и лицо его приняло волчье выражение.

Я опять посмотрел на часы; было половина первого, а Зулкарная все не ехал.

— Чего же бояться? — отвечал я вопросом.

Башкир снова свистнул, точно удивился моим словам.

— Ой-ой! Как чего бояться? Ты не знаешь, а Мистах все знает. Тут больно нехорошо бывать одному. Люди разные гуляют, башка режет, лошади карабчит.

— Вот как! А ты — Мистах?

— Айе, — поддакнул башкир. — Молодец тут батыр гулял, Малик-джигит. Ай батыр был! Ай-ба-бай!

6

Я припомнил имя этого известного башкирского баранта. За обедом у Зулкарная рассказывали, что он появился вновь, но этому не верили.

— Я слышал о нем, — проговорил я. — Но ведь, сказывали мне, его убили.

Мистах быстро взглянул на меня. Лицо его побурело от сдерживаемого смеха. Тревожил беззвучный смех его. После молчания он с какой-то странной веселостью оглядел меня и проговорил:

— Да, его убили, да. Но ведь тут товарищи его гуляют; тоже делают баранта. Напрасно ты ходишь один, бояр, напрасно, — протянул он и, как бы невзначай, дотронулся до моего револьвера.

— Хороша штука! Сколько людей карабчит? Люди два карабчит?

— Шесть людей, — отвечал я поспешно, и башкир сделал почтительное лицо.

— Ай хороша! Ай хороша!

Он потянулся к оружию, но я отстранил его.

Мистах расхохотался, казалось, самым искренним образом.

— Уж не подумал ли ты, что я барантай у Малика был?

Наступила пауза, неприятная, томительная. А Зулкарнай все не ехал.

Я не сводил глаз с дороги.

— А ведь я, бояр, знал Малика-батыра, — вдруг объявил Мистах, да так неожиданно, что я вздрогнул. — Ай, ай, какой славный батыр был! Никого не боялся. Убить даже мог — вот какой батыр Малик.

— Где же жил он, этот батыр? — спросил я.

И оба мы лгали друг перед другом. Оба испытывали один другого, тянули ненужный разговор.

— Где жил? — говорил Мистах. — А гору Кара-Сьыр знаешь? Вот там он жил, батыр Малик. Большой батыр был. Ты правду сказал: его убили... А я больно приятель ему был. Раз пришел Малик ко мне и говорит... — Он огляделся по сторонам; я тоже огляделся. — ...И говорит: «Твоя, — говорит, — Мистах, богатый человек, а я — бедный человек... Ххе...» Хороший джигит был он, славный джигит.

Рассказчик потянулся к водке и стал пить рюмку за рюмкой; казалось, он хмелел; но могло быть и так, что он с умыслом прятал связь своих странных речей.

— А раз приходит ко мне батыр Малик: «Давай мне и чай и сахар!» Подал я ему чай и сахар, а он говорит: «Желаю ашать». В печке был у меня бишбармак холодный, махан холодный и лепешки... тоже холодный. «Вот, — говорю, — ашай». Медведь голодный так не ашал: мне ничего не оставил, собака. «Ну, — говорит, — Мисташка, спасибо. Вот как ашал!»

И показал на живот. «Теперь благодарить тебя буду. Хочешь со мною горам гулять...»

Окончание рассказа я не дослушал. Меня удивила странная сцена, разыгравшаяся на дороге. По ней ехал верхом седой башкир. Путь ему лежал как раз мимо горы, на уступе которой сидели мы. Старик все ехал по направлению к нам, но не доезжая сажен десяти, вдруг круто по-

вернул лошадь и, озираясь назад, поскакал обратно, изо всей силы нахлестывая лошадь кнутом.

Когда я опять взглянул на Мистаха, он благодарил меня за угощение.

— Ай, спасибо, бояр, — говорил он, скаля зубы. — Вот как ашал.

И показал на живот.

7

В это время на дороге показался, наконец, мулла Зулкарнай. Он ехал торопливо, осматриваясь по сторонам. Вот он заметил меня и поскакал ко мне галопом, — но сейчас же вдруг осадил лошадь, странно замахал руками и стрелой помчался назад.

Больше уже мне было нельзя сомневаться. Я сейчас же приподнялся с револьвером в руках.

— Прощай, Мистах, — сказал я, — еду домой.

Мистах просто и весело рассмеялся.

— Прощай, бояр. За угощение спасибо.

Я нерешительно подал ему руку. Башкир крепко пожал ее и потряс; лицо его все дрожало от тихого смеха.

— А чапан мне, бояр? Холодно тут по утрам бывает... — вдруг сказал он, щуря глаза, как кот. По лицу его пробежало какое-то недоброе выражение, он оскалился.

В ответ на слова башкира я, стараясь не глядеть ему в лицо, молча кивнул головой и, сведя лошадь с кручи, вскочил на нее.

— Прощай, бояр! — услышал я сзади себя окрик.

Мистах стоял в моем чапане и все скалил свои белые зубы с красными, как киноварь, деснами.

Он долго провожал меня глазами...

У мечети деревни Юлдаши меня встретил мулла Зулкарнай. На носу у него были синие очки, и это обстоятельство позволяло думать, что случилось нечто необычное. Лицо его было строго и вместе с тем выражало крайний испуг. Около него толпились башкиры и галдели, как на пожаре.

Увидав меня, Зулкарнай переместил очки на лоб и замотал головой.

— Старик Ахмет видал, — думал, карабчил; я видал, — думал, карабчил. Ай-ба-бай! Ай-ба-бай!

— Ой-ой-ой! — галдели башкиры. — Совсем карабчил!
И ощупывали меня.

— Да что такое? — спросил я Зулкарная. — В чем дело?

Зулкарная схватился за голову, точно получил удар по темени.

— Малик пришел!.. Батыр Малик!.. И он с тобой сидел!

Башкиры вскрикнули в один голос и побежали врассыпную, точно и впрямь показался перед ними сам знаменитый батыр-барантай.

1904 г.

ГРОЗА ЛЮДЕЙ

1

Была сильная гроза,— одна из тех гроз, какие бывают в Башкирии, когда кажется, что вот-вот треснет надвое небо, треснет под ногами земля и наступит конец миру.

Бесконечные громы, темь, разрываемая ежесекундно лиловыми и оранжевыми огнями молний, невольно подавляли сознание реального, и с каждым ударом грома казалось мне, что вот сейчас за громовым раскатом послышится звук библейской трубы и появится на небе крест, поднимется пламя и встанут из гробов умершие и убитые люди.

Представьте себе непрерывный грохот — я не могу сказать: грома,— бесчисленных громов,— представьте целое море огня, порожденного сотнями сверкающих молний; представьте содрогание громадного леса, точно стонавшего под ударами нечеловеческих сил, эту то и дело раздираемую надвое чернь земли и неба, когда на мгновение и лес, и облака, и кусты кажутся бросающимися вперед фантастическими чудищами,— и вам будут понятны мои настроения.

Когда разверзлось черно-красное небо и из разорванного отверстия хаотически-бурно лились и падали на землю огненные стрелы и мечи, мне казалось, что я давно уж убит, что меня уже нет на земле и что стоны изумленного, ужаснувшегося леса слушает кто-то другой.

Молния иногда падала в десяти шагах от меня.

— Бум! — коротко и сухо било над моей головой, и что-то нестерпимо сверкающее и острое приникало передо мною к земле.

— Бум! — коротко и страшно отвечало небо, и вздрагивала земля, и по замершему лесу с странным звоном катилось:

— Трах-тах-тах!!

По временам молнии следовали одна за другой так часто, что вместо ночи в лесу становился как бы солнечный день. Все примечалось до малейших подробностей: трещины на коре деревьев, капли росы на траве... на посиневшей лесной дороге глаз отчетливо схватывал норки кроликов и змей.

И внезапно я весь замер от ужаса. Когда однажды так осветило, я увидел перед собой бело-синее худое лицо присевшего в кустах человека с выпученными глазами, в которых горели алые искры, с раскрытым ртом, страшно улыбавшимся. В ужас меня повергло именно то, что человек улыбался. Кто мог смеяться в такую пору?..

В лесу сверкнуло еще. Я опять увидел то же ощерившееся костлявое лицо, увидел бритую голову, увидел, что человек тот сидел на корточках и руки держал около лица. Вот он заметил меня. Его глаза сощурились; человек сделал ко мне движение. Я весь похолодел.

Как на грех молния стихла. В лесу не стало видно ни зги. Я бросился влево к дереву и, совершенно растерявшись, ждал чего-то ужасного. Я не соображал, что именно будет. Я только ждал и боялся.

Около меня раздался хруст ветви. Опять сверкнула молния, и я уже радовался ей. Теперь было видно, что человек тот стоял от меня в двух шагах. Его было видно. Он все так же улыбался.

— Велик бог в своих делах! Так он поразит всех бесчестных! — проговорил человек по-башкирски.

2

Страх мой понемногу улегся.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я и с радостью слушал свой собственный голос. Уже сознавалось, что я — жив, что я — не один.

— Что ты здесь делаешь? — повторил я свой вопрос по-башкирски.

Подошедший сейчас же смахнул с губ улыбку. Лицо точно сразу почернело; что-то угрюмое, не то хитрое, не то

жестокое выявилось при следующей вспышке молнии в его глазах.

— Я смотрел здесь грозу,— проговорил башкир.— Велика была гроза, велик был гнев божий.

— Разве ты так любишь грозу? — спросил я.

— Боюсь ее, не люблю. Всякий должен бояться огня... И заметил ли ты? Бог, карая, не пролил слезы. Дождя не было,— значит, гнев слишком велик и требует мщения.

Между тем гроза совсем прекратилась. Разорванные тучи быстро неслись по небу, как исполинские птицы, и то прятали в своих лоскутьях луну, то вновь ее открывали, и тогда делалось светло и спокойно.

Скоро тучи унеслись. Засверкали на небе звезды. Точно небо все прорешетилось, и второй, далекий, исполненный света мир гляделся этими отверстиями в темную землю. Деревья стояли молча и, чудилось, облегченно вздыхали. Кое-где позвякивали ветви — сухо и осторожно, словно сообщали друг другу о пережитом. И над всем этим плыла полная тишина. Не было слышно ни треска насекомых, ни шороха, ни крика ночных птиц. Казалось, умерло все, и была жива и дышала только великая тишина. Было необыкновенно радостно к ней прислушиваться, и мы оба долго слушали ее; потом я, точно нечаянно, сказал:

— Где же мне провести ночь?

Башкир повернул ко мне голову.

— Я провожу ночь в лесу. Человек должен быть все время под небом. Только с зимой, с наступлением холода, я иду в жалкие жилища людей.

Я посмотрел на него. Башкир, видимо, читал священные книги: в разговоре его проскальзывала восточная торжественность.

— Хочешь, я покажу тебе мое жилище? — спросил он меня.

Я согласился. Идти мне было некуда. Весь тот день я проплутал по степи, отыскивая дорогу в село Тазларово, попал в лес, сбился с дороги и долго блуждал, пока меня не застала гроза.

Мы пошли вместе. Башкир скоро вывел меня на дорогу. Я и не подозревал, что был от нее так близко. Было заметно, что башкир знал лес в совершенстве.

— Вот и мое жилище,— объявил он, останавливаясь на опушке.

С любопытством я осмотрелся. С четырех сторон, образуя замечательно правильный прямоугольник, росли молодые березы; около них тянулись кусты черемухи и вязков, и все это было переплетено хмелем. Получались живые зеленые стены.

— Однако у тебя здесь недурно! — сказал я своему случайному знакомцу.

Башкир сделал суровое лицо и ответил:

— У бога хорошо все... Если же тебе холодно, я могу развести огонь.

Я ничего не имел против этого: было свежо; башкир живо собрал валежнику и поджег его. Запахло дымом. Его острый запах всегда кажется живым в безмолвии ночи. Глядя, как хитро-осторожно бегали тонкие языки огня по черному хворосту, я подсовывал к огню руки и грелся: августовские ночи в Башкирии свежи.

— Скажи свое имя, — обратился я к башкиру.

Поправлявший в костре горящие ветки башкир вздрогнул (он сидел задумавшись) и ответил не сразу:

— Мое имя — Рысней.

Мы молчали. Прогоревшие в костре сухие корни плавилась перламутром. Переливаясь, бегала в них, как живая, таинственная сила огня.

— Еще меня зовут: «Гроза людей», — с какой-то восточной важностью добавил он.

3

Где-то кричала сова — тонко, неприятно-пронзительно, да еще вдали точно ехал кто-то в тяжелой, кованной железом телеге по убитой камнями дороге. Разумеется, это был обман слуха: ни вблизи, ни вдали такой дороги не было. От этого на душе опять стало неприятно. Всколыхнулись страхи. Я вспомнил про грозу и спросил:

— А вот, Рысней, ты говорил: «гнев велик и требует мщенья»... Какого «мщенья» и кому мстить?

Башкир медленно повел на меня глазами. Сухая дрожь пробежала по его лицу, опять напоив его жестокостью. Теперь в зрачках его алели искры уже от костра.

— Какого мщенья? — переспросил он и нахмурился. Молча он осматривал меня долгим взглядом, точно спрашивал себя, можно ли мне говорить, и наконец сказал отрывисто и неохотно:

— Мщенье должно быть нечистым.

Я не сдержался.

— Кто же эти нечистые?

Губы Рысней тронула презрительная усмешка. Отвернувшись, он начал поправлять огонь в костре. Я смотрел, как спокойно брал он в свои черные руки пылавшие угли, и думал о своем загадочном собеседнике. Опять послышалось, точно кто-то едет по камням в тяжелой железной телеге. На этот раз послышалось не одному мне. Я увидел, как поднял голову Рысней. Неприятное чувство взворохнулось на сердце.

— Что это за странность? — проговорил я вслух. — Кто-то едет по камням на чем-то тяжелом...

— Это — бог! — сказал Рысней.

Я вздрогнул: до того это было странно и неожиданно, и неволью, двинувшись в сторону, чуть было не крикнул: «Сумасшедший!»

Захотелось уйти.

4

— Это — бог! — глухо шепнул башкир, и на свете костра черные глаза его сверкнули, как угли. — Бог! — повторил он громче, и лицо его загорелось.

— Вот идет он, и идет разить! Скоро придет!

Я не сдержался и сказал грубо:

— Да кого разить-то?

Глаза Рысней сверкнули.

— Злых! — выкрикнул он. — Тех, кто убивал. Тех, кто крал. Тех, кто пришел — и все отнял.

И я, и он — оба разом поднялись. Словно обоим стало ясно. Несколько секунд стояло молчание.

— Злых? — медленно переспросил я. — Когда же будет разить?

Башкир только шевельнул губами.

Неподвижно стоя друг перед другом, мы смотрели один другому в глаза...

Я не спрашивал: я знал, что Рысней будет говорить. Так и случилось. Башкир заговорил, и сначала слова его срывались с губ бессвязно и глухо, затем окрепли и полились гневной, пламенной рекой, блиставшей искрами, как опаленные ветви хвороста.

— Мы были свободны...— говорил он срывающимся голосом, круто и жестко блестя в полутьме глазами.— Мы знали только небо и горы... только стариков, своих жен и стада... И пришел человек. Мы записали имя его! Кровью полил он наши луга, и из крови поднялась кровь!

— Века пронеслись,— тихо сказал я,— века придут.

— Семнадцать тысяч было убито!.. Он брал заложников и их убивал, когда мы поднимались за свои степи... Сеит, святой Султан, Кусюм, Измаил!.. Про них деды пели нам песни!.. Ялдар, Карасакал!.. Эти имена огнем вырезаны в наших сердцах! Семь сотен деревень сожжено, семь сотен!.. Все взято у нас, но осталось одно: наши книги, наши мечети...

Голос Рысняя оборвался выкриком. Я посмотрел на него. Что-то большое виднелось в его лице. Он говорил странно, он путал историю, рассказывая о чем-то давнем, затерянном в веках, но жутки были его больные, иступленные речи. Не было заметно бритой головы, старого платья, согнутой спины: были только два пылавших глаза да суровое движение черной руки.

«Гроза людей»! — мелькнуло в моей голове.

Светало. Я стал прощаться. Больше мне уж не довелось видеть Рысняя.

1905 г.

ПЕСНЯ КУРАЙСЫ

1

С чувством тоски, стремления и радости, после долгой работы в Москве, ехал я по Оренбургской степи. Мимо бежали русские деревни, обожженные солнцем равнины... Я все смотрел: там вдали чуть синее горная цепь! Там Башкирия, страна моего детства, моей юности, моей неизменной любви, смешанной с грустью.

И я думал о народе, неслышно ютящемся в своих жалких поселках по отрогам словно обглоданных гор. Медленно приближались они, медленно менялись картины степи, и только к следующему утру запахло горным солнцем. Запахло Башкирией, ее медом, ковылями, горным вишенником, одичалой малиной, сонным цветом, затянувшим омуты. Медленно кружится в этих омутах седая, древняя, тысячелетняя вода.

Вот и село. Уже башкирское. Оно затерялось в ущелье, полузакрытое жалкими останками когда-то непроходимого леса. Виднеются кривые избы, совсем не русские, — ничто так не напоминает о башкирском жилье, как это особенное, жутко знакомое, словно безъязычное затишье... Вот и полумесяц серой мечети уныло всплыл над листьями ветлы. Каркают грачи голодно и раздраженно. По скрипящему мосту перебираемся мы на другую сторону чуть слышно плачущей речки. Башкирия, башкиры, молчаливая страна, обожженная солнцем, тихая зыбь жизни, мертвая зыбь. Уныло посвистывает на камешке крошечный куличок. Грязная коза высунула из зарослей облезлую морду и жалко блеет, показывая бельма глаз. Черные ребятишки в заса-

ленных тюбетейках полощутся в луже. Лениво катят по выжженному подорожнику тарантас мелкорослые лошади.

Вот доползли до улицы. Пестрая куча словно сонных башкир сидит на бревнах перед одноглазой землянкой. Отчего не говорят они? Зачем молчание? Что это за жизнь, на смерть похожая! Поворачивают испытые, сморщенные лица и смотрят, — словно спят. Мертвая, безъязычная зыбь жизни.

— Дома ли Ахмет? — спрашиваю я.

— Ахмет умер.

— А где старый Угей?

— Умер Угей.

Уныло позвякивая колокольчиком, плетутся лошади дальше. Не к кому заехать: умерли все.

Но вот кто-то бежит навстречу. Долговязый, сухой, в затасканном бешмете; радостно машет черными худыми руками. Странно блестят на черном как сажа лице ослепительно белые зубы.

— Это ты, Зулкарнай? Неужели ты?

— Я, я... — Зулкарнай подбежал, и мы здороваемся.— Арума, бояр.

Я подвигаюсь в тарантасе, и Зулкарнай, почтительно оглядывая экипаж, усаживается рядом. Едем к нему.

— Надолго ли, бояр, к нам? — спрашивает Зулкарнай. — Давно не было тебя видно. Али болел?

Скрипят ветхие ворота. Вот за плетнем, словно игрушечная, прокопченная дымом изба. Вот нары, кошмы, зеленые подушки, кумган. Сколько лет не видал я всего этого, сколько долгих лет!

— Садись гостем, бояр. Слава богу, пришел.

2

Я оглядываюсь. Что это? Из окон, из-за печи, из углов, — из всех щелей высматривают карие и черные глаза. В сумраке сеней позвякивают медяшки. Где-то пищат, смеются и всхлипывают.

— Кит, кит!¹ Пошли, пошли отсюда! — негромко шипит на незваных гостей хозяин.

— Зачем же, Зулкарнай? Пусть входят, — говорю я. Мгновенно, точно по сигналу, распахивается утлая

¹ Уходите прочь.

дверь. Первыми вбегают, конечно, дети. Что за пестрое зрелище! Красные, синие, зеленые, канареечные рубахи, красные, кумачовые штанишки и юбки, черные пятки и курносые рожицы с юркими, широкими, полными любопытства глазами. Точно тысячи глаз на этих смуглых и диких рожицах: до того быстро вращаются они туда и сюда. Звякают вплетенные в косы девчат медные денежки.

— Ну-ка, идите сюда!

Быстро достаю я из мешка карамель. Ну, свалка! Зорко следит за наиболее жадными хозяин Зулкарнай. А вот и мятные пряники, за долгую дорогу зачерствевшие, как кремни. Опять суматоха. Девочки плачут, протягивая загорелые руки с медными колечками. Посмотреть только, что за красота! Черные как ночь глаза, черные как ночь волосы, смуглое, овальное личико цвета нежной бронзы, тонкая розовая тень на щеках... Чем холилась, как воспитывалась эта дикая красота? — Поджаренное просо, серый, как глина, хлеб, кирпичный чай и разбавленное водой кислое молоко... Как родится она, эта красота, как живет и цветет!

Неустанно носится по избе хозяин. Он взбивает подушки, отыскивает чайники, насыпает в баночку от олифы драгоценный сахар. Баба в красной рубахе, его жена, суетится около.

— Ты пей чаю побольше: хороший чай, больно хорош! Отчего и за что эти люди такие добрые?

И как бы в ответ слышится полная почтения фраза:

— Твой отец, твой дед ни одной десятины башкирской земли не брал. Все крали, всякий получал, — граф Перовский дарил; а твой дед сказал начальнику: «Не беру чужой земли, не беру, — нет!»

Вот как надо было мало, чтоб заслужить уважение: только не брать чужого. Не воровал, не присваивал, — и этого было достаточно, чтобы прослыть хорошим человеком.

3

Звякают монисты. Что за любопытные эти башкирята! Один рассматривает мое пальто и осторожно касается пальцем каждой пуговицы, — так осторожно, точно трогает пылающий уголек. Другие — заняты шапкой. У саквояжа — целая толпа. Ну да ведь в мешке карамель!

— Кит, кит, акл битты! — скрипит услужливый хозяин.

Жена Зулкарная действует веником, но безуспешно.

Мелкота визжит и юрко рассыпается по углам, словно бархатные ящерики.

Что это? Тихий стон. Заунывный, протяжный. Ах, это курай. В сторонке, на чурбаке вдруг заиграл на дудке невесть откуда появившийся курайсы. Сорвалась и упала тоскливая строфа. Разом оборвалось веселье в комнате. Точно спряталось солнце! Болезненно вздрагиваю я.

— Не хочешь, бояр?

— Ах нет, зачем же! Пожалуйста, играй.

И что это за песня, такая унылая! Откуда взялась она, так много наплаканная, так крепко выстраданная! И как это можно, разве лишь из самой глубины души, — из простого тростника выбирать эту жуткую мелодию? Дергается у музыканта загорелое лицо. Притихли все.

— Играй, играй, музыкант!

— Подле, понутив голову, сидит хозяин. Вытянулась коричневая шея его. Еще сильнее вспухли на ней жилы и сгорбилась спина, как кольцо.

— Играй, играй, музыкант!

4

Скрипнула и заплакала доделанная дудка. Беспокойно возится на своем табурете побледневший курайсы. Его песня не только искусство: его песня — его страдание, боль и быль.

Вот на середину круга, пошатываясь, пробрался дряхлый старик. Лысая голова, клочки белых волос на шее, красные, вывороченные веки точно двести лет плакавших глаз... Как жаль ему всех, что живут и не умерли, как жаль ему себя, что не умер, а жив! Бледнеют и дергаются лица молодых. Вновь заплакала дудка.

— Бояр, он играет «Перовскую»! Помнишь Перовский поход? Ушло много тысяч, — вернулось два ста!

— Айе! — протяжно выкрикивает певец. Что это за песня, из смерти сотканная! Что это за слова, тягучие, как болезнь!

Собирались они, шли степями,
Задували их ветры, заносили снега.
Мерзнут батыры,
Плачут дети простора!

-- Играй, играй, курайсы!

Жил богатый народ, был богатый народ;
Знал своих он детей и стада.
Были полны богатств
И леса, и поля;
И ушло все от нас, — все ушло!
 Да! Да! — Айе!
Воеет ветер в степи, как волк;
Крутит острые иглы, как шип;
 Айе! Айе!
 Забегают в лицо,
 Леденят они кровь.
 Плачет батыр:
Моя милая мать и отец!
 Погибаю я!

Тихо всхлипывает курай. Уронил старик голову. Старик вспоминает. Только два ста! Остальные умерли.

Слышишь, как плачет курай! То жены провожают в поход своих мужей, и поет им похоронную песнь снежная буря...

Плачут они, пятнадцать тысяч!
 Погибаем мы!

— Довольно, курайсы!

1909 г.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Маленький уверенный пароход делает мягкий уклон и вступает в устье реки Белой. Это — уже Башкирия, сказочная страна, в которой я не был 25 лет.

«Старый охотник», сорок лет назад зарисовавший Башкирию голода и разорения, Башкирию «колонизаторов», «хазретов», курая и «калыма», вновь вступил в пределы Башкирии, но уже не «угасающей», а возрождающейся, зацветающей ярким цветом свободы и культуры.

Глубокая ночь стоит над Уфою, когда пароход подходит к пристани. Тысячью ночных огней дышит старый, много видавший город, покоясь под мириадами свечей бездонно-лилового предутреннего неба. Глухо падают к причалам канаты, гремят сдвигаемые мостки, и из темного недра трюма показываются вереницы узлов, ящичков и тюков, сходящего на берег народа.

Я стою у барьера палубы, всматриваясь в случайных знакомцев далекого пути.

Еще день и два назад, бродя по трюму, как родное, я встречал эти коричневые, обожженные солнцем знакомые лица.

Точно только вчера, а не 40 лет назад, я, двадцатилетний студент, сидел на кошме перед старым Угеем, слушая его повести о страшном былом, — и не эта ли зеленоглазая внучка слепого певца — изменчивая Бибики, звеня монетами в косах, выносила из избы кособокий самоварчик, забирая смуглой рукой с блюдец нехитрые гостинцы, блистая сверкающей улыбкой среди вишневых губ.

— Благодарю, спасибо!

И не это ли изжелта-красное, важное, изрытое морщинами лицо с нависшими космами белых бровей видел я

сорок лет назад на липовой пасеке? Не пчеловод ли Хаким совершает путешествие в Уфу и не его ли фразу слышу я, проходя меж тюков к кипяильнику:

— Пчелы не кусают меня: они знают своего хозяина, пчела умна.

И как нарочно, уже в полное смешение восприятий времени я слышу, проходя на трап, знакомый жестяной хитрый смешок зауряд-хорунжего Ахмета Усманыча, я вижу его острую спину в диковинном, словно мраморном полувоенном халате.

Хитро прищурившись, блестя выцветшими бурными глазами, он говорит соседу, степенному старику с белыми подстриженными усами:

— Башкирский эскадрон, шашкам выдержай!

— Сейчас тащим, ваше благородие!

Оба смеются.

Но нет, — не до смеха. Кости незабвенного зауряд-хорунжего давно истлели в земле родного села Даушева, а по выступам в серых тенях утра бесконечной цепью проходят согнутые под узлами фигуры стариков с изъеденными усохшими лицами.

Голодная и грязная зверская оспа, знаменитая царская «инородческая» болезнь, при новой власти ты доживаешь последние дни!

Я всматриваюсь: среди молодых уже нет лиц, изрытых яростью оспы, и живым свидетельством этого является перед помощником капитана молодая девушка в белом халате, по которому причудливо выются черные блестящие косы.

— Санитарный осмотр. Сначала дети, — с легким восточным акцентом говорит она.

Смотрю еще: на помосте вокзала показывается щеголеватый милиционер, молодой, с свежесбритым коричневым темноглазым лицом. От его ярконачищеных сапог отскакивает брызгами солнце, вокруг загорелой шеи вьется полоска белоснежного воротничка; разговаривая с вылезшей с чайником увесистой домохозяйкой, он шаркает каблуками, как заправский танцор на балу.

Увидал бы такого милиционера мой милейший зауряд-хорунжий Ахмет Усманыч — «боевой аписер»! Ведь он вместо прямого и точного ответа молодого милиционера ответил бы домохозяйке:

— На улицу Ленина ходи прямо вверх, мадам!

Я, действительно, и иду «прямо вверх», по улице Ленина. Как высок подъем и как длинна эта тихая улица!

Изнемогши на подступах, я обращаюсь к помощнику движения — уфимскому трамваю. Горожане услужливо и наперерыв объясняют, как добраться до центра города, к гостинице.

Трамвай мал и по-московскому тесен. По-прежнему все мои взгляды на родных земляков, новую землю которых я приехал повидать. С легкой тенью грусти охватывает глаз отсутствие национальных одежд. Но ни «союзная кепка», ни френч не скрывают типа от опытного привычного взгляда. Да и пожалеешь ли о монистах и кажбовах, когда видишь эти юные, искрящиеся неподдельной радостью и счастьем юношеские и девичьи глаза! Разве от того, что в них нет монет, девичьи косы менее блестят на солнце? Разве от того, что на одежде нет галунов, юношеские глаза и зубы менее сверкают?

Уютным, обсаженным цветами сквером прихожу к изящному памятнику, центр которого — мраморный Ленин. Спокойно и мудро прищурившись, он смотрит на город, которому дал новую жизнь...

1941 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Рахимкулов. Демократический писатель дореволюционной Башкирии</i>	5
Амеля. Роман.	17
Рассказы	187
Из головы медведя	189
Ночлег	202
Хазрет Хайбулла	208
Вольтерьянец	222
Свадьба Сафья	230
Башкирские скачки	241
После зимы	255
Ахмет Усманыч	263
К земле обетованной	267
Ночь на пасеке	276
Мать	285
Желанье старой жены	300
Батыр Малик	309
Гроза людей	320
Песня курайсы	326
Новая земля	331

Николай Александрович Крашенинников

А м е л я

Оформление серии **Г. Прошкина**

Роман и рассказы

Редактор *М. Чванов*
Художественный редактор *А. Астраханцев*
Художник *А. Астраханцев*
Технический редактор *Н. Файзуллина*
Корректоры *Л. Семенова, Т. Лобанова*

Сдано в набор 31|XIII 1976 г. Подписано к печати 17|X 1977 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 3.
Услови. печ. л. 17,64. Учетн.-издат. л. 17,21.
Тираж 50000. Заказ № 217.
Цена 1 руб. 50 коп.

Башкирское книжное издательство, Уфа-25, ул. Совет-
ская, 18.
Уфимский полиграфкомбинат Управления по делам из-
дательств, полиграфии и книжной торговли Совета Ми-
нистров БАССР. Уфа-1, проспект Октября, 2.

Scan Kreyder - 06.08.2019 - STERLITAMAK

~~Цена 1 руб. 50 коп.~~